LIBRARY OF CONGRESS
00000882409

THE LIBRARY OF CONGRESS
1800

Class _____

Book _____

YUDIN COLLECTION

GPO

БИБЛІОТЕКА СОВРЕМЕННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ. Серія II. Томъ 2.

И. Кущевскій.

МАЛЕНЬКІЕ РАЗСКАЗЫ,

ОЧЕРКИ, КАРТИНКИ и ЛЕГКІЕ НАБРОСКИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ѳ. Базунова.
30. невскій проспектъ. 30
1875

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ

А. Ѳ. БАЗУНОВА

С.-Петербургъ, Невскій проспектъ № 30

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ:

Смирнова С. «Попечитель Учебнаго Округа». Романъ въ трехъ частяхъ. Спб. Ц. 2 р. Пер. за 2 ф.

Данилевскій Г. «Девятый Валъ». Романъ въ трехъ частяхъ Спб. 1874 г. Ц. 3 р. Пер. за 3 ф.

Крашевскій. «Чудаки». Романъ. Спб. 1874 г. Ц. 2 р. Пер. за 2 ф.

Гюго В. «Соборъ Парижской Богоматери». Романъ. Спб. 1874 г. Ц. 2 р. 50 к., пер. за 2 ф.

Золя Э. «Завоеваніе Плассанса». Романъ. Спб. 1874 г. Ц. 1 р. 75 к., пер. за 2 ф.

Каразинъ Н. «Повѣсти, разсказы и очерки». Иллюстрированное изданіе. Спб. 1874 г. Ц. 2 р. 50 к., пер. за 2 ф.

Марлиттъ Е. «Вторая жена». Романъ. Спб. 1874 г. Ц. 1 р. 50 к., пер. за 2 ф.

Саліасъ Е. «Пугачевцы». Историческій романъ въ 4 томахъ. М. 1874 г. Ц. 5 р., пер. за 4 ф.

Правдинъ. «Одесскія Катакомбы». Романъ. Спб. 1874 г. Ц. 3 р., пер. за 2 ф.

Куперъ Ф. «Послѣдній изъ Могикановъ». Повѣсть. Спб. 1874 г. Ц. 2 р. 75 к., пер. за 3 ф.

К. В. М. «Одинъ изъ нашихъ Бисмарковъ». Фантастическій романъ. Спб. 1874 г. Ц. 2 р. 50 к., пер. за 2 ф.

БИБЛІОТЕКА СОВРЕМЕННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

СЕРІЯ II. ТОМЪ 2.

Kushchevskii, Ivan Afanas'evich
Malen'kie razs-kazy

МАЛЕНЬКІЕ РАЗСКАЗЫ

ОЧЕРКИ, КАРТИНКИ И ЛЕГКІЕ НАБРОСКИ

И. Кущевскаго.

Изданіе книгопродавца А. Ѳ. Базунова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Скарятина, на углу Фонарнаго переулка, домъ Франка.
1875.

PG3469
.K865A6
1875

zl Mar 3,60

ПИСАТЕЛЬ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, мнѣ случилось завѣдывать редакціей одной ежедневной газеты. Съ первыхъ-же дней, несмотря на множество работы, я замѣтилъ сѣденькаго, бѣднаго старичка, который почти ежедневно навѣдывался въ редакцію. Онъ скромно жался у дверей и долго ждалъ, пока на него обращалъ кто-нибудь вниманіе. Потертое старенькое пальто сидѣло на немъ какъ-то мѣшковато; узенькія брюки, съ заплатами на колѣнкахъ были очень коротки ему, а сапоги, напротивъ, несоразмѣрно велики, длинны и неуклюжи. Не знаю—стыдился-ли онъ своего костюма, или по другой какой причинѣ, но глаза его смотрѣли всегда съ какой-то стыдливой мольбой о прощеніи. Молчаливый, кроткій и застѣнчивый, старичекъ этотъ сразу возбуждалъ какое-то больное чувство жалости. Сѣденькая головка съ маленькими блестящими глазками, согнувшаяся спина его, вся его худенькая, сухая фигура такъ и представляются теперь моему воображенію.

— Здравствуйте-съ, подобострастно раскланялся онъ со мной однажды, когда я проходилъ мимо него.

— Что вамъ угодно?

— А вотъ, вотъ-съ, торопливо заговорилъ старичекъ, роясь въ пазухѣ своего пальто.—Вотъ-съ, двѣ статейки... Не прочли еще тѣхъ? спросилъ онъ, какъ-то жалобно и просительно глядя на меня своими маленькими глазками.

— Нѣтъ еще. А какъ ваши статьи называются?

— «Деревенская жизнь» — одна статейка. Есть еще о Волгѣ... потомъ стихи еще...

— Завтра или послѣ завтра я посмотрю ихъ.

— Прощайте-съ! старичекъ низко-пренизко поклонился мнѣ и быстро юркнулъ въ дверь.

Я тотчасъ-же отыскалъ его статьи и началъ разбирать ихъ. Это были грязные листки сѣрой бумаги, исписанные довольно мелко дурными, водянистыми чернилами, такъ, что трудно было разобрать что-нибудь. «Деревенская жизнь» начиналась описаніемъ какой-то идилической мѣстности съ пастушками и овечками; авторъ вспоминалъ, какъ его мать варила звѣробой и хотѣла отправить его въ городъ, въ ученье; какъ онъ горевалъ и плакалъ; но его все-таки отправили на муку и страданія. Все это было написано совершенно безсвязно, безтолково и безграмотно. Я принялся за слѣдующія статьи, и, пробѣжавъ первыя строчки, рѣшилъ, что онѣ тоже не годятся къ

напечатанію. Для возвращенія бѣдному старику у меня собрался цѣлый ворохъ рукописей. Я зналъ, что невольно наношу ему довольно чувствительную непріятность; мнѣ было жаль его, и я рѣшился хоть сколько-нибудь облегчить ударъ.

— Сдѣлайте одолженіе, садитесь, сказалъ я старичку, когда онъ пришелъ за отвѣтомъ.

— Ничего-съ, ничего—я постою, скороговоркой отвѣтилъ онъ, кланяясь мнѣ въ поясъ.

— Видите, въ чемъ дѣло—у насъ теперь очень много матеріяловъ; не можете-ли вы обратиться въ другую газету или журналъ?

— Я ходилъ-съ ужь, да нигдѣ не принимаютъ... Старичекъ взглянулъ на меня, и мнѣ показалось, что въ глазахъ у него блестятъ слезы.

— Вотъ стихи... Мы вѣдь совершенно не печатаемъ стиховъ.

— А другія статейки?

Старичекъ взглянулъ на меня, какъ взглядываетъ подсудимый на старшину присяжныхъ, начинающаго читать вердиктъ.—Жизнь или смерть? спрашиваютъ такіе взгляды. Мнѣ стало жаль старика.

— «Жизнь въ деревнѣ», пожалуй, можно будетъ напечатать, сказалъ я.

— Можно! съ радостнымъ удивленіемъ воскликнулъ

старичекъ, и глаза его заблистали огнемъ невыразимой радости. — Когда-же она будетъ напечатана?

— Этого я не могу сказать; вѣроятно, еще не скоро: у насъ очень много принятыхъ статей.

— Да-съ, торопливо сказалъ старичокъ, и въ голосѣ его слышалась уже нота грусти.—А вотъ еще я хотѣлъ... Онъ началъ рыться за пазухой. Вотъ еще...

— Что такое?

— «Лѣсной медвѣдь», повѣсть. — «Весна», описаніе весны.—«Божья десница»...

Покуда я читалъ эти заголовки и разбиралъ листки сѣрой бумаги, старичекъ продолжалъ рыться за пазухой. Наконецъ, онъ торопливо вытащилъ довольно толстую книжку въ желтой оберткѣ.

— Вотъ-съ... извините... Позвольте,—въ подарочекъ... моего сочиненія, конфузясь проговорилъ онъ, подавая книжку.

Это была драма, подъ названіемъ: «Невиданное приключеніе», сочиненіе Андрея Сахарова, второе изданіе, исправленное и передѣланное.

— У меня и первое изданіе есть—если угодно, я тоже принесу, весело сказалъ старичекъ, когда я поблагодарилъ его за подарокъ.

— У меня ихъ много было... Теперь малость только осталась: всѣ почти распродалъ.

— Значитъ драма хорошо шла?

Старичекъ замялся.

— Ее такъ мало покупали... Признаться сказать, нуждался крѣпко — на бумагу какъ-то продалъ... стыдливо признался онъ.

Я перевернулъ нѣсколько страницъ. Драма была написана стихами.

— Вы сами ее издавали? спросилъ я.

— Да-а, со вздохомъ отвѣчалъ старичекъ.—На эту книгу все потратилъ: домишка лишился; описали все, за долги продали... Дорого она мнѣ встала... Ну, да Богъ съ ней, это ничего... По крайности, она ужь исправленная вышла... Вы извольте прочитать...

— Да, я непремѣнно прочитаю, прочитаю.

— А вы не читали въ журналѣ, въ «Лебедѣ», тамъ разсказъ мой былъ напечатанъ: «Праздникъ Рождества Христова» называется... Тамъ былъ Петръ Сергѣичъ, редакторъ — отличный человѣкъ... заговорилъ старичекъ, видя, что я оказываю вниманіе къ его книгѣ. Маленькіе глазки загорѣлись у него какимъ-то дѣтскимъ блескомъ; даже на блѣдныхъ, морщинистыхъ щекахъ заигралъ легкій румянецъ. — Бранятъ меня, смѣются надо мной... Пускай ихъ, Господь съ ними, смѣются!.. есть и добрые люди на свѣтѣ.

Онъ, очевидно, намекалъ на меня и на редактора «Лебедя».

— Такъ будетъ моя статейка-то напечатана? спросилъ старичекъ на прощаньи.

Я опять пообѣщалъ ему, и онъ вышелъ вполнѣ счастливый, довольный и дѣтски-радостный.

Послѣ этого онъ началъ ходить въ редакцію каждый день аккуратно, и началъ приносить съ собой цѣлыя пачки рукописей.

— А какъ статейка моя? спрашивалъ онъ.

— Пойдетъ, пойдетъ, утѣшалъ я его.

Старичекъ никогда не пропускалъ случая услужить какъ-нибудь. Въ присутствіи его невозможно было послать кого-нибудь въ типографію.

— Ужь сдѣлайте милость — позвольте, я отнесу... позвольте! умолялъ онъ.

Въ типографіи онъ съ какой-то благовѣйной осторожностью ходилъ между реалами и по цѣлымъ часамъ засматривался на черныя гранки набора и внимательно прислушивался къ грохоту скоропечатной машины. На лицѣ его въ это время выражалась сладостная сосредоточенность, на губахъ играла довольная улыбка. Наконецъ, онъ просто не выходилъ изъ типографіи. Сбѣгать за папиросами для метранпажа, за пивомъ для корректора — ему доставляло истинное удовольствіе. Но, если

печатникъ позволялъ ему иногда исполнять должность батырщика или накладчика, если ему случалось присосѣдиться къ вертельщикамъ и хоть минуту повертѣть колесо—онъ былъ счастливъ, какъ ребенокъ.

Однажды мой старичекъ, успѣвшій уже совсѣмъ ознакомиться съ редакціей и типографіей, пришелъ позднѣе обыкновеннаго, и сверхъ всякаго ожиданія не принесъ ни одной статьи. Сколько я замѣтилъ, онъ былъ сильно взволнованъ.

— Иванъ Николаичъ, сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ, кланясь нѣсколько разъ чуть не до земли,—Иванъ Николаичъ, позвольте мнѣ просить... Извините меня...

— Полноте, полноте...

— Нѣтъ... видите, я теперь ничего не могу написать хорошаго... Совсѣмъ не имѣю покоя... Ходить каждый день тоже очень далеко: верстъ восемь будетъ. Я уголокъ нанимаю. Гдѣ тутъ напишешь! Только умостишься какъ-нибудь, а тутъ глядь, идетъ кто-нибудь. Жильцовъ множество; человѣкъ восемь со мной въ одной кухнѣ живутъ... Гдѣ тутъ писать! Ночью, когда уснутъ всѣ, только и можно... Вчера одинъ жилецъ, солдатъ, пьянъ напился.

Старичекъ отъ волненія остановился и перевелъ духъ.

— Я въ своемъ уголку сидѣлъ, никого не трогалъ... Отогнулъ тюфячекъ на кровати; самъ же на полѣно приснастился кое-какъ... огарочекъ свѣчки, да чернилицу

на кровать установилъ—и пишу, никого не трогаю.—А онъ кричитъ—зачѣмъ свѣчку сжешь, спать мѣшаешь!.. ругаетъ меня... Потомъ взялъ, да и загасилъ свѣчку. Я посидѣлъ, подождалъ;—думаю, уснулъ онъ — опять зажегъ. Онъ опять загасилъ ее—ничего не сдѣлаешь!.. Съ часъ я сидѣлъ, дожидался, покуда онъ заснетъ. Зажегъ опять,—а онъ и проснулся... Какъ подбѣжитъ ко мнѣ, да какъ дастъ... я просто опомниться не могъ... Едва къ утру угомонился. Зажегъ я свѣчку, сталъ было писать, да ужъ нѣтъ — сердце такъ и бьется: ничего не могу сдѣлать... Иванъ Николаичъ, не откажите! Позвольте хоть въ кухнѣ у васъ какъ-нибудь пристроиться... Мнѣ ничего не нужно: уголокъ-бы былъ только; а ужъ тамъ заслужилъ-бы... Замѣсто разсыльнаго меня нельзя-ли? — Днемъ, я цѣлый-бы день служилъ-бы вамъ — мнѣ жалованья не нужно—только-бы уголокъ, чтобы ночью можно было сдѣлать что-нибудь на спокоѣ...

Все это старикъ произнесъ съ разстановками, низко кланяясь, говорилъ онъ такимъ дрожащимъ голосомъ, какъ будто заглушалъ внутренніе стоны, проглатывая слезы.

Около моего кабинета была маленькая проходная комната; я предложилъ ее ему. Восторгъ бѣдняка былъ неописанъ.

— Заслужу я вамъ, заслужу, твердилъ онъ, со слезами на глазахъ.

Въ тотъ-же вечеръ онъ переѣхалъ. Мѣшокъ съ сотней экземпляровъ «Невиданнаго приключенія», тюфякъ, одѣяло, да подушка—составляли все имущество моего сосѣда, если не прибавлять такихъ мелочей, какъ пузырекъ съ чернилами, перо и нѣсколько листовъ бумаги.

Ночью мнѣ приходилось долго работать. Сосѣдъ точно умеръ—его вовсе не было слышно. Я думалъ уже, что онъ спитъ; но скоро замѣтилъ, что въ маленькой комнаткѣ свѣтится огонь. Я тихонько пріотворилъ дверь и заглянулъ туда. Маленькая фигурка старичка согнулась надъ столомъ; мягкіе сѣдые волосы растрепались во всѣ стороны, свѣча уже почти догорала; онъ тихо водилъ перомъ по бумагѣ, такъ тихо, какъ будто боялся нарушить тишину даже скрипомъ своего пера.

— Вы все еще не спите? спросилъ я.

Старичекъ вздрогнулъ и быстро вскочилъ со стула.

— Я мѣшаю... Помѣшалъ вамъ, со страхомъ залепеталъ онъ и схватилъ свѣчку, чтобы поскорѣе погасить ее.

— Что вы это? остановилъ я его.

— Простите...

Я успокоилъ кое-какъ старика и посмотрѣлъ, что онъ пишетъ. Это была какая-то новая драма; королева разговаривала съ философомъ дурно рифмованными стихами, безъ соблюденія самыхъ простыхъ правилъ сти-

хотворнаго размѣра. Покуда я читалъ, старичекъ вопросительно и боязливо смотрѣлъ на меня своими добрыми глазами.

— Какъ? тихо спросилъ онъ, когда я дочиталъ страницу.

— Ничего...

— Плохо? съ болью спросилъ старикъ.

Я постарался утѣшить его нѣсколькими общими фразами и воротился къ себѣ. Ночью мнѣ не спалось; я нѣсколько разъ просыпался и видѣлъ, что огонекъ въ маленькой комнаткѣ все еще горитъ, значитъ, старикъ все еще не ложился и работаетъ. Я никогда, во время нашего сожительства, не видалъ его спящимъ: онъ всегда ложился гораздо позже меня, и чуть свѣтъ былъ уже на ногахъ. Онъ на цыпочкахъ выбирался изъ комнаты, шелъ въ типографію, любовался тамъ на работу скоропечатной машины, забиралъ оттуда экземпляры для редакціи, приносилъ ихъ и начиналъ фальцовъ. Втеченіи всего дня онъ не упускалъ ни одного случая, чтобы быть полезнымъ: онъ добровольно бралъ на себя — то обязанности разсыльнаго, то обязанности лакея. Больше всего ему нравилось ходить съ какими-бы то ни было порученіями къ сотрудникамъ. На всѣхъ насъ онъ смотрѣлъ, какъ на нѣчто необыкновенное, почти неземное. Я помню, съ какимъ благоговѣніемъ глядѣлъ онъ на мои руки, когда я

наскоро дописывалъ статью, чтобы отдать ее ему для доставки въ типографію. Ни отъ кого изъ сотрудниковъ онъ ни за что не хотѣлъ взять на чай, несмотря на то, что часто приходилось носить корректуры за нѣсколько верстъ, ночью, въ ненастье или морозъ. Онъ также ни за что не соглашался получать жалованья, и мнѣ большаго труда стоило даже уговорить его пользоваться нашимъ столомъ, чаемъ, свѣчами и проч. Онъ ожилъ и повеселѣлъ. Цѣлый день на ногахъ и цѣлую ночь за столомъ надъ листами бумаги—онъ былъ счастливъ; надо было видѣть его радостный взглядъ, когда онъ приносилъ мнѣ утромъ пачку рукописей—плодъ своего ночнаго труда. Чтобы потѣшить старика, я пробовалъ исправить и напечатать хоть одно его произведеніе; но это оказывалось положительно невозможнымъ: ни въ одной его статьѣ не было ни содержанія, ни мысли, ни связи.

Въ одно утро я засталъ старичка навалившимся на столъ и внимательно читающимъ одну изъ моихъ передовыхъ статей. Это была статья по поводу проектированнаго еще тогда новаго устава о карательной цензурѣ. Во введеніи были между прочимъ слѣдующія строки: «нерѣдко бываетъ тернистъ путь того писателя, который не подпѣваетъ голосу толпы и идетъ въ разрѣзъ съ ея требованіями».

— Иванъ Николаичъ, сказалъ старичекъ, остановившись на этихъ словахъ,—это сущая правда... Кто изъ

насъ, изъ писателей, не страдаетъ!.. Мнѣ самому Богъ привелъ однажды...

— Какъ такъ?

— Года два назадъ, я насчетъ голода проектъ написалъ,—чтобы, значитъ, голода впередъ не было... Потому теперь у насъ хлѣбъ барышники скупаютъ, да за границу его увозятъ—потому онъ и дорогъ. А я говорю: пусть амбары такіе устроятъ, и пусть сама казна весь хлѣбъ покупаетъ, тогда казна барышей брать не будетъ, и почемъ хлѣбъ крестьянину стоитъ, такъ и будетъ продавать. Это, знаете, какое-бы благодѣяніе для народа! Истинное благодѣяніе! Крестьянину-бы можно было дать и подороже за хлѣбъ: пусть наживаетъ,—свой человѣкъ Мы-бы тоже были въ выгодѣ... И казнѣ доходъ большой. Теперь, если хлѣбъ какой лишній остался, намъ онъ ужъ теперь не нуженъ; его-бы можно было продать за границу по самой дорогой цѣнѣ: тамъ вѣдь въ хлѣбѣ очень нуждаются.

Старичекъ съ жаромъ развивалъ свой проектъ: глаза его блестѣли; онъ весь пріосанился и сдѣлался другимъ человѣкомъ. Въ немъ уже не видно было бѣднаго, жалкаго старичка; во всей фигурѣ его отразилась горячія энергія, готовность смѣло защищать правое дѣло. Онъ даже немного приподнялъ руку и разсуждалъ такъ свободно, какъ неразсуждалъ при мнѣ никогда—ни прежде, ни послѣ.

— Написалъ я этотъ проектъ, купилъ тетрадку и чистенько переписалъ его; планы амбаровъ нарисовалъ, какъ могъ; ночи не спалъ: сколько бумаги одной извелъ... Несу въ одну редакцію—не принимаютъ; въ другой говорятъ, что цензура не пропуститъ; въ третьей—что матерьялу много... Ходилъ, ходилъ — ничего толку нѣтъ. Пришелъ въ Коломну, къ редактору «Землевѣдѣнія» — онъ и говоритъ: мы проектовъ не печатаемъ, вы подайте свой проектъ въ министерство. Подалъ я, ходилъ, ходилъ: опять нѣтъ толку—отдали мнѣ его назадъ.—«Обратитесь, говорятъ, туда-то». И тамъ нѣтъ ничего: ходилъ туда мѣсяца три, опять ни съ чѣмъ назадъ воротился. Возился я съ годъ: ходилъ и къ директорамъ разнымъ, и къ министрамъ—то не принимаютъ, то назадъ отдаютъ: это, говорятъ, намъ не подлежитъ. Всѣ уже узнали меня; смѣются, не пропускаютъ—съумасшедшій, говорятъ.—Добьюсь-же, думаю, какъ-нибудь,—авось меня послушаютъ. Продалъ пальтишко, поѣхалъ въ Царское Село. По цѣлымъ днямъ караулилъ одного генерала, дня четыре крохи въ ротъ не бралъ. Много хлопотъ было а все-таки ничего не добился... Поймали меня и привезли въ Петербургъ: съумасшедшій, говорятъ. Въ больницу... Тамъ мѣстъ не было: препроводили меня въ полицейскій пріютъ. Крикъ, шумъ, гамъ, все съумасшедшіе. Карандашъ у фельдшера попросилъ; бывало, выйдешь въ корридоръ, поуспокоишься,

нѣтъ-нѣтъ да что-нибудь и напишешь — этимъ только и душу отводилъ... Да нѣтъ, — мѣшали ужасно. Много я тамъ муки вынесъ, пока меня выпустили. А все-таки, слава Богу, проектъ свой кое-какъ пристроилъ...

— Гдѣ-же?

— Тутъ одинъ книжникъ, на Апраксиномъ дворѣ, взялъ, обѣщался напечатать; десять экземпляровъ хотѣлъ мнѣ дать. Ну, да я ужь побольше у него куплю на свои деньги. Пусть узнаютъ, по крайней мѣрѣ...

— Что-же онъ до сихъ поръ не печатаетъ?

— Кто его знаетъ! Хожу, напоминаю, да все, говоритъ, некогда этимъ заняться.

Въ это время дверь немного пріотворилась и къ намъ заглянуло чье-то незнакомое женское лицо, окутанное въ платокъ. Лицо это было слишкомъ мало для взрослой женщины, и его можно-бы было принять за дѣтское лицо, если-бы оно не было такъ блѣдно и морщинисто, если-бы голубые глаза не смотрѣли такъ мутно, не пухли-бы, какъ говорятъ.

— Батюшка!

— Катенька!.. Катенька! засуетился старикъ, окончательно растерявшись.

— Можно войти? робко спросила посѣтительница.

— Дочка моя... извините... Позвольте? суетливо об-

ратился ко мнѣ старикъ; глаза его заблистали, руки опустились; онъ видимо не зналъ, что ему дѣлать.

Я пригласилъ дочь моего старика въ комнату; она вошла очень робко и тихо положила на столъ какой-то бѣлый узелокъ. Я поспѣшилъ уйдти, и чтобы не мѣшать имъ, перешелъ изъ кабинета въ пріемную. Черезъ четверть часа, дочь Андрея Петровича (такъ звали старика), проходя чрезъ прихожую, увидала меня и робко повернула въ дверь.

— Извините, сказала она, я хочу...

Глаза ея, повидимому, были заплаканы; она говорила не твердо; губы дрожали.

— Я хотѣла поблагодарить васъ, что пріютили старика. Онъ нигдѣ не можетъ найдти мѣста... Съ нами жить не хочетъ: никакъ не можемъ уговорить... На моего мужа разсердился, и вотъ ужь пятый годъ на глаза его не пускаетъ къ себѣ... Еще хотѣла я васъ просить...

Я попросилъ сѣсть мою просительницу; она сѣла, какъ-будто по забывчивости, потомъ, точно опомнилась, нѣсколько смутилась и не знала, встать-ли ей на ноги или продолжать сидѣть.

— Извините за нескромный вопросъ: какъ это Андрей Петровичъ поссорился съ вашимъ мужемъ? Я никакъ не ожидалъ, чтобы онъ могъ сердиться цѣлыхъ пять лѣтъ...

— Видите-ли, онъ очень любитъ писать статьи. Все бывало пишетъ, и такъ много у него этихъ бумагъ наберется, что просто цѣлый уголъ наваленъ. Разъ какъ-то онъ написалъ трагедію — этакая огромная тетрадь! Все читалъ ее, да поправлялъ; день и ночь — все надъ этой тетрадью сидѣлъ. Разъ какъ-то мой мужъ выпивши былъ, бранилъ меня очень; батюшка и заступился (онъ бывало всегда заступался за меня). Ну, извѣстно, пьяный человѣкъ самъ себя не помнитъ. Напустился онъ и на батюшку — зачѣмъ онъ все пишетъ... Схватилъ всѣ его тетради и положилъ въ печку. Батюшка не давалъ-было, да гдѣ старику справиться! Потомъ, какъ онъ зажегъ уже ихъ, батюшка остановился и смотритъ, какъ онѣ горятъ. Я думаю, что съ нимъ такое? Стоитъ, какъ вкопанный, и смотритъ. Догорѣли бумаги совсѣмъ ужь, а онъ все стоитъ, смотритъ, какъ искорки бѣгаютъ, и я смотрю, что съ нимъ будетъ? Когда послѣдняя искорка погасла, пепелъ только черный остался, онъ взялъ шапку и тихо такъ вышелъ, ни слова ни сказалъ. Куда, думаю, онъ пойдетъ ночью? Выбѣжала за нимъ, Звала, звала — нейдетъ. «Я, говоритъ, Катя, не сержусь на него, а видѣть его больше не могу». Такъ и не могла уговорить. Дала ему, что было деньжонокъ у меня на дорогу, и проводила его... Съ того дня, вотъ по сю пору, все одно только и твердитъ, что: я на него не сержусь, а видѣть его не

могу: онъ, говоритъ, у меня полжизни отнялъ. Я насчетъ этого васъ хотѣла просить: нельзя-ли помирить ихъ какъ-нибудь?

Я съ удивленіемъ взглянулъ на мою собесѣдницу.

— Видите, когда его статья «О Рождествѣ Христовѣ» была напечатана, онъ совсѣмъ-было простилъ мужа, да тотъ поупрямился... Я знаю ужь батюшку; онъ, какъ ребенокъ, если что-нибудь напечатано... Вездѣ ходитъ, раздаетъ свою статью... Теперь онъ говоритъ, что вы тоже какую-то статью обѣщали ему напечатать. Нельзя-ли ее напечатать? я ужь уговорю какъ-нибудь мужа, чтобы онъ пришелъ поздравить его; можетъ, проститъ... Сдѣлайте одолженіе!

Просительница начала кланяться; я былъ въ большомъ затрудненіи.

— Скоро никакъ нельзя, уклончиво отвѣтилъ я.

— Будьте добры!

Отвязаться отъ просьбы было трудно, да къ тому-же я и самъ склоненъ былъ сдѣлать что-нибудь для старика. Мнѣ пришло въ голову заставить его написать воспоминаніе о полицейскомъ пріютѣ, которое, исправивъ, можно-бы было напечатать съ его именемъ.

— На дняхъ я постараюсь что-нибудь напечатать, сказалъ я моей просительницѣ.

— Ахъ, какъ-бы мы вамъ были благодарны. Сдѣлайте милость!

Я еще разъ пообѣщалъ и простился съ дочерью старика, которая до самыхъ дверей не переставала кланяться и просить.

— Знаете что, сказалъ я, входя къ старику, который показался мнѣ въ этотъ разъ задумчивѣе и сумрачнѣе обыкновеннаго, — знаете что: вы мнѣ говорили, что были въ полицейскомъ пріютѣ; напишите объ этомъ воспоминанія... Пишите, все, что вы видѣли... Я помѣстилъ-бы эту статью на дняхъ-же.

Старикъ тотчасъ-же оживился и началъ меня расправшивать, какъ нужно написать и что именно; началъ разсказывать про жестокость приставниковъ, про разныя несправедливости и притѣсненія, которыя онъ испыталъ въ полицейскомъ пріютѣ. Я объяснилъ ему все, что нужно, принесъ бумаги, перегнулъ листы пополамъ и попросилъ его писать на половинкахъ, чтобы можно было дѣлать на поляхъ замѣтки и поправки.

— Я сейчасъ-же сяду! весело сказалъ стиричокъ, осторожно принимая отъ меня бумагу, какъ какую-нибудь святыню. Онъ смахнулъ пыль со стола, положилъ какую-то старую тетрадь и только на нее уже бережно уложилъ врученные ему листы.

— Сейчасъ-же примусь! торопливо говорилъ онъ, съ дѣтской улыбкой на губахъ и съ радостнымъ блескомъ во взглядѣ.

— Ничего, вы не торопитесь; припомните все прежде...

Старикъ съ безпокойствомъ посмотрѣлъ на меня.

— Впрочемъ, это все равно... Пишите, пишите! успокоилъ я его.

— Я прежде начерно напишу.

— Пожалуй.

Старикъ въ этотъ день не отрывался отъ стола. Когда лакей пришелъ позвать его къ обѣду, я слышалъ, какъ онъ ласковымъ, молящимъ тономъ проговорилъ: «Голубчикъ, принеси мнѣ какой-нибудь кусочекъ, маленькій кусочекъ хлѣбца... Не до ѣды мнѣ теперь!»

Ночь старикъ не спалъ всю напролетъ.

Утромъ онъ доставилъ мнѣ рукопись; вся бумага, которую я ему далъ, была исписана. Воспоминанія, однакожъ, оказались далеко неудовлетворительными; того, что я думалъ въ нихъ отыскать — именно характеристики полицейскаго пріюта, не оказывалось почти вовсе; авторъ больше предавался общимъ размышленіямъ о Богѣ, о мірѣ, о правдѣ и т. п.; порицалъ людскую несправедливость, описывалъ, какъ онъ укрѣплялся въ вѣрѣ, подъ бременемъ тяжкихъ испытаній, какъ онъ страдалъ и проч., и проч.

Я слыхалъ кое-что о полицейскомъ пріютѣ и, по возможности, сдѣлалъ разсказъ о впечатлѣніяхъ человѣка, который былъ тамъ заключенъ. У старика пришлось

только спросить — чѣмъ кормятъ въ пріютѣ, какъ одѣваютъ, когда встаютъ и ложатся спать, когда приходятъ лекаря и т. п. чего я самъ не зналъ. Рукопись старика была захерена почти цѣликомъ, и на поляхъ былъ написанъ совершенно другой разсказъ. Я оставилъ только заголовокъ и подпись автора.

— Вотъ ваша статья; она пойдетъ въ завтрашнемъ нумерѣ, сказалъ я старику, когда онъ на цыпочкахъ вошелъ въ кабинетъ сказать, что разсыльный изъ типографіи пришелъ за оригиналомъ.

Съ невыразимой радостью онъ взялъ со стола рукопись и началъ ее разсматривать. Радость эта не была торопліва; она отличалась какимъ-то тихимъ, благоговѣйнымъ характеромъ, это была та радость, отъ которой замираетъ сердце.

Старикъ молча смотрѣлъ рукопись, тихо перевертывая листы одинъ за другимъ. Лицо и взглядъ его по мѣрѣ приближенія къ концу все теряли и теряли свой радостный характеръ. Дойдя до своей подписи, онъ глубоко вздохнулъ и остановился въ какомъ-то раздумьи.

— Вотъ еще оригиналъ, отдайте разсыльному.

Старикъ машинально собралъ вырѣзки, завернулъ ихъ въ свою статью, и тихо вышелъ изъ комнаты.

Вечеромъ я засталъ его въ типографіи; онъ сидѣлъ въ конторѣ и съ веселой улыбкой разсматривалъ коррек-

турные оттиски своей статьи; больше всего онъ останавливается на концѣ, гдѣ четко были отпечатаны слова: Андрей Сахаровъ.

— Вы ее передѣлали, Иванъ Николаичъ, робко замѣтилъ онъ мнѣ, когда я взялъ гранку съ заглавіемъ статьи.

— Да, я нѣсколько замѣнилъ; она у васъ вышла очень недурна, только немного длинновата, я сократилъ...

— Ничего, ничего, торопливо заговорилъ старичокъ.— У васъ отлично она передѣлана.

Возвращаясь изъ типографіи, я иногда довозилъ старика съ собой до дому; въ этотъ вечеръ я тоже отправлялся прямо домой и пригласилъ его сопутствовать мнѣ.

— Нѣтъ, покорно васъ благодарю. Я ужъ здѣсь какъ-нибудь прикорну... подожду... отвѣчалъ онъ.

Я распорядился, чтобы для старика напечатали лишнюю сотню экземпляровъ завтрашняго номера и отправился домой. Утромъ я засталъ его уже фальцующимъ эту сотню. Онъ смотрѣлъ точно имянинникъ и складывалъ газету съ такой старательной осторожностью, какъ-будто совершалъ какой-нибудь обрядъ: примѣряя края, медленно перевертывалъ онъ листъ и приглаживалъ рукою нѣсколько разъ, будто лаская газетную бумагу.

Сложивъ свои сто экземпляровъ, онъ взялъ ихъ и отправился изъ дому на цѣлый день. Лицо его сіяло полнымъ, спокойнымъ торжествомъ; онъ заперъ дверь съ чинной и медленной акуратностью.

Вечеромъ ко мнѣ зашелъ одинъ изъ сотрудниковъ Среди разговора онъ какъ-то упомянулъ про старика.

— Кстати, какимъ это родомъ случилось? спросилъ онъ, тыкая въ фельетонъ, гдѣ была помѣщена статья о полицейскомъ пріютѣ. — Старикъ пришелъ ко мнѣ сегодня такой масляный, принесъ газеты и объявляетъ, что вы напечатали его статью. Какъ это?

— Да-а.

— Вижу, вижу, это вы должно быть поблагодушествовали.

И мой собесѣдникъ началъ припоминать, какъ я нѣсколько мѣсяцевъ назадъ напечаталъ какую-то негодную статью потому только, что она принадлежала одному бѣдному человѣку.

— Это, право, проходитъ на пристрастіе, говорилъ онъ; — редакторъ долженъ быть неумолимъ, какъ судья...

— Но вѣдь надо-же быть и человѣкомъ.

— Да, но вѣдь газета—не богадѣльня. Впрочемъ, человѣчно-ли вы поступили съ этимъ Андреемъ Сахаровымъ— это еще вопросъ. Человѣкъ пишетъ чепуху, бредитъ чепухой, помѣшанъ на ней—а вы, вмѣсто того, чтобы ра-

зувѣрить его, полечить его, еще поощряете къ съумасшествію. Пишете сами статью, печатаете подъ его именемъ и стараетесь увѣрить его, что онъ не просто дурачится, а дѣло дѣлаетъ... Ну, онъ и будетъ марать вѣчно бумагу; тогда какъ могъ-бы чистить сапоги или заняться чѣмъ-нибудь болѣе полезнымъ!

— Едва-ли. Онъ, кажется, неизлечимъ...

— Нѣтъ, вы попытайтесь... Говорите ему каждый день, что онъ пишетъ чепуху, что лучше-бы было, еслибы онъ занялся дѣломъ: можетъ быть, подѣйствуетъ. Это ужь будетъ во всякомъ случаѣ полезнѣе, чѣмъ печатать свои статьи за его подписью.

— Помилуйте! разсмѣялся я, — человѣкъ трудится— ни славы, ни гонорарія не пріобрѣтаетъ;—надо-же вознаградить его чѣмъ нибудь. Если онъ съумасшедшій и неизлечимо съумасшедшій—не лучше-ли успокоивать его, вмѣсто того, чтобы раздражать.

— Вѣдь посмотрите, какую онъ чертовщину плететъ! вскричалъ мой собесѣдникъ, взявъ одну изъ старыхъ рукописей моего старика. И онъ, смѣясь, началъ читать мнѣ ее, останавливаясь на неправильныхъ оборотахъ рѣчи и неумѣстности нѣкоторыхъ словъ.

«Всѣ стихіи, читалъ онъ, побораемы огнемъ будутъ и возмутятся отъ дуновенія незримыхъ силъ. Снѣгъ, огонь, и вода, и грязь объяли насъ своими системами. Не

знаешь, что будетъ, и гдѣ мы жизнь свою кончимъ и когда»...

— Скоро, въ съумасшедшемъ домѣ, засмѣялся мой собесѣдникъ.—Ну, не дуракъ-ли, не помѣшанный-ли писалъ это?!

Я, смѣясь, согласился съ этимъ. Среди нашего глумленія надъ слабостью несчастнаго старика, въ сосѣдней комнатѣ послышался какой-то прерванный шелестъ.

— Боже мой, онъ, кажется, дома! Онъ все слышалъ, вскричалъ я.

— Ничего... Это полезный урокъ! смѣялся мой сотрудникъ.

Я отворилъ дверь въ маленькую комнату. На столѣ горѣла свѣча; передъ ней, спиной ко мнѣ, стоялъ старикъ съ растрепанными сѣдыми волосами. Я съ удивленіемъ замѣтилъ на столѣ скомканную бумагу; старикъ проворно мочилъ свой палецъ слюнями, поднося его къ губамъ, и съ энергіей вытиралъ какія-то слова въ газетѣ, быстро отбрасывая одинъ листъ за другимъ Онъ вытиралъ свою подпись подъ статьей о полицейскомъ пріютѣ.

— Что вы это дѣлаете? спросилъ я.

Старикъ взглянулъ и быстро оборотился ко мнѣ, лицо его было красно, глаза горѣли, руки дрожали; онъ, видимо находился въ крайнемъ волненіи.

Я повторилъ вопросъ.

— Ничего! вскричалъ онъ какимъ-то страстнымъ голосомъ.—Ничего! Ничего! съ энергической рѣзкостью повторилъ онъ, схватывая обѣими руками свою шапку.

— Куда вы? спросилъ я. Но старика уже не было въ комнатѣ.

— Вотъ, что вы теперь надѣлали? сказалъ я, возвращаясь въ кабинетъ къ моему гостю.

— Э, ничего! это пройдетъ.

Но это не прошло. Дня черезъ два ко мнѣ явилась дочь старика; глаза у нея были заплаканы еще больше, чѣмъ въ первое наше свиданіе.

— Батюшка вѣрно простудился гдѣ-нибудь, онъ совсѣмъ слегъ; я ужь его въ больницу отправила, сказала она мнѣ. — Я не знаю, что съ нимъ сдѣлалось: вѣрно горячка — все бредитъ. Про статьи какія-то говоритъ... Васъ вспоминалъ...

Я спросилъ адресъ больницы и пообѣщался навѣстить старика.

— Онъ просилъ принести ему какія-то книжки, драму его... Хотѣлъ лекарю подарить, чтобы онъ прочиталъ... Это, говоритъ, мое сочиненіе, а то другое какое-то, не мое...

Въ этотъ день мнѣ не удалось навѣстить старика. На слѣдующее утро я засталъ его уже мертвымъ. Маленькая,

худая фигурка лежала на грязныхъ нарахъ; кожа едва покрывала кости; сѣдые волосы, точно вѣнокъ, обрисовывали желтое, сухое лицо съ черными ямами глазъ... Такъ вотъ какой финалъ страстнаго, фанатическаго увлеченія литературной славой! — подумалъ я, оставляя за собою одинокій трупъ бѣдняка.

ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ!

(на медовую рѣку Неву!)

Надняхъ я былъ въ воксалѣ Николаевской желѣзной дороги и засталъ тамъ только-что пришедшій поѣздъ изрыгнувшій пеструю, суетливую и шумливую толпу пассажировъ.—Въ этой толпѣ я сразу замѣтилъ до десятка молодыхъ людей, которые суетились — одни съ неловкой робостью, другіе съ неловкой залихватской развязностью... Я вспомнилъ, что теперь именно то время года, тотъ мѣсяцъ, когда провинціальное юношество, покончивъ съ выпускными экзаменами, торопится въ Петербургъ съ горами самыхъ блестящихъ надеждъ и самыхъ розовыхъ мечтаній. Я говорю — торопится, потому-что можно-бы пріѣхать и въ августѣ: ни въ одномъ высшемъ учебномъ заведеніи не отказываютъ въ пріемѣ прошеній до 15 числа этого мѣсяца, а въ другихъ принимаютъ и до перваго сентября; но гнить въ провинціи, гулять по Дворянской улицѣ или въ Архіерейской рощѣ, купаться въ какой-то

мутной Волгѣ, ѣздить на гулянья въ боръ за ягодами — фи, пошлость! — въ Петербургъ скорѣе, долой изъ этого бабьяго города съ потными пуховиками и со сдобными бубликами! — Невскій — не Дворянская какая нибудь. Нева — не Волга какая нибудь, Лѣтній садъ — не Архіерейская роща... Наконецъ, тамъ столица мысли и самодѣятельности, тамъ не презираютъ никакого труда, и человѣкъ, отважно рѣшившійся трудиться и идти на проломъ, тамъ никогда не погибнетъ! — Скорѣй туда, туда — во что́-бы то ни-стало!

Весело смотрѣть на эти вдохновенно-радостныя лица воодушевленныхъ людей, сіяющія мужествомъ воиновъ, надѣющихся восторжествовать надъ врагомъ за правое дѣло, чувствующихъ опасность, но презирающихъ ее!

Много лѣтъ тому назадъ, я тоже съ бѣшеной радостью глядѣлъ въ окно вагона, подъѣзжая къ Петербургу, и досадно мнѣ было, что паровозъ везетъ насъ очень тихо, приближаясь къ обѣтованной землѣ. — И мелькало у меня въ головѣ: «Двадцатипятилѣтній рабочій Фаредей, слушая лекцію сэра Гумфри Деви объ эквивалентахъ, до того увлекся химіей... что сдѣлался знаменитымъ европейскимъ ученымъ»... Мнѣ семнадцать лѣтъ, я кончилъ курсъ въ гимназіи — чѣмъ я хуже Фаредея? — И много толпилось у меня тогда въ головѣ примѣровъ того, какъ люди изъ положенія гораздо худшаго, чѣмъ мое, выбились на до-

рогу и добивались даже до степеней извѣстныхъ.—Одно меня страшило: это то, что у меня было тридцать два рубля въ карманѣ, что за слушаніе лекцій надо было внести 25 рублей... но на этотъ конецъ находилось успокоеніе: вѣдь это не нашъ Охрогорскъ, а Петербургъ... авось...

Огни зажигались вечерніе,
Вылъ вѣтеръ и дождикъ мочилъ,
Когда изъ Полтавской губерніи
Я въ городъ столичный входилъ.
Не знамо ни роду, ни племени,
Малъ ростомъ и свиду смѣшонъ,
Но сорокъ лѣтъ минуло времени
Въ карманѣ моемъ милліонъ.

Я не вхожу, а въѣзжаю, я не малъ ростомъ и съ виду не смѣшонъ. Не стыдно-ли мнѣ отчаяваться, когда простые мужики не затрудняются въ этомъ золотомъ городѣ наживать милліоны?—Не умру-же я съ голоду!

Пріѣхали... все странно, все ново, все поразительно. Какъ съумасшедшій, выбѣжалъ я изъ вагона: опоздай одной минутой—пожалуй Петербургъ провалится, и ничего не увидишь. Я торопился, толкался, рвался.—Получивъ свой чемоданъ изъ багажа—ахъ, какъ тамъ медленно выдавали!—я взвалилъ себѣ на плечи и чемоданъ и подушку, и пошелъ куда глаза глядятъ: и чудно мнѣ было все, и радостно, и странно, а въ памяти весело го-

рѣла вычитанная гдѣ-то фраза: «По одной изъ мрачныхъ улицъ Парижа шелъ молодой человѣкъ съ легкимъ чемоданомъ на плечѣ. Это былъ юноша Камиль Дюмуленъ».— Хотя мой чемоданъ былъ не такъ легокъ, какъ можетъ быть, былъ легокъ чемоданъ Камиля Дюмулена, но я несъ трехпудовую тяжесть съ умиленіемъ и радостію до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не выбился изъ силъ... Нанялъ извощика, нанялъ квартиру съ тѣмъ, чтобы хозяйка въ шесть часовъ будила меня и подносила рюмку водки и кусокъ сырой говядины, чтобы потомъ обливала мнѣ голову холодной водой, чтобы купила пару горшковъ съ кактусами и поставила ихъ подъ кровать, для поглощенія той углекислоты, которую я выдыхаю, чтобы... но мнѣ даже стыдно хотя, можетъ быть, и не непріятно вспоминать всѣ эти глупости. — Спрятавъ двадцать пять рублей для внесенія за слушаніе лекцій, я, соображая, что нахожусь въ Америкѣ, гдѣ трудъ равно почтененъ, не дѣлится на роды и виды—отправился на Александровскую мануфактуру, и, чтобы не терять драгоцѣннаго времени даромъ, нанялся въ кузницу, въ молотобойцы. Само собой разумѣется, черезъ два дня, когда у меня появились кровавые мозоли и отнялись руки, меня съ хохотомъ выгнали вонъ. Тутъ начинается цѣлый рядъ самыхъ наивныхъ глупостей, впрочемъ, очень простительныхъ для мальчика, не имѣвшаго ни души знакомой въ

чужомъ городѣ: я пріѣхалъ оттуда, куда Макаръ телятъ не гоняетъ, и нашелъ двухъ-трехъ земляковъ уже тогда, когда я самъ могъ снабжать ихъ совѣтами и помощью...

Бредя Америкой, Линкольномъ, Вашингтономъ, Стифенсономъ и проч.—я напиралъ исключительно на физическій трудъ. Мнѣ даже страшно было подумать, что въ стольномъ городѣ я могу годиться къ труду менѣе тяжелому и болѣе вознаградимому. Напр., ни о перепискѣ бумагъ, ни объ урокахъ—ни о чемъ подобномъ я не смѣлъ думать: есть люди въ тысячу разъ способнѣе меня для этого. — Я работалъ на патронномъ заводѣ, былъ котловщикомъ на чугунно-литейномъ заводѣ, служилъ матросомъ на пароходѣ, торговалъ апельсинами, работалъ на биржѣ... Все это, конечно, было не кряду а съ промежутками: иногда приходилось оставаться по цѣлой недѣлѣ безъ работы, и — слабъ человѣкъ — я размѣнялъ свою священную двадцатипятирублевку и истратилъ ее въ теченіе какого нибудь полугода. — Въ университетъ поступить было нельзя... И вотъ мучился я цѣлыхъ три года, покуда меня не выручилъ счастливый, или несчастный случай—ужъ не знаю, какъ сказать.

Работалъ я разъ какъ-то на Калашниковской пристани; была ранняя навигація; холодъ; вода не выше одного градуса тепла; ужъ я приснаровился таскать кули и работалъ не хуже другихъ... Но тутъ надо замѣтить,—

эта работа, т. е. тасканіе девятипудовыхъ кулей не требуетъ особенной силы, нужна только ловкость; чуть неловко взвалилъ куль на спину—вмѣстѣ съ нимъ перекувырнешься; при полномъ-же соблюденіи центра тяжести, куль этотъ можетъ нести женщина.—Такъ вотъ-съ, какъ-то, идя по трапу, уже подлѣ борта, я какъ-то оплошалъ и свалился вмѣстѣ съ кулемъ въ воду—точно въ кипятокъ. Я, конечно, бросилъ крюкъ и куль и выплылъ на берегъ. Выслушавъ тамъ какія слѣдовало ругательства за мою оплошность, я отправился домой, т. е. на постоялый дворъ, по холоду, въ мокрой рубахѣ... Ночью со мной сдѣлался тифъ, и я попалъ въ больницу.—Гдѣ вы, благородная Матрена Ивановна?—Помните-ли вы, а я помню, какъ вы, привезя меня въ больницу, сунули мнѣ подъ подушку пятнадцать копѣекъ — я знаю, вы украли ихъ у вашего подлаго мужа (содержателя постоялаго двора), но тѣмъ не менѣе, когда вы понуждаетесь въ пятнадцати рубляхъ, смѣло обращайтесь ко мнѣ, я вырою ихъ для васъ изъ земли!..

Больница излечила меня отъ тифа и отъ моихъ глупостей.

Рядомъ со мной лежалъ какой-то жалкенькій сотрудникъ «Петерб. Листка». Онъ былъ человѣкъ добрый и по больничному денежный. Разъ, къ великому моему удивленію, я узналъ, что онъ получаетъ за свои литера-

турныя работы пятнадцать, а то и двадцать рублей въ мѣсяцъ.

— И все за городовыхъ, за бляхи? презрительно и насмѣшливо спросилъ я его.

— Что станешь дѣлать-то!.. Жалко!.. А все бываетъ!.. Съ мѣсяцъ назадъ написалъ тутъ про здѣшнюю кастеляншу, думалъ такъ сойдетъ — женщина добрая, разъ свѣчи у меня не было—огарокъ свой собственный дала... ну, а ее выгнали... и всего-то я сто строкъ съ чѣмъ-то написалъ, на полтора цѣлковыхъ... Иначе нельзя: цензура!

Подумавъ о литературѣ, я какъ-то вдругъ вдохновился. «Жанъ-Жакъ Руссо пишетъ, что когда Дидро внушилъ ему мысль писать на заданную академіей тему о просвѣщеніи, то, возвращаясь отъ него, онъ, подъ давленіемъ своихъ жгучихъ мыслей, упалъ подъ деревомъ и пролежалъ на землѣ нѣсколько часовъ—мелькала у меня въ памяти, гдѣ то вычитанная фраза, и мнѣ хотѣлось видѣть въ своемъ собесѣдникѣ Дидро, чтобы принять себя за Жанъ-Жака Руссо, но онъ былъ такой плюгавенькій, что, поглядѣвъ на него, я даже разсмѣялся.

Какъ бы то ни было, я раздобылся у фельдшера бумагой и принялся за работу. Черезъ недѣлю былъ готовъ этнографическій очеркъ и съ великими хлопотами отправленъ въ редакцію одного ежемѣсячнаго журнала, теперь уже несуществующаго, но до шестьдесятъ шестаго

года занимавшаго первое мѣсто въ русской литературѣ. Я такъ уважалъ этотъ журналъ, что отправилъ туда свое сочиненіе какъ будто на смѣхъ, въ полной увѣренности что тамъ такую дрянь выбросятъ въ помойную яму. — Каково-же было мое счастіе и удивленіе, когда я получилъ письмо слѣдующаго содержанія: «Вашъ очеркъ будетъ напечатанъ; потрудитесь извѣстить, гдѣ и когда можно съ вами видѣться, чтобы переговорить объ условіяхъ гонорарія. Если вамъ нужны деньги, потрудитесь также упомянуть объ этомъ, чтобы я захватилъ съ собою № №».

Онъ—самъ, онъ — тотъ геній, сочиненія котораго я знаю наизустъ, котораго я боготворю, увидавъ котораго, вѣроятно, паду къ ногамъ и слижу ему всю ваксу съ сапогъ—самъ онъ, собственноручно пишетъ ко мнѣ жалкому, убогому и ничтожному!..

Меня просто трясла лихорадка.

Это—идолопоклонство. Но я съ радостью вспоминаю, что и я когда-то былъ энтузіастомъ. Увы! Глядя теперь на меня, толстяка, еле волочащаго ноги подъ бременемъ своей тучности, кто повѣритъ, что я могъ когда-то цѣловаться, плакать, порывисто кидаться въ объятія и проч. Да! было время, когда мнѣ снилось что-то другое, а не могилы, не попы, не факельщики, не гробы съ каретами и другими похоронными принадлежностями!

Едва ли менѣе меня былъ обрадованъ этимъ письмомъ мой сосѣдъ по кровати—обличитель.

— Покажите, голубчикъ, покажите! молился онъ, когда я пряталъ письмо, показавъ ему въ двѣсти двадцатый разъ.

Онъ бралъ письмо великаго поэта и покрывалъ его горячими страстными поцѣлуями; оно цѣло и теперь у меня, но подпись слизана—все онъ слизалъ своими поцѣлуями.

— Ломите сразу десять рублей впередъ, — дадутъ! внушалъ онъ мнѣ.

Я не заломилъ десяти рублей, а просто написалъ, что очень нуждаюсь въ деньгахъ, и — чѣмъ дадутъ ихъ больше, тѣмъ для меня лучше.—Дурно я помню ту сцену, когда онъ пріѣхалъ... у меня текли по щекамъ невольныя, неудержимыя слезы, и я не воспользовался его протянутой рукой—не осмѣлился протянуть свою... Я говорилъ все безъ исключенія глупости; онъ вручилъ мнѣ двѣсти рублей и уѣхалъ. Когда я очнулся, то замѣтилъ, что у стѣны, какъ будто замеръ, стоитъ всплеснувъ руками мой обличитель, блѣдный какъ полотно. Онъ дивился, что видѣлъ передъ собой человѣка въ брюкахъ и пиджакѣ, а не голаго полубога съ пальмовымъ листикомъ.

Теперь мнѣ эта сцена смѣшна, теперь, когда вы не удивите меня даже пушечнымъ выстрѣломъ изъ жилет-

наго кармана, но тогда она имѣла для меня потрясающее значеніе... О это невозвратимое *тогда!*—Какъ бы хорошо было теперь, по-старому, по-молодому, тащить трехпудовый чемоданъ на своихъ плечахъ изъ воксала Николаевской желѣзной дороги; какъ бы хорошо было, еслибъ этотъ, а иногда и эти чемоданы не тащили за тобой поденщики, какъ-бы пріятно было, еслибъ не ждала тебя карета!—И изъ-за чего я бился?!!

Вотъ Университетъ; полтора года я—математикъ; наступаетъ памятный мнѣ 1862 годъ: насъ гонятъ, но изъ милости позволяютъ обратиться въ юристовъ. Въ одинъ мѣсяцъ я дѣлаюсь кандидатомъ правъ... Далѣе... Технологическій институтъ, и я механикъ... Гдѣ же результаты моихъ десятилѣтнихъ трудовъ?—А вотъ, эти—результаты лежатъ передо мной, на моемъ письменномъ столѣ: это—два листа писаной бумаги. Въ одномъ значится, что я удовлетворительно выдержалъ надлежащее испытаніе и удостоенъ конференціей званія кандидата юридическихъ наукъ; въ другомъ листѣ написано, что, послѣ надлежащаго испытанія, я удостоенъ конференціей званія инженеръ-механика перваго разряда.

Отдаю ихъ, оба эти листа, всякому желающему, за понюшку табаку!

Съ первымъ листомъ, на радостяхъ, я долго носился и вездѣ мнѣ смѣялись въ лицо:

— Помилуйте, какой же вы кандидатъ! кандидатъ шестьдесятъ втораго года! Лицо — неблагонамѣренное...

Второй листъ, провозглашающій меня инженеръ-механикомъ перваго разряда, былъ для меня еще злополучнѣе. Съ полученіемъ его я лишился ежемѣсячной стипендіи въ двадцать рублей, и — въ замѣнъ ея получилъ только шестьдесятъ рублей единовременно, на вѣчныя времена. — Меня зовутъ скупымъ, но и я покончилъ съ этимъ капиталомъ въ недѣлю: другіе, на радостяхъ, свиснули свои шесть десятъ рублей, кто въ день, а кто—въ два...

Голодъ... И вотъ я опять кочегаръ на Николаевской желѣзной дорогѣ, на испытаніи для полученіи должности машиниста, такъ-какъ я русскаго происхожденія, а потому безъ испытанія допущенъ быть не могу. Даютъ мнѣ жалованья четырнадцать рублей въ мѣсяцъ. Мой начальникъ—машинистъ получаетъ сорокъ. Онъ не былъ на испытаніи, прямо поступилъ машинистомъ, потому-что прусакъ, а на прусака понадѣяться можно. Могу сказать, что это былъ предобродушнѣйшій человѣкъ; онъ не имѣлъ никакого понятія о машинѣ, зналъ только, гдѣ надо отвернуть и завернуть, и все со страхомъ смотрѣлъ на золотникъ. Всю свою должность онъ передалъ мнѣ и ужасался при каждомъ моемъ нововведеніи, въ родѣ, напримѣръ, суриковой замазки и проч. Онъ держалъ въ Москвѣ колбасную лавку, и у насъ всегда въ изобиліи

были сосиски и четвертная водки, которую мы, для прохлады, ставили въ ведро съ водой.

Эта четвертная и была именно причиной случая, о которомъ когда-то много ругались въ газетахъ... Разъ мой геръ Кюхнеръ-Адольфъ, какъ онъ любилъ себя называть, отъѣхалъ раньше третьяго звонка полнымъ ходомъ, оставивъ на станціи меня, нѣсколько кондукторовъ и пассажировъ. Четвертная, вѣроятно, совершенно отвратила его вниманіе отъ золотника; онъ только подбрасывалъ дрова и ругалъ меня.—Его поѣздъ нагналъ товарный, сшиблись, и геръ Кюхнеръ оправдался только тѣмъ, что онъ прусакъ: само собой разумѣется, изъ-за пяти человѣкъ убитыхъ какихъ-то русскихъ, прусака судить не стали, а только смѣнили съ должности и поручили эту должность мнѣ.

Въ томъ году октябрь былъ очень холодный. Вертясь около каленой печки, я часто чувствовалъ, какъ холодъ точно молотомъ молотитъ мои ноги... Словомъ, черезъ мѣсяцъ у меня ноги совершенно отнялись: я не могъ больше ходить и исполнять должность машиниста.

Опять больница... пишу повѣсть... но ужъ только съ почтеніемъ, а не съ благоговѣніемъ, принимаю я сторублевки отъ редактора и уже не плачу, а смѣло протягиваю ему руку. — Меня ужъ вымолотили, отесали, пожилъ въ городѣ, повидалъ видовъ.

И пошло...

Къ чему-же у меня лежатъ эти два писаныхъ листа съ казенными печатями, для полученія которыхъ я чуть не пѣшкомъ прошелъ пять тысячъ верстъ и промаялся въ Петербургѣ больше десяти лѣтъ? — Они лежатъ, какъ свидѣтельства моей глупости и неопытности! — Я юристъ?!—Да еслибъ вели меня на казнь, чтобы я признался, что знаю когда былъ написанъ кодексъ Юстиніана—я-бы не могъ сказать этого, и меня-бы казнили... Я такой-же юристъ, какъ водовозъ, который вамъ носитъ воду.

Какъ инженеръ-механикъ, я еще лучше. Если вы попросите меня посмотрѣть свою вѣтряную мельницу, я со стыдомъ долженъ буду отказаться; ничего не понимаю, и вашъ мельникъ на каждомъ шагу можетъ пристыдить меня.

А думалъ я быть великимъ ученымъ. Къ великому сожалѣнію, оказывается, что лучше читать, чѣмъ слушать благонамѣренно глупыя, азбучныя, всѣмъ извѣстныя лекціи. Еслибъ я остался въ своемъ родномъ Минусинскѣ, я бы, съ книгами, пожалуй точно былъ теперь ученымъ.— А здѣсь—трудился, трудился, болтался, болтался, учился, учился,—и вышло на повѣрку, что я свѣдущъ въ юриспруденціи и механикѣ ровно на столько-же, насколько былъ свѣдущъ въ китайскомъ языкѣ на своихъ крестинахъ... О, аллахъ, я и теперь не знаю ни одного слова по-китайски, но пошли ты мнѣ дядю вица, или обера, и

я буду профессоромъ китайскаго языка завтра же!—Китайскій языкъ безвинный и юношество у меня выйдетъ благовоспитаннѣе, чѣмъ я самъ. Это—не механика!—Не вдаваясь въ технику, я могу только заявить здѣсь, что по наущенію моихъ учителей, въ качествѣ машиниста, я чуть было не устроилъ разрывъ котла въ паровозѣ: мое счастье, что онъ былъ староватъ, и въ немъ оказалась какая-то прорѣха...

Радостно глядѣлъ я на этихъ безбородыхъ юношей, на дебаркадерѣ Николаевской желѣзной дороги... Вотъ онъ: онъ счастливъ, онъ думаетъ, что пріѣхалъ въ свободный городъ. На немъ потертое пальто, стоптанные сапоги, онъ держитъ въ рукѣ маленькій чемоданчикъ за ухо.

— А, дайте-ко мнѣ сайку! ужъ черезъ чуръ развязно говоритъ онъ саечнику.

— Съ чѣмъ прикажите?

— Ну да съ чѣмъ хотите!

— Съ икрой?

— Давайте! — А что здѣсь можно идти по улицѣ и ѣсть сайку?!

— Никто не вырветъ, съ удивленіемъ отвѣчаетъ саечникъ.

Молодой человѣкъ сіяетъ. Онъ въ свободномъ городѣ. Никто его не осудитъ здѣсь за радикальное кусаніе сайки на улицѣ!

Отрадно смотрѣть на этого наивнаго юношу, но я невольно задаюсь вопросомъ — разсчиталъ-ли онъ, куда идетъ, знаетъ-ли онъ, гдѣ находится край пропасти? — Я знаю все: не даромъ я стою одной ногой въ могилѣ.— Не обижайтесь, я не хочу никого разочаровывать, хочу только сказать: «смотрите, господа, запасайтесь силами: борьба долга и трудна: кто не чувствуетъ въ себѣ силъ вынести ее, тотъ пусть лучше остается дома: здѣсь онъ погибнетъ!»

Молодой человѣкъ! молодой человѣкъ, идущій съ чамоданомъ въ рукѣ по Знаменской площади и жующій сайку съ икрой, хотите, я вамъ разскажу все, что съ вами случится въ этой обѣтованной землѣ, гдѣ Нева, а не Волга, гдѣ Невскій проспектъ, а не Дворянская улица.

Вы наняли рублевый номеръ въ Знаменской гостиницѣ, тотъ самый, который мнѣ всегда отдадутъ за 30 копѣекъ.— Ночь вы спите безпокойно, а утромъ, чуть свѣтъ, бѣжите въ Адресный столъ. — Оказывается, что всѣ ваши товарищи: Степановъ, Кузминскій, Рогулинъ, Каверинъ, Спасскій, Андрюковъ и Лебедевъ живутъ въ одномъ домѣ, въ Малой Бѣлозерской, на Петербургской сторонѣ. — То-то радость!

На крыльяхъ этой радости, вы прилетаете въ Малую Бѣлозерскую и застаете тамъ всѣхъ семерыхъ пріятелей

голодными; они занимаютъ одну комнату, спятъ кой-какъ на полу. Они вамъ очень рады.

— Манна небесная! говоритъ Андрюковъ. Есть у тебя деньги?

— Ахъ, колбасы-бы съ чеснокомъ! лепечетъ маленькій Лебедевъ.

— Окрошку... Два фунта ветчины, квасу, огурецъ, яйцо, пять фунтовъ хлѣба! рѣшительно объявляетъ Андрюковъ.

— Просто-бы чай да хлѣбъ съ масломъ, совѣтуетъ Кузьминскій.

— Окрошку... три полуштофа...

Окрошка, водка... весело...

Вы переселяетесь туда восьмымъ и черезъ немного времени начинаете скулить и голодать сообща. Получаетъ кто-нибудь изъ дому двадцать пять рублей—надо долги платить и опять сидѣть безъ денегъ, получаетъ другой пятьдесятъ рублей,—за уплатой долговъ оказывается маленькій остатокъ—отчего же не кутнуть, не попировать, послѣ долгаго поста?

Но вотъ средства истощаются... Люди все честные, на чужой счетъ жить не желаютъ.—Видитъ Степановъ что десять рублей, которые высылаетъ ему мать—плохое дѣло, и... и поступаетъ въ Константиновское училище, благо тамъ не требуется экзамена, пища и все содержаніе

готовое. Только-что его проводили съ проклятіями, Рогулинъ собираетъ бѣлье свое въ котомочку.

— Куда?

— Пойду пѣшкомъ въ Тулу. Пѣшкомъ! кричитъ онъ. Въ Тулѣ у меня—дядя! — Сказано, изъ дому больше не будетъ ни гроша!

Объ этомъ соболѣзнуютъ, уговариваютъ его, складываются, и покупаютъ ему билетъ до Москвы. Складываются — надо понимать такъ, что складываютъ носимое платье въ одинъ узелъ и тащатъ къ закладчику.

— Хлюздятъ! кричитъ Андрюковъ.

Бацъ! Получается увѣдомленіе, что Спасскій принятъ околодочнымъ надзирателемъ въ резервъ: Скандалъ... Далѣе, Каверинъ уходитъ пѣшкомъ для того, чтобы сдѣлаться сельскимъ учителемъ: нечего дать ему и на дорогу, кромѣ добрыхъ совѣтовъ, въ родѣ того, что какъ отекутъ ноги, ложись на землю и задирай ихъ къ небу... Маленькій франтикъ Лебедевъ переѣзжаетъ къ какой-то танцовщицѣ. Кузьминскій поступаетъ на службу къ мировому судьѣ, приходитъ и начинаетъ разсказывать про свои доходы, а Андрюковъ его—по шеѣ!

И вотъ вы остаетесь вдвоемъ. Андрюковъ ходитъ по комнатѣ и свирѣпо бормочетъ! «Надо переписку, надо что-нибудь! — Уныніе—подлость. Не надо унывать даже тогда, когда ведутъ на висѣлицу: авось простятъ!»

Ходитъ онъ цѣлые дни съ великимъ упорствомъ, по разнымъ мѣстамъ, гдѣ только можно найти работу, и отыскиваетъ себѣ какой-нибудь урочишко на восемь рублей. Андрюковъ съ вами не разстанется: онъ будетъ кормить васъ до тѣхъ поръ, пока не найдетъ урока и для васъ. — Счастливъ тотъ, кто сойдется съ такимъ товарищемъ! — У меня былъ такой товарищъ, онъ умеръ на моихъ рукахъ, въ нашемъ сыромъ подвалѣ, отъ чахотки;—умирая онъ, и, задыхаясь, говорилъ: «въ Бронницкой, у Петрова... сапоги... шесть гривенъ за подметки... заплати, возьми: крѣпкіе, тебѣ годятся... полтинникъ еще Агасферу долженъ: заплати, какъ можешь»... Онъ умеръ; я горжусь, что имѣлъ честь закрыть глаза этому честному труженику, но стыжусь, что я не могъ похоронить его... Провинціалъ не знаетъ, что у насъ съ похоронами выходитъ цѣлая исторія... когда-нибудь я напишу юмористическую картинку, гдѣ полицейскіе, гробовщики, попы и лекаря будутъ выставлены безъ прикрасъ. Если мнѣ это удастся, тогда самъ Момусъ лопнетъ отъ досады.

Андрюковъ, если онъ рѣшился кончить курсъ въ Университетѣ,—кончитъ его, хоть бы для этого потребовалось двадцать лѣтъ работы и, если вы его товарищъ, онъ не позволитъ вамъ не кончить курса.

И вотъ вы маетесь съ Андрюковымъ пять, шесть, десять лѣтъ, наука дается трудно: надо хлѣбъ добывать...

Унываете и поступаете на мѣсто—писцомъ куда нибудь къ нотаріусу, конечно, тайкомъ отъ Андрюкова.

Идутъ годы... И однажды вы получаете такое письмецо: «Пріятель вашъ, г. Андрюковъ, проситъ меня увѣдомить васъ, что онъ желалъ-бы видѣть васъ передъ смертью, которая, вѣроятно, воспослѣдуетъ въ непродолжительномъ времени»...

Ѣдете вы; вывѣска: *«присяжный повѣренный С. П. Лебедевъ»*. А! Заѣзжаете.

— Что вамъ угодно? надменно и холодно спрашиваетъ васъ молодой человѣкъ въ pince-nez.

— Ты не узналъ?! Поѣдемъ... Бѣдняга Андрюковъ умираетъ въ больницѣ.

— Не имѣю удовольствія знать...

— Полно! Лебедевъ! помнишь Малая Бѣлозерская!

— Ну-съ, и что-же?

— Вѣдь мы жили тамъ... О, Господи! Андрюковъ...

— Ну-съ, и что-же?

Тонъ его нахаленъ; онъ постукиваетъ носкомъ своего праваго сапога о полъ и подло ворочаетъ своей носодавкой.

Пощечина.

Мѣсяцъ сидѣнія въ Московской части.

ЗЕМСКІЙ ДѢЯТЕЛЬ.

Люблю я встрѣчаться съ молодыми людьми изъ горячихъ энтузіастовъ при дѣлѣ, въ святость и успѣхъ котораго у нихъ не зародилось еще ни тѣни сомнѣнія. Это честные люди, и я никогда не позволялъ себѣ смѣяться надъ ихъ ошибками или увлеченіями, никогда не покушался порадно уткнуть ихъ носомъ въ ошибку, подвести подъ разочарованіе, и потомъ съ насмѣшливымъ торжествомъ крикнуть: «что, братъ!—не хватаетъ... знать, молода еще, въ Саксоніи не была!.. поживи-ко съ наше!»— Но есть люди, которые находятъ какое-то наслажденіе въ раскрытіи ошибокъ и увлеченій этихъ горячихъ головъ, въ разрушеніи ихъ иллюзій, словомъ, поскорѣе перетянуть ихъ изъ вѣрующаго рая въ невѣрующій, во всемъ сомнѣвающійся адъ. — Дайте имъ хоть немного подольше пожить въ раю своихъ иллюзій: настанетъ время: они будутъ у васъ, когда во всемъ разочаруются и научатся различать глаголы: *быть* и *казаться*.

Петръ Петровичъ, молодой земецъ, что называется

горячая голова, рѣшительно не зналъ различія между этими двумя глаголами.—Онъ даже не могъ представить себѣ, чтобы подлецъ могъ говорить о честности высокой. — Въ глубинѣ души, мнѣ кажется, ему даже вѣрилось, что злодѣй непремѣнно, при встрѣчѣ, такъ и отрекомендуется: «Я подлецъ, я разбойникъ, Петръ Петровичъ!»—И счастливъ былъ этотъ вѣрующій человѣкъ!— Онъ всегда былъ веселъ, румянъ, здоровъ, никогда не злился, имѣлъ превосходный аппетитъ, и спалъ такъ крѣпко, что ни царь-колоколомъ, ни царь-пушкой не разбудишь... Онъ вѣрилъ въ свое дѣло, любилъ его, надѣялся на него, и всегда съ радостью бралъ на себя воловью работу, отъ которой отказывались другіе.—Любо было глядѣть на этого счастливаго человѣка! — Мнѣ всегда не нравилось, когда его дядя, Степанъ Иванычъ, прожившій болѣе десяти лѣтъ въ Англіи и, конечно, видящій на десять тысячъ верстъ дальше своего племянника, рѣшительно сражалъ его своимъ скептицизмомъ. — Какъ теперь вижу, лежитъ Степанъ Иванычъ на диванѣ, куритъ пѣнковую трубочку; на головѣ у него бѣлая папаха; голова бритая; онъ въ черкесскомъ костюмѣ; изъ подъ его огромныхъ сѣдыхъ усовъ рѣчь льется медленно, растяжно и отрывисто, какъ будто онъ сберегаетъ слова.— На сценѣ женскій вопросъ.

— Кашеварова, Суслова! кричитъ Петръ Петровичъ.

— Двѣ. Въ Россіи сорокъ милліоновъ бабъ: по скольку это выходитъ на тысячу-то: одна двадцатитысячная баба, что-ли?..

— Значитъ, вы невѣрите въ образованіе женщинъ... лучше мало, чѣмъ ничего... Кашеварова... Суслова... да теперь у насъ не двѣ, а можетъ быть тысячи женщинъ— лекарей.

— Вотъ въ томъ то и дѣло... лекарей у насъ и безъ женщинъ довольно: проходу отъ нихъ нѣтъ, и всѣ праздныя разжирѣвшія бабенки полезли въ лекаря! — И вы рады, сударь, и не грустите, что милліоны простыхъ бабъ остаются въ крайнемъ невѣжествѣ, что они не умѣютъ научить своего ребенка самой коротенькой молитвѣ!.. Вы забыли статистику: въ Англіи, кажется, четырнадцатая часть всего бюджета тратится на высшее образованіе—на это, на докторское то, а все остальное тратится на начальное народное образованіе... Ну-съ, и приходится въ Англіи, что въ каждомъ десяткѣ найдешь грамотнаго, а у насъ не найдешь и въ сотнѣ... А женщины доктора есть! — Очень онѣ намъ нужны! — Мало безъ нихъ всякихъ шарлатановъ и знахарей!.. Дѣло образованія русскихъ женщинъ пойдетъ на ладъ только тогда, когда мы обратимъ все свое вниманіе на милліоны бабъ и оставимъ въ покоѣ всѣхъ докторшъ съ ихъ дипломами! Это дипломы, хоть бы ихъ было сто тысячъ, а не два

только, не докажутъ никому, что русскія женщины образованы: двѣ докторши, а сорокъ милліоновъ ни читать, ни писать не умѣютъ.—Мало утѣшительнаго!

Вообще Степанъ Иванычъ діалектикъ, человѣкъ умный и очень начитанный, не Петру Петровичу было спорить съ нимъ. — Петръ Петровичъ, послѣ многихъ діалектическихъ сшибокъ съ новопріѣзжимъ дядей, началъ, какъ будто задумываться.—

— Скажите пожалуйста, спрашивалъ онъ иногда меня—какъ вы думаете, есть у насъ классъ адвокатовъ?

— Шайки есть, а класса не знаю... тутъ что-то того... еще не выяснившееся...

— И дядька тоже говоритъ!.. А городское управленіе, что вы объ немъ думаете?

— Какъ вамъ сказать? — Пріятное препровожденіе времени отъ скуки, но безъ соединенія этого пріятнаго съ полезнымъ: бесѣды о наидобнѣйшемъ способѣ переливанія изъ пустаго въ порожнее...

— И дядька тоже говоритъ... А администрація?

— Ну, этотъ предметъ находится въ совершенствѣ...

— Дядька думаетъ, даже въ излишнемъ!.. И началъ даже худѣть Петръ Петровичъ.—Дядя Степанъ Иванычъ не отставалъ отъ него.

Передъ тѣмъ несчастіемъ, которое чуть не стоило Петру Петровичу жизни, Степанъ Ивановичъ лежалъ, по

обыкновенію, въ своей папахѣ и черкесскомъ платьѣ, на диванѣ, и цѣдилъ изъ подъ своихъ сѣдыхъ усовъ, вмѣстѣ съ дымомъ изъ пѣнковой трубочки, слѣдующую разумную рѣчь:

— Народъ — это понятіе отвлеченное, также какъ и земство. Даже еще отвлеченнѣе: ты не знаешь съ кого берешь деньги: съ Петровъ, Ивановъ или Николаевъ, а народъ все-таки приблизительно знаетъ, кто уворовалъ эти деньги: Ѳедоръ, Василій, или Гаврило...

— Что-же по вашему земскіе дѣятели—все воры?

— Не знаю. Ты — не воръ. А что не возьмешь газету, непремѣнно прочитаешь, что кто нибудь изъ дѣятелей хапнулъ... т. е. содѣялъ такое дѣяніе, за какое издавна принято садить дѣятелей въ острогъ... А деньги опять вноси таки...

— Что-же, по вашему, земство ему не нужно?

— Не только нужно, но пожалуй и необходимо, пожалуй манна небесная, но только что-то я вездѣ читаю и вижу, что земство у насъ, какъ будто чужое...

— Что-же это значитъ?

— Да хоть, пожалуй, то значитъ, что земство... ну, пристяжная скачетъ, а коренная не везетъ.

— Кто-же коренная?

— Народъ...

Петръ Петровичъ захохоталъ.

— И они не везутъ земское дѣло! и народъ не везетъ земское дѣло!.. Онъ какъ волъ молотящъ, занятъ имъ: батюшка!—Вы не знаете нашего народа!—Позвольте, я вамъ его покажу!—Вотъ завтра мнѣ надо обревизовать Богородское село: тамъ у насъ образцовая земская богадѣльня, образцовая больница, образцовая школа, тамъ, наконецъ, общество трезвости!..

— Ты давно былъ въ этомъ Богородскомъ селѣ?—Давно была тамъ ревизія?

— Не знаю; кажется, никогда. — Но теперь... Ну, вы поѣдете со мной: я вамъ покажу... Покажу и докажу, что вы слишкомъ низко думаете о земскихъ учрежденіяхъ... слишкомъ низко судите объ образованіи русскаго народа. — Онъ весь преданъ нашему дѣлу... Поѣдемте, посмотримъ...

— Посмотримъ, только трудно думать, что-бы вы, земцы, удрали такой фокусъ...

— То есть, какой фокусъ?

— То есть такой фокусъ, что людей, которыхъ втеченіе тысячи лѣтъ вы пріучили палками ходить на четвереньках хотите заставить въ одну минуту выучиться ходить на двухъ ногахъ...

— Охъ!—Нѣтъ! я не могу съ вами больше говорить!.. Я васъ сражу фактами: докажу вамъ успѣхъ земскаго дѣла... Противъ факта, противъ очевидности вы спорить не будете?!

— Не буду.

— Ну такъ вотъ, поѣдемте. Вы посмотрите нашу богадѣльню, нашу больницу, нашу школу, наши дороги... Сами мужики теперь возвысились въ уровнѣ образованія до того, что у нихъ есть общество трезвости... Да вотъ увидите! Поѣдете?

— Поѣду...

И вотъ они ѣдутъ...

Село Богородское — большое село, раскинутое на берегу большой рѣки въ одну улицу версты въ три.—Останавливаются на постояломъ дворѣ.

— Кто это въ бѣлой-то шапкѣ?

— Левизоры... управскіе, отвѣчалъ ямщикъ.

И начинается великая суета въ деревнѣ.—Толстякъ—старшина скачетъ даже вдоль всей деревни на лошади.—Надо сію-же минуту основать школу, больницу и богадѣльню...

Со школой дѣло улаживается скоро: долго-ли согнать мальчишекъ, да посадить ихъ застолы!—Приказаніе учителя отдано: «что я буду кричать, то и вы кричите всѣ въ одинъ голосъ, шельмецы»!—и дѣло съ концомъ школа готова.

Не то дѣло съ больницей.

— Полно, дядя Михайло, кочевряжиться, убѣждаетъ фельдшеръ... Лягъ, братецъ; чего тебѣ стоитъ!.. Всѣмъ

четвертную выставимъ..: Эка важность!.. Не съѣдятъ — лежи себѣ да стони, будто умираешь...

— А какъ умрешь!

— Ну!! ну-у?

— Да я пойду съ моимъ удовольствіемъ! кричитъ одинъ изъ присутствующихъ.

— Тебѣ нельзя; у тебя, братецъ, рожа очень толстая: можешь-ли ты походить на больнаго!—Ну, ребята, полведра!..

— Ну, пожалуй! радуется Михайло.

— Сейчасъ-же раздѣвайся, ложись по койкамъ и стони, какъ передъ смертью... А тебя, Степанъ, веревками привяжемъ; ты бѣснуйся, кричи и пѣсни и молитвы и все: видѣлъ, какъ наши ребята кричатъ въ опоѣ?...

— Ослобони!.. что-же!.. веревки теперь!

— Вѣдь ненадолго!—Чудакъ!.. Вѣдь видишь левизоры: что дѣлать то ужь, ложись... Полведра... Экъ, ты — голова!

Улеглись по койкамъ, Степана привязали веревками; поднесли больнымъ по стаканчику въ задатокъ... Фельдшеръ рѣшилъ сдѣлать репетицію...

— Ну, стоните ребята, а ты Степанъ бѣснуйся... дайте ему еще стаканъ водки: пусть онъ пьянъ напьется!.. Ну, стони, начинай!..

— Ооо-охъ, и намъ бы еще по стаканчику, стонетъ какой-то шутникъ.

— Ооооой-ой-ой-ой...

— Кукурику! кричитъ Степанъ.

— Хорошо! Поднести еще всѣмъ по стакану водки!..

Не то дѣло съ богадѣльней. Старики міроѣды, о которыхъ въ народной пѣснѣ поется:

У нихъ бороды сѣдыя,
Усы масляныя!

рѣшительно отказывались разыгрывать позорную роль богадѣльщиковъ.

— Да вѣдь ненадолго, братцы! кричалъ старшина. Вѣдь мы все общество острамимъ... ай, да вонъ они идутъ прямо на богадѣльню... Господи!

Старшина совершенно растерялся, и побѣжалъ къ нимъ навстрѣчу.

— Ведите прямо на кухню! скомандовалъ Петръ Петровичъ.

Это была великолѣпная кухня; печь изразцовая, кастрюли блестятъ, какъ золото; поваръ въ бѣломъ фартукѣ.

— Подай вилку и уполовникъ, говоритъ Петръ Петровичъ повару.

— Что за прекрасная говядина! что за свѣжая капуста! Каша даже ужь черезчуръ намаслена...

— Хорошо? каково? спрашиваетъ Петръ Петровичъ у дяди съ торжествующимъ видомъ.

— Гдѣ-же помѣщаются призрѣнные? спросилъ Степанъ Ивановичъ.

— А вотъ... Это вѣроятно очень престарѣлые и увѣчные, не могущіе вставать съ постелей: не безпокойте ихъ, говорилъ старостѣ Петръ Петровичъ на ходу.

— Никто съ постели не встаетъ... увѣчные, бормоталъ старшина... Гдѣ имъ вставать!.. престарѣлые...

Проходятъ по всѣмъ комнатамъ; какая чистота, какой порядокъ! — Простыни тонкія, бѣлыя; одѣяла байковыя — хоть-бы и не мужикамъ тутъ жить... Но гдѣ-же они, престарѣлые и увѣчные?

— Старшина, что это значитъ? спрашиваетъ Петръ Петровичъ.

— Не могу знать. Писарь въ городъ уѣхамши.

— А поваръ у васъ съ барскаго двора? спросилъ Степанъ Ивановичъ.

— Точно такъ...

— Ну, такъ все понятно!

— Объ этомъ будетъ составленъ протоколъ! грозно объявилъ Петръ Петровичъ.—Ведите насъ въ школу...

Петръ Петровичъ сердитъ и обиженъ, какъ будто что потерялъ.

Въ школѣ учитель, отставной солдатъ, стоитъ около

доски, за столами сидятъ парнишки, на доскѣ напачканы мѣломъ какія-то каракули. Учитель кричитъ: «бе-а-ба-бе-а-ба-баба»! Ученики жестоко голосятъ за нимъ что-то похожее на дружный лай стопсовой псарни...

— Позвольте мѣлъ, строго сказалъ Петръ Петровичъ учителю.—Вызовите лучшаго ученика.—Какая это буква? (Петръ Петровичъ написалъ на доскѣ букву *м*).

— Не знаю, простодушно отвѣтилъ мальчикъ.

— А это?—Петръ Петровичъ написалъ *б*.

— Не знаю.

— Это лучшій ученикъ!—Когда онъ поступилъ?

— Сего числа.

Солдатъ стоялъ, вытянувшись во фронтъ передъ начальствомъ.

— А другіе?..

— Всѣ сего числа-съ.

— Что-же это значитъ?

— Непонятно-съ! Простой народъ не понимаетъ того, что науки юношей питаютъ, отраду старцамъ подаютъ; не допускаютъ ребятъ къ ученью...

— А вы-то что-же?

— А я какъ много заговорю, да зачну учить, меня тюрей да хлѣбомъ станутъ кормить, а не учу, такъ иной разъ даже куру иной большесемейникъ сваритъ... А я не могу съ ними ничего сообразить!..

Здѣсь, надо замѣтить, что сельскіе учителя ходятъ обѣдать изъ дома въ домъ: по-очереди, сегодня у Ивана, завтра—у Петра, послѣзавтра—у Сидора.—Мужики чествуютъ ихъ, чтобы они не учили ребятъ и кормятъ педагоговъ, соображаясь съ ихъ рвеніемъ къ наукамъ. Если науки точно юношей питаютъ, то сельскій учитель отъ излишняго рвенія къ нимъ, рискуетъ умереть съ голоду... Мужикъ не пускаетъ своего сынишку въ школу не потому что не сознаетъ пользы наукъ: всякій изъ нихъ желалъ-бы, я думаю, видѣть своего сына окончившимъ курсъ въ университетѣ; но дѣло въ томъ, что мальчикъ доросшій до школы, уже работникъ, а бѣдняку тяжело лишиться работника... Ну, есть и другія еще причины!..

— Сколько вы получаете жалованья? спрашиваетъ Петръ Петровичъ учителя.

— Сто двадцать рублей-съ.

— Куда-же дѣваются остальные 780 рублей? строго спрашиваетъ Петръ Петровичъ старшину.

— Не могу знать. Писарь въ городъ уѣхамши.

— Вы грамотны?

— Никакъ нѣтъ...

— Все равно, объ этомъ будетъ составленъ протоколъ.—Ведите насъ въ больницу. Прямо въ палаты, а не въ кухню... а то у васъ тамъ пожалуй опять никого нѣтъ!..

Строгъ Петръ Петровичъ. Рѣчь его, если не саркастична, то все-таки дышетъ полнымъ неудовольствіемъ.

— Никакъ нѣтъ. — Восемь человѣкъ тяжелыхъ, при смерти и одинъ бѣшеный, отвѣчаетъ староста.

— Прямо ведите къ больнымъ.

— Больные при смерти, въ халатахъ и туфляхъ, торчатъ у окошекъ.—Вотъ показалась бѣлая папаха.

— Ребята! не на утекъ ли намъ? говоритъ Михайло. Бѣды-бы не было!

— То-то! Агафья-то два года въ острогѣ просидѣла за-то, что кликушей притворялась... Намъ...

— То-то, братцы!

И Михайло выскочилъ въ окошко. За нимъ и всѣ больные при смерти пустились на утекъ.

— Меня-то развяжите! кричалъ несчастный Степанъ.— Я чѣмъ виноватъ!.. ребята! — разбойники! гужеѣды! кандальники!.. развяжите!

На крикъ его прибѣжалъ фельдшеръ, и ужаснулся кромѣ Степана, въ больницѣ не было ни одн ого больнаго а ревизоры уже входили.

— Не я! Вотъ-те Христосъ, не я! встрѣтилъ онъ ихъ. Это все — староста, да фельдшеръ!

— Что такое?

— Полведра пообѣщали: лягьте, говоритъ, ребята, да стоните, какъ передъ смертью, а меня веревками свя-

зали: ты, говоритъ, бѣшенымъ притворись: пой по-пѣтушьи, лай по-сабачьи...

— Ну, и что-же?

— Да вотъ, связанъ, лежу... Полведра... кукурикалъ ужъ по-пѣтушиному.

— Г. фельдшеръ, что это значитъ?

— Не въ своемъ разумѣ...

— Ахъ, ты, болѣзный пластырь! — Я не въ своемъ умѣ! прикажите меня развязать, господа левизоры!.. Я умный...

— Развязать!.. Гдѣ-же остальные, тяжелые больные?

— Померли-съ, смущенно отвѣчаетъ фельдшеръ.

— Нѣтъ, вонъ они по лугу улепетываютъ, вонъ бѣгутъ! указалъ Степанъ Иванычъ на халаты, двигавшіеся по лугу.

— Старшина, что это значитъ?

— Не могу знать. Писарь въ городъ уѣхамши.

— Это, братецъ мой, значитъ, что пристяжная скачетъ, а коренная не везетъ, говоритъ Степанъ Иванычъ, беря подъ руку племянника. — Пойдемъ-ко лучше закусимъ послѣ трудовъ праведныхъ...

— Всего удивительнѣе то, что такіе трезвые мужики.. Не понимаю!.. Вѣдь у нихъ строжайшее общество трезвости! говорилъ Петръ Петровичъ. — Удивительно!

Онъ былъ крайне смущенъ. Онъ считалъ себя уничто-

женнымъ, подавленнымъ, убитымъ. Ему нужно было въ чемъ-то оправдаться и, какъ будто даже попросить прощенія.

Сидятъ они въ комнатѣ на постояломъ дворѣ, ждутъ завтрака. Изъ сѣней слышно ужасное рычаніе—львиное рычаніе.

— Какой-то пьяница храпитъ, говоритъ Степанъ Ивановичъ.

— Что вы, помилуйте!—У нихъ общество трезвости.

Баба вноситъ яичницу.

— Кто это тамъ, милая, храпитъ?

— Мой.

— Кто?

— Мужъ мой, Терентей.

— Пьяный?

— Замертво пьяный... О, Господи! Какъ это общество трезвое завели они, ни одного дня его дома нѣтъ: все въ кабакѣ...

— Какъ-такъ?

— Такъ. Кабатчики да купцы выдумали эти общества теперь, чтобы въ край-конецъ споить мужиченковъ... Всѣ вѣдь, голотырники, пропились, все Богородское у насъ пропилось!

— Какже такъ?—Это удивительно...

— Точно удивительно! Назначили штрафу съ того, кто выпьетъ осьмушку—четверть, а за косушку—полведра Законъ!.. Да тутъ-же всѣ и напились, такъ и домой никто не пришелъ: всѣ на лугу спать повалились...

— И всѣ штрафъ поставили?

— Всѣ. Михайло Троегубовъ первый: «Мы, говоритъ, отъ пьянства рѣшились: на радостяхъ, я не дозволю не выпить!» Выпилъ стаканъ. Ну, всѣ заорали: ставь четвертную! Поставилъ. Мой дуракъ изъ нея тоже хватилъ стаканъ: ставь четвертную!.. И вотъ, это общество идетъ до сихъ поръ! И ни одного мужика трезваго въ селѣ не стало, по этому обществу. Мой пропилъ семь свиней ужъ, лошадь пропилъ; теперь до коровъ добирается... Сегодня утромъ пѣтуха унесъ мохноногаго — пропилъ! почти со слезами добавила женщина.

— Зачѣмъ-же они основали это общество?

— Видите, говорятъ, посреднику за общество орденъ даютъ. Ну, онъ пріѣхалъ... Наши было противъ общества: не хотимъ. Антона Шерстобита выдрали розгами, *моего* чуть не выдрали... велѣли основать общество... Очень этого питейные торговцы желаютъ: пьянство началось такое, что передъ кончиной... Господи! Прежде, бывало благодать: пріѣдетъ становой, сорветъ по пятаку съ избы и уѣдетъ. Исправнику—гривенникъ... А нынѣ и не знаешь кому что дать: становые и исправники оста-

лись, а новыхъ развелось видимо-не-видимо... Извѣстно, ослобонили... Но...

— Слышишь? насмѣшливо спросилъ Степанъ Ивановичъ своего племянника. Что это значитъ?

— Я не думалъ объ этомъ, рѣзко отвѣтилъ раздосадованный Петръ Петровичъ.

— А деньги получаешь за то, чтобы думать!.. Вѣдь мужики не могутъ думать: вѣдь ты нанятъ думать и выдумывать для нихъ богадѣльни, школы, и больницы и тратить ихъ гроши на эти, можетъ быть, покуда совершенно ненужныя для нихъ вещи! Какъ-же ты не думалъ?!

— Ахъ! ради самого Создателя, дайте мнѣ успокоиться... Да нѣтъ впрочемъ! — я не могу быть здѣсь!.. Ѣдемте поскорѣе!

— Да куда-же — домой! — Доѣдемъ ужъ до Стремоухова: тутъ всего пятнадцать верстъ...

— И отлично. Осмотримъ земскую дорогу... Изъ катаннаго щебня сдѣлана: все ровно что желѣзная! толковалъ смущенный Петръ Петровичъ, чтобы какъ нибудь оправиться: по тысячѣ верста намъ стоила, три моста по три тысячи каждый...

— Любопытно.

Ѣдутъ.

— Стой, ямщикъ! куда ты воротишь?

— Дорога началась, надо въ проселокъ...

— Поѣзжай по дорогѣ...

— Да тутъ земство было!—Тутъ шагомъ не проѣдешь, потомъ — мостъ; — тамъ до броду версты три круга будетъ...

— Поѣзжай! тебѣ говорятъ!

— Да какъ-же можно по земской дорогѣ ѣхать?!

— Я самъ членъ земской управы. Я тебѣ приказываю.

Начинается ужасная тряска: колеса скачутъ съ камня на камень. Оба путешественника тыкаются головами въ спину ямщика.

— Ну, братъ!.. желѣзная дорога... Я ужъ лучше вылезу, да пѣшкомъ пойду, говоритъ Степанъ Ивановичъ.

— Дозвольте и мнѣ, проситъ кучеръ.

Тряска невыносимая, но Петръ Петровичъ терпитъ: онъ самъ принималъ отъ строителя эту дорогу, онъ не взялъ взятки, а принималъ ее, годъ назадъ самымъ строгимъ образомъ: она была гладка, какъ скатерть...

— Стой! куда ты воротишь? кричитъ Петръ Петровичъ ямщику.

— Къ броду.

— А на мостъ...

— Мостъ земскій... провалитесь...

— Вези на мостъ.

— Не могу. Кони погибнутъ.

— Вези, плачу за все!.. Мостъ не можетъ провалиться Мостъ строилъ архитекторъ Уртъ... Вези...

— Нѣтъ ужъ, Господь съ вами... Мнѣ жизнь не надоѣла. Коли угодно, сами поѣзжайте...

— Значитъ ты боишься?

— Боюсь. Потому этотъ мостъ земскій...

— А вы? спрашиваетъ дядю Петръ Петровичъ.

— Тоже побаиваюсь. Ты поѣзжай, а мы пѣшечкомъ пройдемъ...

Петръ Петровичъ стягнулъ по лошадямъ... Тарарарарарухъ, бухъ!.. И кони, и всадникъ, и тарантасъ — въ водѣ. Вытаскиваетъ изъ воды Петра Петровича Степанъ Ивановичъ.

— Что, говоритъ онъ, провалился на своей земской дорогѣ?

— Не знаю... мостъ этотъ прекрасенъ... крѣпокъ, говоритъ, отряхиваясь Петръ Петровичъ.

НАСТОЯЩІЙ ПРОЛЕТАРІЙ.

Всякій человѣкъ радъ лѣту, всякое животное радуется ему, но едва-ли кто нибудь такъ радуется наступленію теплыхъ дней, какъ петербургскій пролетарій.

Запоздавъ гдѣ нибудь и возвращаясь домой раннимъ чуть пробуждающимся утромъ вы, вѣроятно, видѣли его.— Странный видъ представляетъ въ это время спящій городъ. Улицы, нѣсколько часовъ назадъ шумныя и наполненныя пестрой толпой, тихи, пустынны и какъ будто печальны. По сторонамъ ихъ дремлютъ огромные каменные дома, и если гдѣ скрипнетъ калитка или задребежжатъ извощичьи дрожки или закаркаютъ вороны передъ дождемъ, дома эти какъ будто протестуютъ своимъ гробовымъ молчаніемъ противъ нарушителей тишины; они какъ будто говорятъ: еще рано вставать, рано, рано! — Холодокъ, свѣжесть и нѣкоторая сырость въ воздухѣ.— Торжественно-тоскливую и холодную тишину пустой церкви не нарушаетъ даже щебетаніе птицъ.

Беззвучно, какъ воръ, какъ тѣнь, крадется пролетарій

по панели, вдоль стѣнъ домовъ; локоть его часто касается водосточныхъ трубъ и рѣшетокъ. Голова его опущена, поступь разсѣянно-невѣрная, ноги какъ будто заплетаются. На немъ немного надѣто, но онъ точно сгибается подъ тяжестью своего костюма, какъ согнулись-бы вы, одѣвъ панцырь Ричарда-Львиное Сердце. И правда—тяжелъ этотъ легкій костюмъ!—Весь онъ состоитъ, буквально, изъ четырехъ вещей: изъ старой клеенчатой шапчонки съ разорваннымъ пополамъ козырькомъ, изъ лѣтняго замасленнаго коломенковаго пиджака безъ пуговицъ, которыя замѣнены двумя веревочками и тремя кусочками проволоки изъ женской шпильки; далѣе брюки, порванные на колѣнѣ (видно голое тѣло въ прорѣху), и пара опорокъ на ногахъ: вотъ и все.—Не подумайте, что я забылъ упомянуть про рубашку: ея нѣтъ, — все надѣто на голое тѣло.

Что это за человѣкъ?—Кто онъ такой?

Это—отставной капитанъ Геннадій Ильичъ Осокинъ.

— Не можетъ быть, чтобы это былъ тотъ молодой блестящій офицеръ, который такъ прекрасно танцовалъ мазурку?

Все можетъ быть, читатель!—Въ столицѣ заминаются люди и поважнѣе и поблестящѣе Осокина. — Въ нашей губерніи былъ помѣщикъ Кондыревъ, у него было девятьсотъ душъ; онъ держалъ домашній театръ и оркестръ

изъ дворовыхъ, держалъ охоту съ тремя стами псовъ: жилъ шумно и роскошно: сотни народу жрали и пили до отвалу на его счетъ. Но это было давно. А недавно...

Недавно, возвращаясь пѣшкомъ съ какого-то гулянья вмѣстѣ съ однимъ здѣшнимъ артистомъ оперной труппы, моимъ землякомъ, въ сѣрое холодное утро, часа въ три, мы встрѣтили на одной изъ пустынныхъ и торжественно тихихъ петербургскихъ улицъ, оборваннаго сѣдаго старика, который весь дрожалъ и еле передвигалъ ноги. — Онъ насъ остановилъ.

— Господа, стуча зубами, пробормоталъ онъ, одолжите мнѣ пять копѣекъ... я возвращу... ради Бога...

— Матвѣй Матвѣевичъ! баринъ! съ ужасомъ вскричалъ мой товарищъ.

Старикъ вздрогнулъ, посмотрѣлъ на него, пристально посмотрѣлъ, какъ будто пріосанился, какъ будто выросъ, даже руки у него дрожать перестали.

— Ты-ы, Семенъ? иронически качая головой, спросилъ онъ.

И—удивительное дѣло!—когда я посмотрѣлъ на своего товарища, я увидалъ передъ собой лакея. Блѣдный, испуганный, онъ стоялъ передъ бариномъ, губы шевелились, а словъ не выходило...

— Я пошутилъ; ха ха ха! проговорилъ наконецъ Кондыревъ и пошелъ отъ насъ.

— Матвѣй Матвѣичъ! баринъ!

Мой пріятель догналъ его и сунулъ ему въ руку какую-то бумажку. Тотъ посмотрѣлъ на нее и закачалъ головой.

— Чтожъ это, братецъ?

— Возьмите... не обижайтесь...

— Спасибо...

Не поклонившись, не сдѣлавъ даже движенія протянуть руку, баринъ гордо пошелъ впередъ, шлепая своими опорками по панели.

Онъ просто преобразился. И я, и мой пріятель чувствовали, что шелъ прежній помѣщикъ Кондыревъ, будто за нимъ ѣдетъ коляска, и вотъ-вотъ онъ крикнетъ: «подавай»; сядетъ въ коляску и начнетъ ласкать своего рыжаго сетера. — Это былъ какъ будто сонъ... Сонъ, вѣроятно, былъ и у Матвѣя Матвѣевича, и онъ чувствовалъ на своихъ ногахъ лакированные штиблеты, а не опорки.

Нѣсколько времени, мы шли молча; наконецъ, мой товарищъ заговорилъ сначала не связно, а потомъ горячо и съ увлеченіемъ. Онъ разсказалъ мнѣ подробно, какъ жилъ прежде Кондыревъ и какъ онъ въ его, Кондырева, домашнемъ театрѣ, въ качествѣ двороваго мальчишки, началъ свое артистическое поприще. Потомъ пріятель мой что-то задумался и прибавилъ:

— Дорого-бы я далъ, чтобы не было этой встрѣчи... и совѣстно, и скверно... Какъ-то не могу примириться съ мыслью, что онъ мнѣ не баринъ: не холопство, не подлость-ли это?!—Нѣтъ!—я что-то чувствую, что еслибъ встрѣтилъ его дѣйствительно бариномъ въ вѣнской колясочкѣ, да онъ-бы тогда назвалъ меня также Семеномъ, я-бы обидѣлся... А теперь... Вы не замѣчаете — тутъ есть что-то поэтическое, драматическое: ударъ рока, сила судьбы...

И храмъ разрушенный—все храмъ,
Кумиръ низверженный—все богъ,

продекламировалъ мой пріятель и развеселился.—А вѣдь этотъ сюжетецъ годится для драмы, въ родѣ, напримѣръ, «Жизни игрока», сказалъ онъ мнѣ...

Я думаю, что этотъ сюжетецъ годится для драмы и получше «Жизни игрока».—Правда наказываетъ человѣка даже и тогда, когда онъ дѣлаетъ свои ошибки, подъ вліяніемъ общаго теченія вещей. — Вотъ онъ — хоть-бы этотъ Кондыревъ, въ батистѣ съ пеленокъ, онъ, не смѣвшій лечь на ненагрѣтую постель, въ то время, какъ его дворня спала въ повалку на голой землѣ, въ сараѣ, вмѣстѣ съ собаками—радъ-бы теперь развалиться на голыхъ каменьяхъ и заснуть, да — нѣтъ; не смѣетъ даже сдѣлать и этого: дворники и городовые бдительны. — Ужасное наказаніе!—Его дворовый человѣкъ привыкалъ

съ дѣтства питаться собачьей овсянкой и спать, не раздѣваясь, на голомъ полу, а онъ... онъ, задававшій тысячные обѣды, проходивъ два дня голодомъ, тихонько укралъ въ лавкѣ луковицу и алчно съѣлъ ее безъ хлѣба, безъ соли... онъ, не умѣвшій надѣть носка на ногу, самъ увязываетъ веревочками свои опорки... онъ, бросавшій деньги сотнями рублей, теперь за три копѣйки перетаскиваетъ и укладываетъ сажень дровъ... Кто его знаетъ, можетъ быть, и думается ему, что такъ-то вотъ мучились въ свое время его крѣпостные. — Говорятъ, даже волку отливаются овечьи слезы.

— Какже это случается, спроситъ читатель — а въ особенности провинціальный читатель — что люди болѣе или менѣе образованные попадаютъ въ положеніе, которое хуже положенія всякаго нищаго?

Случается это очень просто. — Танцуетъ у васъ въ провинціальномъ клубѣ блестящій капитанъ Осокинъ кадриль и выкидываетъ весьма неприличное канканное па̀. Главный его начальникъ, генералъ строгихъ правилъ, замѣчаетъ это.

— Эй, вы! Послушайте, эй, вы! Господинъ штабсъ-капитанъ, какъ васъ зовутъ? кричитъ онъ, махая рукой.

— Геннадій Ильичъ, игриво отвѣчаетъ Осокинъ.

Нельзя-же сконфузить себя при дамахъ: вѣдь онъ не во фронтѣ.

— Геннадій... Геннадій... какъ по батюшкѣ?

— Очень благодаренъ, ваше с—тво!

— Что-о?

— Благодаренъ, что меня хотите возвеличать по батюшкѣ, другихъ вы величаете все больше по матушкѣ...

Хохочутъ надъ остротой, а черезъ два мѣсяца Геннадій Ильичъ получаетъ отставку и ѣдетъ въ Петербургъ поправлять свои обстоятельства. Въ Петербургъ всѣ ѣдутъ поправлять свои обстоятельства, потому, какъ всѣмъ извѣстно, Нева у насъ течетъ молокомъ, а берега у ней кисельные, дождь у насъ капаетъ пяти-алтынными, снѣгъ двугривенными, а градъ — рублями серебра: по улицамъ такъ кучи и навалены: пріѣзжай только, да бери сколько надо.

Пріѣзжаетъ.—Сначала онъ живетъ въ номерѣ въ гостинницѣ, а ѣсть рублевые обѣды. — Но вотъ онъ пересчитываетъ свои наличныя. — Мало остается. — Переѣзжаетъ въ десятирублевую комнату, обѣдаетъ въ греческой кухмистерской за двадцать копѣекъ... Мѣсяцъ, два онъ живетъ еще бариномъ, прислуга съ нимъ вѣжлива и, когда онъ поздно возвращается домой, дворникъ безъ брани отворяетъ ему ворота. Но настаетъ день; сидитъ онъ вертитъ въ рукахъ «Полицейскія Вѣдомости». «Ссуда денегъ подъ залогъ серебра, золота, музыкальныхъ инструментовъ, носимаго платья и проч.» — размышляетъ

и идетъ. Сначала часы, потомъ—кольцо, потомъ—портсигаръ, а затѣмъ—и носимое платье. — Остается одна пара—кафтанъ и брюки.—Бѣлье: страшно прикоснуться къ бѣлью!—а дѣлать нечего, надо ѣсть.—И вотъ идетъ полторы дюжины рубахъ, шесть простынь, столько-же полотенецъ, двѣ дюжины платковъ, дюжина кальсонъ, десять наволочекъ—все за пять рублей.—Пируетъ онъ нѣкоторое время и опять глотаетъ обильныя слюни. — Остались полторы дюжины носковъ, но заложить ихъ невозможно. Что дѣлать? — Трепетно идетъ онъ на рынокъ, весь красный и смущенный подходитъ къ торговкѣ и говоритъ, что хотѣлъ-бы промѣнять полторы дюжины носковъ на двѣ пары хорошихъ шерстяныхъ чулокъ. Ему показываютъ чулки, но они ему не нравятся.

— Что-же по вашему стоятъ мои носки?

— Рубль.

— Хотите купить? Купите, мнѣ все равно, самымъ натянуто-небрежнымъ тономъ говоритъ онъ.

Торговка понимаетъ въ чемъ дѣло и вручаетъ ему рубль.

Послѣ перваго опыта въ торговлѣ, онъ уже смѣлѣе входитъ въ лавку съ бритвеннымъ ящикомъ подъ мышкой и съ улыбкой говоритъ: «вотъ-съ, не купите ли»?

За бритвеннымъ ящикомъ идетъ письменный приборъ, судокъ, шкатулка, подушка, одѣяло и портфель...

И остается онъ унылый въ своей комнатѣ. Вотъ на него косятся, прислуга даже посмѣивается при встрѣчѣ съ нимъ. Пристаютъ съ требованіемъ за квартиру; не просятъ, какъ бывало прежде, а требуютъ: «выѣзжайте вонъ»!

— Уплачу-съ, уплачу, — вотъ получу мѣсто уплачу, смущенно и нерѣшительно говоритъ онъ, зная хорошо, что скоро мѣста получить нельзя... Ну, да—авось!

Все продано, все заложено. Одинъ чемоданъ. Ѣсть хочется, и онъ пристально осматриваетъ этотъ чемоданъ. Ахъ, еслибъ тридцать копѣекъ — купить-бы польскую булку, полфунта ветчины — какое-бы наслажденіе было съѣсть это, запивая горячимъ чаемъ! Сосиськи горячія съ горчицей... Селянка въ трактирѣ, жидкая, чтобы капуста въ ней только была, прибавить побольше уксусу... Да и чай съ пеклеваннымъ—два пеклеванника теплыхъ— и съ чухонскимъ масломъ... сыръ...

И текутъ слюни...

Человѣкъ—животное, когда онъ голоденъ: ему чуждо все человѣческое. Тѣло — непобѣдимый врагъ души, въ особенности для барина плотоугодника... И вотъ, нахально соврав хозяйкѣ, что онъ ѣдетъ по дѣламъ службы въ Царское Село, онъ беретъ свой чемоданъ и уходитъ. Уходитъ съ этимъ чемоданомъ на рынокъ и продаетъ его тамъ за полтора рубля... Выпивъ стаканъ водки и

утоливъ свой голодъ, онъ начинаетъ раздумывать: — что ему дѣлать? Онъ еще не потерялъ способности думать о завтрашнемъ днѣ, еще не думаетъ, что авось можно пожать то, чего не посѣялъ...

«Отдается уголъ—кв. № 17», читаетъ онъ на какихъ-то воротахъ, вдоволь нагулявшись послѣ закуски, по всѣмъ петербургскимъ улицамъ.

— Покажите мнѣ уголъ, небрежно говоритъ онъ, входя въ квартиру № 17-й.

Тамъ вонь, дымъ, паръ, около плиты толпится съ дюжину бабъ, стираютъ, гладятъ, варятъ, жарятъ, шумъ, гвалтъ. У окошка верстакъ, на немъ сидятъ двое портныхъ. Одинъ изъ нихъ, хозяинъ, бросаетъ работу, соскакиваетъ съ верстака и показываетъ уголъ.

— Вамъ потеплѣе... темненькій, вотъ за печкой.

— Что стоитъ?

— Два съ полтиной?

— А что-же вы мнѣ туда поставите?

— То есть, какъ?

— Кровать, столъ?

Вопросы эти задаются тономъ самаго онорабельнаго свойства, такъ-что портной смѣется.

— Чтожъ, развѣ у васъ ничего нѣтъ? прищуривъ одинъ глазъ, спрашиваетъ онъ.

— Ничего.

— У-гу-у! Такъ на полу можно помѣститься.

И портной повертывается къ нанимателю спиной.

— Хорошо, вотъ вамъ полтинникъ задатку. Довольно?

— А пачпортъ при васъ?

— При мнѣ.

— А-а! восклицаетъ портной, разсмотрѣвъ паспортъ. Пьянства да дебоша по ночамъ не дѣлать: у насъ смирно.

И вотъ живетъ онъ, пьянства и дебоша по ночамъ не дѣлаетъ, спитъ на голомъ полу, шапка вмѣсто подушки. И самому ему дѣлается смѣшно надъ собой, надъ своимъ ничтожествомъ—онъ просто начинаетъ входить въ роль шута. Съ наивной бравурностью онъ принимаетъ рѣшимость сойдтись на короткую ногу съ окружающимъ его обществомъ, старается для этого говорить ихъ языкомъ и какъ можно чаще употреблять такія выраженія: «яманъ дѣло», «умри пятухъ», «ой, таты-латы» и проч.—Все это актерство, конечно, выходитъ очень натянуто и глупо... Мужчины надъ нимъ хохочутъ и самъ онъ хохочетъ надъ собой.—Бабы жалѣютъ и поятъ его переварками съ хлѣбомъ.—А онъ бравурствуетъ и не замѣчаетъ, что бравурствуетъ въ качествѣ шута гороховаго...

— А что, господинъ, деньги за уголокъ... теперь есть отъ полиціи приказаніе такое, чтобы деньги за квартиры брать впередъ, говоритъ ему хозяинъ.

— Да нѣту. Вотъ получу мѣсто, уплачу, все уплачу.

— Да это что!.. Вотъ вы-бы промѣняли шинель-то, кафтанъ, брюки... Отличный у меня штатскій костюмъ есть—цивильный, легкій. Вотъ. За квартиру будемъ квиты по этотъ мѣсяцъ и рубль сверхъ онаго...

И вотъ, одѣвшись въ цивильное платье, т. е. въ пиджачишко и штаны изъ нанки, онъ пируетъ два дня, кушая сосиски съ капустой и выпивая передъ каждой закуской по косушкѣ водки.

Но время идетъ... И однажды ему, унылому, голодному, добрая старуха-прачка намазываетъ свой послѣдній кусокъ хлѣба чухонскимъ масломъ и говоритъ:

— Шелъ-бы ты, баринъ, въ больницу, отдохнулъ-бы тамъ... Жилъ у насъ тутъ одинъ титулярный совѣтникъ, Александро Павлычемъ звали: четвертый годъ теперь по больницамъ ходитъ, и такъ онъ поправился, что даже растолстѣлъ... Только свинья, надо сказать, прости Господи!—въ карты садится играть, а денегъ ни копѣйки... Проиграетъ—за мной, а выиграетъ — давай... Скотина!..

И долго болтаетъ старуха... Тутъ и Александръ Павлычъ, и Петръ Степанычъ, и Иванъ Кузьмичъ...

Онъ понимаетъ только, ясно понимаетъ, что ему надо идти въ больницу. И долго онъ объ этомъ думаетъ. У него не хватаетъ смѣлости.—Но вотъ однажды онъ возвращается домой довольно поздно вечеромъ: сидѣлъ въ

Публичной библіотекѣ — благо тамъ тепло — и читалъ «Финскій Вѣстникъ». Вообще, онъ проводитъ дни — то шатаясь по эрмитажу и разсматривая картины, то въ сельско-хозяйственномъ музеѣ, то въ музеѣ вольно-экономическаго общества, то въ вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги, то въ церкви—вообще въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ тепло. Приходитъ онъ однажды домой и хозяинъ ему говоритъ:

— А вашъ уголокъ я сдалъ, господинъ капитанъ... тамъ ужъ тряпишничекъ теперь живетъ.

— Что?

— Онъ бутылки-банки...

— А я-то какже?

— Ужь не могу знать...

И идетъ капитанъ въ больницу. Страшно ему, а дѣлать нечего.—И ворочаетъ нужда его языкомъ; нахально лжетъ онъ доктору, что у него застарѣлая боль въ голенныхъ костяхъ, что онъ страдаетъ безсонницей.

— Dolor cruribus nocturna, говоритъ фельдшеръ, ощупавъ икры капитана.

Докторъ тыкаетъ пальцемъ и обявляетъ: «dolor asteacopia».—Счастливъ капитанъ, онъ принятъ. Моютъ его въ ваннѣ, надѣваютъ на него чистое бѣлье и халатъ и ведутъ въ палату... и много тамъ онъ застаетъ капитановъ, такихъ-же какъ онъ самъ. — Здоровые и счастли-

вые, они курятъ въ ватеръ-клозетѣ махорку. Одной папиросы, свернутой изъ газетной бумаги, хватаетъ на шесть человѣкъ...

Сначала робко присматривается капитанъ къ веселому обществу, игнорирующему его, а потомъ освоивается, вступаетъ въ кружокъ капитановъ и уже веселымъ и увѣреннымъ голосомъ начинаетъ говорить: «а дайте-ко мнѣ, Саламаткинъ, затянуться.» Болѣзнь, которой нѣтъ, неизлечима, также какъ крѣпость, которой не существуетъ, непокорима. И лежитъ онъ мѣсяцъ, два, три... какъ волкъ голодный, считаетъ каждый день минуты передъ обѣдомъ, ругается изъ-за умершихъ и опасныхъ порцій (порціи умершихъ и опасно больныхъ, которые не ѣдятъ) со своими товарищами, любезничаетъ съ сидѣлкой, пишетъ мужикамъ письма по пятаку за штуку, куритъ махорку, вспоминаетъ съ пріятелями про подвиги Нижегородскаго драгунскаго полка и мечтаетъ идти пѣшкомъ въ Ташкентъ, чтобы лично представиться генералу Кауфману.

— Вотъ лѣто... лѣто! лѣто! лѣто!

Одинъ за другимъ выходятъ капитаны изъ больницы.— Геннадію Ильичу тоже надоѣло сидѣть въ заперти, но онъ боится выписываться: куда идти?—И сидитъ...

Вотъ выписывается мужикъ, его сосѣдъ — человѣкъ грубый, глуповатый — чернорабочій. Онъ дѣйствительно

былъ боленъ, а не лодарничалъ (мужики еще не научились, слава Богу, лодарничать.

— Куда-же ты теперь, Михайло? спрашиваетъ его капитанъ).

— Нагація открылась.

— Что?

— Корабли грузить, а то выгружать.

— Ну! А много-ли даютъ?

— Какъ случится. Шесть гривенъ, семь, а то и рубь.

Ушелъ Михайло; всѣ ушли... кашляютъ и стонутъ оставшіеся больные, не съ кѣмъ слова сказать... Скука, какъ будто потерялъ что, какъ будто все опустѣло...

Капитанъ теряетъ терпѣніе и рѣшается выписаться.

Вотъ онъ на волѣ... Куда идти?—Куда глаза глядятъ. Ходитъ онъ цѣлый день, ходитъ по задачамъ: двинусь въ Гавань, а ну-ка изъ Гавани двинусь на Охту... И вотъ вспоминаетъ онъ, что устроенъ въ Измайловскомъ полку какой-то благотворительный ночлежный домъ.

О, читатель, если вы будете когда нибудь въ нуждѣ и прочитаете въ газетахъ похвалу какому нибудь благотворительному учрежденію—не вѣрьте: у насъ и бумага и перья терпѣливы. Я на своей кожѣ испыталъ благотворенія разныхъ этихъ ташкентцевъ и ташкентокъ филантропіи. Вотъ чайная, стаканъ чаю стоитъ 3 коп.,

т. е. не чаю, а воды; на стаканѣ написано: «блаженъ мужъ, иже и скоты своя милуетъ». — Каждый дуракъ пойметъ, что за три копѣйки не получая прозвища скота, можно выпить въ любомъ трактирѣ хоть сотню стакановъ такого чая.—Столовая. Ходятъ какія-то барыни, въ ротъ вамъ заглядываютъ, какъ вы ѣдите ихъ помои, которыя во-всякой съѣстной продаются по три копѣйки, а у нихъ по семнадцати, да еще на стѣнахъ написано: «Христа ради! рука дающаго не оскудѣетъ». Охъ, не вѣрьте, читатель этимъ фарисеямъ: за ваши деньги они смѣются надъ вами, выставляютъ себя какими-то филантропами, тогда какъ всякій барышникъ продаетъ свой товаръ дешевле ихняго.

Вотъ она—эта спальня... Пять копѣекъ за ночлегъ. Слыханная-ли это цѣна! — Охъ, господа благодѣтели, надо-бы вамъ поучиться гуманности хоть у содержателей кабаковъ съ постоялыми дворами. Они берутъ три копѣйки за ночлегъ! — А вы... вы должны-бы были посовѣститься брать и одну копѣйку; достаточно полкопѣйки.— Я съ кѣмъ угодно готовъ держать пари, что устрою ночлежный домъ съ чисто-спекулятивной цѣлью, буду брать всего по копѣйкѣ за ночлегъ и останусь въ барышахъ. И на стѣнахъ у меня не будетъ написано: «Накормите голоднаго и пріютите страннаго», «гнилое слово говорить — бѣсу служить», «примите Бога для» и проч.

Не ходите къ нимъ, читатель: они возьмутъ съ васъ двойную плату и насмѣются надъ вами.

Надъ Геннадіемъ Ильичемъ, по порядку вещей, конечно тоже насмѣялись, а когда онъ сказалъ, что у него нѣтъ пяти копѣекъ, что онъ только-что вышелъ изъ больницы, его сначала хотѣли было отправить въ участокъ, а потомъ просто на просто вытолкали въ шею.

Усталый, измученный, прошатавшись всю ночь по улицамъ, въ пять часовъ утра, онъ стоитъ въ толпѣ разнокалибернаго народа, грязнаго и оборваннаго у церкви св. великомученицы Екатерины, на Васильевскомъ острову. Странно толкаться въ этой толпѣ и слышать какъ одинъ оборванецъ говоритъ другому:

— Здравствуйте, маіоръ!

— А!—Это вы, поручикъ! Здравствуйте!

— Вы, ротмистръ, тоже на работу?

— Да. Оооо! Вонъ шквидоръ идетъ!

Въ синей сибиркѣ, ворочая брюхомъ на право и на лѣво, подходитъ шквидоръ. Онъ русскій мужикъ, но не можетъ говорить по русски: онъ и съ женой свое говоритъ на четырехъ языкахъ—на русскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ.

— Монеи! доне муая, сука! ферштейнъ?—Монеи—сорокъ копѣекъ!..

Капитаны иностранныхъ кораблей немного понимаютъ ихъ языкъ.—Утромъ шквидоръ дерзокъ; онъ нанимаетъ народъ для выгрузки и нагрузки кораблей; у него палецъ жирный, толстый, онъ тыкаетъ имъ прямо въ грудь и баситъ: «Ну, ты! Ну, ты! ты! ты! ты! ты! ты! жидокъ! жидокъ! безпалой! ты! ты! Пузатой! ты! ты! Пьянъ! ты! ты»! и такъ далѣе. Онъ выбираетъ народъ. Жидкіе, пузатые и пьяные остаются, какъ остался въ числѣ жидкихъ и Геннадій Ильичъ, надѣявшійся найдти здѣсь Михайлу. — Вечеромъ шквидоръ любезенъ; онъ раздаетъ поденку, и его тутъ угощаютъ... онъ тутъ готовъ цаловать всякаго поденщика.

— Другой наборъ будетъ! стойте, маіоръ! говоритъ поручикъ, забракованный шквидоромъ: «пьянъ».

— Послушайте, корнетъ, говорятъ я жидокъ... ха-ха-ха!

И стоятъ и толкаются.

А вотъ и Михайло.

— Што, братъ Аннадій? вдругъ спрашиваетъ онъ. Былъ шквидоръ?

— Былъ ужъ... меня не взяли...

Печаленъ Геннадій Ильичъ.

— Еще наборъ будетъ. — Опоздалъ я.

Стоятъ и ждутъ набора. — Вотъ онъ идетъ... Сухой

ужъ, а не пузатый, вертитъ направо и налѣво не брюхомъ, а только одними плечами; борода рыжая, взглядъ пьяный, изподлобья, подозрительный.

— Весь посадъ! презрительно говоритъ онъ. Всѣ въ рядъ!

Шквидору нужно было восемь человѣкъ. Прежде всего онъ выбралъ конечно Михайлу, а затѣмъ уже приступалъ къ посадскимъ. Посадскими называются случайные рабочіе на биржѣ, именно петербургскіе пролетаріи; они непривычны къ работѣ, неловки и безсильны ихъ всѣ презираютъ, а товарищи по работѣ такъ просто ненавидятъ, потому-что, при одинаковомъ вознагражденіи, количество труда совершенно неровно: хорошій рабочій исполняетъ иногда и свою работу и половину работы безсильнаго и неумѣлаго посадскаго: работа общая.— Нужно, напр.; катить бочку хоть съ карпіусомъ; катятъ, а посадскій, какой-нибудь капитанъ тамъ или маіоръ идетъ за ней и чуть притрогивается пальцами: потому чуть смола прилипнетъ дѣлается зудъ и боль подъ ногтями.—Если мужикъ-человѣкъ или покрайней мѣрѣ животное, то и ему, конечно, больно, но за шесть гривенъ онъ не боится болѣзней... Мужикъ при этой общей работѣ, само сабой разумѣется, ругаетъ посадскаго на чемъ свѣтъ стоитъ, а все-таки катаетъ за него бочки и все-таки получаетъ съ нимъ одинаковую поденную плату.

Геннадія Ильича даже между посадскими нашли очень жидкимъ и не взяли на работу.

— Теперь — лѣто, поспи въ паркѣ, утѣшалъ его Михайла.

Но нѣтъ!—въ паркѣ спятъ только мазурики... ходитъ, ходитъ, ходитъ, ходитъ онъ по городу... голодно!

А! вотъ благотворительная апраксинская кухмистерская.

Въ полномъ убѣжденіи, что тутъ все въ самомъ дѣлѣ благодѣтельское, онъ заходитъ туда... Шумъ какой-то, говоръ, апраксинцы, купцы изъ гостинаго двора, изъ маріинской линіи, изъ александровскаго рынка—сидятъ въ полпьяна за столами и ѣдятъ хлѣбъ съ какими-то помоями. Помои эти имъ ненужны, а каждому изъ нихъ хочется сожрать три фунта хлѣба за шесть копѣекъ; напрягаются изъ всѣхъ силъ.

— Я ничего не ѣлъ два дня, почти дерзко говоритъ Геннадій Ильичъ дамѣ, стоящей у конторки.

— Шесть копѣекъ.

— Нѣту-съ.

— Тогда нельзя...

— Что-же я долженъ умеретъ съ голоду?!

— Теперь лѣто... помилуйте!

— Трава ростетъ, да вѣдь не могу же я травой питаться! Лѣто! лѣто!.. Эхъ вы!

— Вы пожалуйста не говорите дерзостей!

— Лѣто! лѣто!

— А вотъ я за городовымъ пошлю.

— Что такое? спросила какая-то другая франтиха.

— Обѣдъ проситъ даромъ!

— Клянусь... два дня не ѣлъ!

— Я заплачу за васъ шесть копѣекъ...

По щекамъ франтихи текли слезы...

— Je vous remercie т. е. je suis charmé de vous rencontrer et je vous avoue, l'humanité...

Безсвязно пробормоталъ онъ эту фразу и убѣжалъ вонъ. Онъ узналъ ее: эта благодѣтельница была когда-то его невѣстой... О, какъ худо вспоминать про хорошую утраченную жизнь! Не даромъ люди больше любятъ разсказывать про свои бѣдствія, чѣмъ про свое счастье!

НАШИ ДѢТИ.

Въ то время, когда я обмакиваю перо въ чернильницу, въ открытое окно дышетъ прохладой свѣжая іюньская ночь; деревья изъ зеленыхъ превратились въ черныя и, не шумя листовой, тихонько, чуть замѣтно шатаются, точно не отъ вѣтра, а такъ, сами собой; въ темнотѣ едва можно различить желтыя дорожки сада; по крышѣ стучитъ бойкій, маленькій дождикъ... Хорошо сидѣть въ такое время въ уютной комнатѣ, когда горитъ передъ тобой лампа съ абажуромъ, около котораго вьются разныя мухи и мошки, и—работать, не смущаясь тѣмъ, что градъ или дождь на улицѣ. Чувствуешь самодовольство побѣдителя надъ природой; какъ она не злись, а ничего со мной не подѣлаетъ: лей проливной дождь, сыпся со стукомъ полудюймовый градъ, греми громъ и сверкай молнія, я не забуду поставить запятой ни передъ однимъ вводнымъ предложеніемъ.

Гордое сознаніе себя побѣдителемъ природы, радостное чувство своего торжества надъ ней, можетъ быть, и

законно, а ужъ во всякомъ случаѣ не безъосновательно; но рядомъ съ этимъ чувствомъ въ насъ часто шевелятся подловато-горделивыя мысли о своемъ личномъ торжествѣ надъ своими братьями: «проливной дождь, я сижу въ теплой непромокаемой комнатѣ и пью чай съ коньякомъ, а сколько людей не имѣютъ ни пищи, ни крова: а я, я самъ себѣ съумѣлъ устроить все это!»—Клянусь, у меня нѣтъ и тѣни такихъ мыслей теперь, когда я слушаю барабанъ дождика и смотрю въ окно на задумчивую темноту засыпающихъ деревьевъ, когда передо мной проносятся тѣни безпріютныхъ, блѣднолицыхъ, оборванныхъ, голодныхъ страдальцевъ, безпокойно размышляющимъ при наступленіи сумерекъ, въ какой канавѣ имъ можно будетъ провести ночь.— Нѣтъ! Я не радуюсь тому, что богаче ихъ. Мнѣ даже какъ будто чего-то совѣстно, какъ будто я чувствую себя въ чемъ-то виноватымъ, какъ будто мой шелковый халатъ, мои бѣлые чахлы на мебели, мой бронзовый Донъ-Кихотъ поддерживающій лампу, мой орѣховый письменный столъ, моя малахитовая чернильница, являются въ качествѣ прокуроровъ и обличителей самыхъ жестокихъ и краснорѣчивыхъ, а часы будто-бы безцеремонно чикаютъ: «виновенъ! виновенъ! виновенъ!»—Мой адвокатъ — практическій разумъ лепечетъ только какія-то глупыя извиненія, не касающіяся существа дѣла, и строгіе присяжные, засѣдающіе въ моей совѣсти, перестаютъ колебаться въ моемъ обвиненіи...

Полночь. По прежнему позвякиваетъ дождикъ, точно кто бросаетъ мелкую крупу по крышѣ, деревья еще стали чернѣй; дорожекъ совсѣмъ невидно.—Какъ вы проводите эту ночь, безпріютные бѣдняки—гдѣ вы, спите-ли вы?—Спите-ли вы въ холодныхъ, но покойныхъ могилахъ, подобно лейтенанту Курцу, устроившему подвижной ночлежный домъ на большой рыбацкой лодкѣ, которую онъ не называлъ иначе, какъ «мой безпушечный корабль, *Незѣвай*»; спите-ли вы въ тепломъ, тюремномъ углу, подобно купеческому сыну Матюшину, спавшему прежде въ клоакѣ подъ дамбой Тучкова моста; спите-ли вы на позорномъ ложѣ, подобно дѣвушкѣ Ѳенѣ, ночевавшей прежде за бойнями, вмѣстѣ со своимъ маленькимъ братомъ и полусотней огромныхъ бездомныхъ собакъ, которыя грѣли бездомныхъ ребятъ своими мохнатыми тѣлами, спите-ли вы на соломенномъ тюфякѣ въ съумасшедшемъ домѣ, подобно юнкеру Кузьмину, и обдумываете, въ просонкахъ: какія вамъ слѣдуетъ завтра дѣлать глупости, чтобы васъ не прогнали изъ теплаго помѣщенія и не заставили опять ночевать въ ямѣ у кирпичныхъ заводовъ, изъ которой выбрана глина—или песокъ, или земля—Господь знаетъ! Но гдѣ-бы вы ни спали, несчастные, я не радуюсь тому, что сплю при лучшихъ обстоятельствахъ, чѣмъ вы, и вспоминаю о васъ не для того, чтобы дразнить свое самолюбіе мыслью, что я умнѣе

васъ устроился въ жизни. — Намѣреваясь описать здѣсь видѣнные мною довольно оригинальные петербургскіе ночлеги уличной голытьбы, я, прежде всего, посовѣтую моему читателю, если онъ читаетъ мой разсказъ, лежа на пружинномъ тюфякѣ, не потягиваться радостно, въ сознаніи своего блаженства, при видѣ картины несчастій своихъ братьевъ. — Кто знаетъ, что будетъ съ нами, — всегда-ли при насъ останутся наши пружинные тюфяки?— Кромѣ того, я хочу завѣрить васъ честнымъ словомъ, что не буду разсказывать сказокъ à la Эжень-Сю или Всеволодъ Крестовскій. Я опишу только-то, что видѣлъ собственными глазами.—Очень можетъ быть, что читатель, чистый петербуржецъ, спроситъ меня: „какая надобность бѣднякамъ ночевать подъ кустами и стогами сѣна, во ржи, въ канавахъ, на постройкахъ и проч., когда въ Петербургѣ есть возможность ночевать въ тысячѣ мѣстъ, на постояломъ дворѣ, въ ночлежномъ домѣ и наконецъ въ части.—На постояломъ дворѣ и ночлежномъ домѣ, правда, требуютъ деньги, а въ часть пускаютъ безплатно, но... требуютъ паспортъ. У другаго онъ имѣется, да нельзя его показать; посмотрятъ: лейтенантъ Курцъ розыскивается за растрату чужаго плэда — и прощай свобода!—О постоялыхъ дворахъ и говорить нечего: пятаки случаются у бѣдняковъ по разу въ недѣлю, въ особенности зимой, когда нѣтъ никакой работы. — И

вотъ они разселяются кой-какъ по разнымъ норамъ, какъ какіе-нибудь Робинзоны: нужда понукаетъ ихъ на выдумки, и эти выдумки, надо сказать, часто бываютъ не лишены остроумія.

Вѣроятно, до сихъ поръ жители Петербургской стороны, а въ особенности торговцы Сытнаго рынка помнятъ умершаго лѣтъ десять назадъ отставнаго губернскаго секретаря Васильева, прозваннаго «кустомъ».—Онъ служилъ когда-то по полиціи, и не смотря на то, что давно потерялъ возможность кому-нибудь вредить—къ несчастному никто не хотѣлъ питать никакого сожалѣнія. Его, правда, ради потѣхи поили водкой, но никто никогда не подумалъ кинуть ему хоть какіе нибудь негодные стоптанные галоши, чтобы онъ не ходилъ босикомъ, кинуть какую-нибудь тряпицу, чтобы онъ могъ прикрыть свою наготу. Каждое утро онъ обвивалъ въ Александровскомъ паркѣ свое голое тѣло травой и зелеными вѣтками и двигался въ рынокъ, какъ кустъ, потѣшать торговцевъ: ему мазали лицо масляной краской, заставляли за осьмушку водки лаять до двухсотъ разъ по собачьи, нанимали за ту-же цѣну пройтись по ряду съ желѣзнымъ ведромъ, надѣтымъ на голову, били по ведру кулаками, такъ-что края ведра врѣзывались въ плечи:—«угадай, кто ударилъ — двѣ копѣйки серебра!»

У этого несчастнаго было двое дѣтей: сынъ Миша,

десяти лѣтъ, и дочь Ѳеня, лѣтъ семи.—Ихъ всѣ, также какъ и отца, презирали и ненавидѣли, какъ гадинъ. — Змѣю даже съ выбитыми зубами полюбить трудно; такъ никто не могъ полюбить и Васильева.—Только изрѣдка однѣ женщины-торговки давали рабятишкамъ кой-что совершенно негодное изъ платья, такъ-что они могли прикрывать свою наготу не растеніями, а какими-бы то ни было все-таки мануфактурными издѣліями, въ родѣ марли, содранной съ мебели, рваной рубашенки, суконной кофточки и проч. Дѣти ходили иногда за отцемъ, а чаще на сторонѣ просили милостыню. Отецъ всегда отбиралъ у нихъ деньги, если они не успѣвали ихъ спрятать, и истрачивалъ ихъ на водку.—Я зналъ этихъ дѣтей, когда жилъ около Сытнаго рынка, ласкалъ ихъ и иногда покупалъ имъ фунтъ ситника, или трехкопѣечный лавочный пирогъ съ печенкой и щекой.

Отецъ умеръ, замерзъ гдѣ-то пьяненькій, спрятавшись для ночлега подъ разломанный тротуаръ.

Черезъ три года мнѣ пришлось встрѣтиться съ его дѣтьми, Мишей и Ѳеней — и встрѣтиться, сравнительно, при моихъ блестящихъ обстоятельствахъ. — Дѣло было зимой; мой пріятель Фотій Кравцевъ получилъ отъ родителей пятьдесятъ рублей, и мы съ нимъ шли по набережной Фонтанки истинными козырными королями. — Бѣдный Фотій протрудился здѣсь семь лѣтъ, чтобы сдѣ-

латься лекаремъ и быть убитымъ хивинцами при какой-то ничтожной стычкѣ, о которой даже не было напечатано въ газетахъ. Я не сомнѣваюсь, что онъ самъ былъ виноватъ въ своей смерти: онъ всегда лѣзъ впередъ. — Такъ случилось и тогда, когда мы шли по Фонтанкѣ. У перилъ стояли нищіе — дѣвочка и мальчикъ, какой-то юнкеръ и какой-то молодой человѣкъ въ шляпѣ на бекрень. Оба хохотали.

— Ну, кто лизнетъ, тому — гривенникъ! говорилъ юнкеръ.

— Я лизну, рѣшительно серьезно сказалъ мальчикъ, и приложилъ языкъ къ промезшему желѣзу перилъ. Языкъ, конечно, прилипъ, и несчастный закричалъ отъ ужасной боли. Еще громче его закричалъ мой Фотій, бросившись со своей дубиной на шутниковъ, которые благоразумно пустились на утекъ.

— Что дѣлать съ мальчикомъ?

А мальчикъ стоялъ съ прилипшимъ къ желѣзу языкомъ, плясалъ ногами и плакалъ изъ всей мочи. Дѣвочка тоже плакала; на головѣ ея былъ навязанъ, вмѣсто платка, грязный кусокъ марли; она отирала слезы концами этой тряпки; кофточка съ большой женщины, юбченка съ оборкой, босыя ноженки, которыя она подымала одну за другой: на обѣихъ вмѣстѣ она стоять не могла, стояла попеременно на одной ногѣ. По каримъ большущимъ

коровьимъ глазамъ, я узналъ Ѳеню.—Значитъ, этой Фотій оттираетъ снѣгомъ Мишинъ языкъ.

— Гдѣ вы теперь живете, Ѳеня? спросилъ я.

— Мы съ собачками спимъ.

— Гдѣ-же?

— За бойней. Тамъ много собачекъ. Большіе! И много тамъ нищенькихъ насъ съ ними спятъ: онѣ добрыя собачки! звонкимъ ровнымъ и наивнымъ голосенкомъ отвѣтила мнѣ дѣвочка, застѣнчиво вертя пальцами свою марлю и смѣло глядя на меня своими большими глазами.

— Клянусь всѣми святыми, убилъ-бы, еслибъ догналъ этихъ негодяевъ, проговорилъ Фотій, освободивъ, наконецъ, Мишинъ языкъ отъ плѣна.—На толкучку! — Слушай, мы пропьемъ съ тобой сегодня всего рубль: я ассигновалъ на пропой пять: купимъ на четыре что-нибудь этимъ ребятишкамъ.

И начались у насъ хлопоты съ этими ребятишками. Узнавъ, что они спятъ съ собаками, что собаки даютъ имъ пріютъ въ своемъ обществѣ и согрѣваютъ ихъ, Фотій вышелъ изъ себя.

— Одна собачка бѣлая ляжетъ тамъ ко-мнѣ на плечо, а другая собачка, тоже бѣлая съ черной мордочкой ляжетъ на ноги, а третья ляжетъ на Мишу, а онъ подлѣ меня, а рыженькая есть небольшая — та въ головахъ у

Миши спитъ, звонкимъ застѣнчивымъ и наивнымъ голоскомъ разсказывала дѣвочка.

Фотій бѣсился. Онъ рѣшительнымъ образомъ объявилъ, что онъ не собака, а человѣкъ, и во всякомъ случаѣ больше собаки обязанъ защищать свой видъ — человѣка, иначе — ему стыдно будетъ передъ собаками.—Ребятишки, къ крайнему нашему стѣсненію, ночевали у насъ двѣ ночи. Они объѣдались булками и колбасами, а Ѳенѣ Фотій купилъ даже какую-то куклу за пятачекъ, чтобы она играла. Сами мы шатались съ утра до вечера по разнымъ благотворителямъ.

— Кого-же вы желаете опредѣлить въ нашъ сѣронѣмецко-ярославскій пріютъ? спрашивалъ какой нибудь благотворитель.

— Дѣтей губернскаго секретаря Васильева, гордо отвѣчалъ Фотій!

— У насъ принимаются только дѣти бѣдныхъ родителей... Согласитесь, губернскій секретарь!..

— Онъ умеръ, дѣти безъ пристанища!

— Все-таки... губернскій секретарь!—Извините, ничего для васъ сдѣлать не могу...

— Ско-оты! ворчалъ подъ носъ Фотій, и мы направлялись опять къ какому-нибудь благодѣтелю, въ родѣ господина Лазунова — и опять получили тотъ-же результатъ.

Фотій изъ каждаго подъѣзда выходилъ съ жестокими ругательствами. Въ послѣдній разъ съ жаромъ объяснивъ какому-то купчинѣ, директору дѣтскаго пріюта, что онъ хуже собаки, потому-что собаки давали пріютъ дѣтямъ Васильева, а онъ таковаго дать не хочетъ, отзываясь тѣмъ, что-отецъ ихъ служилъ при полиціи—Фотій, подъ наитіемъ какого-то вдохновенія, назвалъ себя болваномъ, ударилъ по лбу и вскричалъ: «а Гейнса-то мы забыли!»

Гейнсъ былъ медицинскій студентъ, а мать его, мистрисъ Гейнсъ, управляла пріютомъ для малолѣтнихъ бѣдныхъ. Мысль Фотія мнѣ очень понравилась.—Во-первыхъ, мы во что бы то ни стало должны были избавиться отъ ребятъ, которые насъ стѣсняли и кормить которыхъ мы рѣшительно не имѣли средствъ. Во-вторыхъ, пріютъ мистрисъ Гейнсъ былъ основанъ на самыхъ хорошихъ началахъ. Дѣти приходили туда въ восемь часовъ утра—приходилъ всякій, безъ всякихъ формальностей; ребенка раздѣвали до-нага, если онъ былъ грязенъ мыли въ ваннѣ, надѣвали на него казенное бѣлье и платье, давали стаканъ горячаго молока съ ломтемъ хлѣба и вели въ классъ. Ребенокъ оставался въ пріютѣ до 9 часовъ вечера, завтракалъ (хлѣбъ съ масломъ и картофель), обѣдалъ (бульонъ, кусокъ говядины съ хрѣномъ и что нибудь еще: каша, лепешка, блинъ) и получалъ вечеромъ передъ уходомъ домой стаканъ сбитня съ молокомъ и сухаремъ изъ

булочной. Послѣ этого онъ долженъ былъ одѣваться въ свое платье, сдать казенное и отправляться куда онъ желаетъ.—Послѣднѣе обстоятельство насъ очень смущало: гдѣ будутъ ночевать дѣти—неужели опять съ собаками?—Но я скоро сообразилъ, что у нашей прачки есть ребята, она живетъ въ подвалѣ и, вѣрно, за рубль въ мѣсяцъ позволитъ ночевать нашимъ протежѐ, которыхъ Фотій давно уже присвоилъ себѣ и не говорилъ о нихъ иначе, какъ—*мои дѣти, наши дѣти*.

Мистрисъ Гейнсъ даже засмѣялась, когда мы обратились къ ней съ просьбой.

— Здѣсь абердинскій пріютъ... приходи кто хочетъ, лишь-бы не позже восьми часовъ утра: и будетъ завтракъ и обѣдъ... Меня нечего просить! Явятся тысяча дѣтей, мы примемъ тысячу дѣтей: слава Богу—у княгини М. и у графини Б. хватитъ средствъ... Они весь Петербургъ могутъ прокормить!

И вотъ опредѣлили мы Мишу и Ѳеню въ этотъ абердинскій пріютъ.—Заплатили прачкѣ впередъ за мѣсяцъ, купили имъ мочальную подушку, тюфякъ и одѣяло... И что-же? Черезъ двѣ недѣли явилась къ намъ прачка: «Не бывали у васъ ребята»?—«Нѣту».

— Пятый день не приходятъ; не знаю что и думать. Не оставили-ли ихъ за наказаніе въ пріютѣ: можетъ — что набаловали:—дѣло дѣтское.

Все это время мы были рѣшительно завалены работой, и намъ некогда было справляться о нашихъ питомцахъ.—Въ этотъ-же день мы все покончили и готовились попраздничать.

— Пойдемъ къ Гейнихѣ! рѣшилъ Фотій,—справимся: что сей сонъ обозначаетъ.

Мистрисъ Гейнсъ приняла насъ какъ добрыхъ знакомыхъ и даже упомянула что-то о чаѣ, а потомъ выразила удивленіе: почему это наши дѣти не ходятъ уже цѣлую недѣлю.

— Вѣрно у васъ тутъ что нибудь неладно, откровенно ляпнулъ Фотій.—Иначе они не бѣжали-бы изъ теплой квартиры, съ мягкаго тюфяка, отъ добрыхъ людей, на голую землю, къ собакамъ...

— Вы утверждаете, что у насъ что-нибудь неладно? надмѣнно спросила англичанка.

— Не утверждаю, а полагаю.

— Покорнѣйше прошу разубѣдиться въ своемъ предположеніи! Пожалуйте! почти приказала мистрисъ Гейнсъ.

Классъ. Скамеекъ наставлено видимо-невидимо: ни въ одной аудиторіи я не видывалъ столько. — И въ этой обширной пустынѣ сидятъ четыре дѣвочки въ накрахмаленныхъ каленкоровыхъ чепцахъ и въ синихъ пелеринкахъ и два мальчика въ бѣлыхъ блузахъ, опоясанныхъ лакированными ремнями. — Лица у всѣхъ блѣдныя, всѣ

смотрятъ загнанными и забитыми. — Миссъ Мэри, дочь мистрисъ Гейнсъ сидитъ и читаетъ вслухъ какую-то англійскую книгу — Я плохъ въ англійскомъ языкѣ, но догадываюсь, что она читала романъ; ученики, закрывъ, по формѣ, кистями рукъ свои колѣнки, не отворачивали глазъ отъ учительницы, но слушали-ли они? Да и что было слушать!

— Мэри! прервала чтеніе мистрисъ Гейнсъ.—Урокъ терпѣнія. Садитесь, господа!

Мы сѣли вмѣстѣ съ мистрисъ Гейнсъ на пустую скамейку.

— Урокъ терпѣнія. Пять минутъ, не торопясь проговорила миссъ Мэри, и подняла лѣвую руку кверху.— Всѣ подняли свои руки также какъ и она, и мы имѣли удовольствіе любоваться, что не у однихъ ословъ много терпѣнія: никто не опустилъ своей руки раньше миссъ Мэри.

— Урокъ вниманія, Мэри, самодовольно скомандовала мистрисъ Гейнсъ.

— Урокъ вниманія, проговорила миссъ Мэри, и приложила указательный палецъ въ носу, всѣ тоже приложили; вдругъ, она мгновенно приставила къ носу другой палецъ; всѣ сдѣлали тоже, къ великому восхищенію мистрисъ Гейнсъ.

Далѣе шли еще разные уроки, гдѣ дѣти по манове-

нію руки прыгали, гдѣ хватали другъ друга за плечи и пѣли: «заинька прыгалъ, сѣренькій прыгалъ! реги-да! реги-да!»—и вообще—чортъ знаетъ, что такое!

— Видите! Нашъ пріютъ образцовый во всемъ Петербургѣ, сказала намъ на прощанье мистрисъ Гейнсъ.

— Не даромъ изъ него мои дѣти убѣжали къ собакамъ, мрачно отвѣтилъ Фотій — Вотъ этимъ учительницамъ хорошо-бы дать добрый урокъ здравомыслія... нѣтъ! моя палка мала, потребенъ кнутъ!

Мистрисъ Гейнсъ совершенно справедливо сказала, что ея пріютъ—образцовый пріютъ. Послѣ этого, я бывалъ во множествѣ пріютовъ, но нигдѣ не видалъ ничего лучшаго: дѣтей мучатъ безъ толку еще больше и жесточе. Мнѣ кажется, что большая ошибка заключается въ томъ, что воспитаніе несчастныхъ, ради экономіи, за ничтожное жалованье поручается женщинамъ, само собой разумѣется, по большей части круглымъ невѣждамъ и злымъ дурамъ изъ старыхъ дѣвъ.—Ужъ лучше-бы брать въ учителя просто-на-просто безхитростныхъ дьячковъ, коли хочется сдѣлаться благодѣтелемъ по-дешевле! — Тѣ выучили-бы, покрайней мѣрѣ, грамотѣ, а тутъ и этого нѣтъ: одно послушаніе, вниманіе, терпѣніе, кротость, услужливость—и больше ничего.—Очень нужны всѣ эти прелести нищему!

Ночью, мы съ Фотіемъ отправились разыскивать на-

шихъ питомцевъ... Днемъ была оттепель, а къ вечеру морозъ: лепестки травы торчали: какъ проволочные, хрустѣли и ломались подъ ногами. Луна свѣтитъ и отъ всего даетъ длинныя тѣни. На пустынномъ бережку лежатъ до полусотни собакъ разной величины и чуть не всѣ кидаются на насъ съ оглушительнымъ лаемъ. Люди, спавшіе съ ними, вскакиваютъ и бѣгутъ спасаться куда попало: думаютъ—мы полицейскіе. Я не боюсь собакъ, иду спокойно; нѣсколько псовъ уже начинаютъ ко мнѣ ласкаться; Фотій машетъ дубиной и ругается, его уже кто-то укусилъ.—Вдругъ раздается его радостный крикъ: поймалъ какого-то мальчишку за шиворотъ.—На допросы, при оглушающемъ лаѣ собакъ, мальчишка показалъ, что онъ знаетъ и Мишу и Ѳеню, но что ужъ они третій день не приходятъ сюда.—Этимъ должны были кончиться наши поиски *нашихъ дѣтей.*

Вскорѣ Фотія исключили изъ академіи за невзносъ денегъ за слушаніе лекцій; онъ уѣхалъ въ Москву, потомъ въ Казань, и пропалъ у меня изъ виду, до послѣдняго письма его матери, въ которомъ она сообщаетъ мнѣ о его геройской смерти на легкомъ перевязочномъ пунктѣ при неожиданной стычкѣ съ хивинцами. *Нашихъ дѣтей* я также совершенно потерялъ изъ виду.

Прошло такъ года два.—Иду какъ-то по набережной Ждановки и встрѣчаю моего стараго знакомаго, развесе-

лаго лейтенанта Курца, который прослужилъ въ русскомъ флотѣ тридцать лѣтъ и былъ уволенъ за двукратное произнесеніе слова *шпрендель*, значеніе котораго онъ объяснить отказался, потому-что его не зналъ. — Лейтенантъ несъ цѣлый вьюкъ въ сѣрой бумагѣ.

— На собственный мой безпушечный корабль «Не зѣвай»! крикнулъ Курцъ. Пять фунтовъ одной колбасы: съ чеснокомъ... четвертная стоитъ на кораблѣ запечатана экипажъ отъявленный, иначе нельзя—выпьютъ! — Валяй! Лучше тебя мнѣ гостя не найти! Идемъ! сегодня у насъ праздникъ! Пѣвцы даже есть на кораблѣ... Идемъ!.. Ну! Поднимай паруса! Посмотри хоть на устройство корабля-то!

— Пожалуй.

— Мы теперь, братецъ, рыбной ловлей занимаемся, болталъ Курцъ. Превыгодная вещь! Только это—чуръ—секретъ. Угадай, сколько мы этой ночью поймали?—На сорокъ рублей одной сардинки, не считая десяти коробокъ либиховскихъ консервовъ.

Услышавъ это, я невольно пріостановился.

— Не воруемъ! нѣтъ, не бойся! воскликнулъ Курцъ. Дѣло самое простое.

И онъ началъ объяснять. «Простое дѣло» заключалось въ томъ, что онъ на своемъ кораблѣ подкарауливалъ казенный пароходъ, съ котораго топятъ на взморьѣ

забракованный заграничный товаръ; замѣчалъ мѣста, гдѣ брошенъ товаръ, и при удобномъ случаѣ вытаскивалъ его, конечно, съ великими затрудненіями, такъ-какъ на суднѣ «Не зѣвай» никакихъ водолазныхъ принадлежностей не находилось, если не считать кульковъ, камней и веревокъ. — Затѣмъ, конечно, товаръ по секрету продавался рыночникамъ по дешевой цѣнѣ — и на кораблѣ «Не зѣвай» устраивался праздникъ.—Само собой разумѣется, кораблю, занимающемуся такого рода рыболовнымъ промысломъ всего лучше было порѣже попадаться на глаза полиціи, а потому онъ рѣдко бывалъ въ городѣ; большей-же частью гнѣздился около самыхъ глухихъ загородныхъ береговъ Невы; на ночь экипажъ высаживался на какой нибудь пустырь, вываливалъ свой корабль на берегъ, опрокидывался и заночевывалъ подъ нимъ.—Каково было мое удивленіе, когда пѣвцами Курца оказались бывшія *наши дѣти*, Миша и Ѳеня. Только это были уже не тѣ боязливыя загнанныя нищенскія дѣти, которыхъ мы знали. Миша пресерьезно курилъ трубку, а Ѳеня о чемъ то звонко и ужъ далеко не застѣнчиво хохотала, качаясь на борту лодки. Они успѣли уже побывать въ комитетѣ нищихъ, который распорядился отдать ихъ въ ученье на какое-то несмѣтное число лѣтъ: Мишу къ портному, а Ѳеню къ башмачнику. Попадись ребятишки въ хорошія руки, при кроткомъ обращеніи, изъ

нихъ могло-бы еще что-нибудь выйдти. Но на нихъ напустились съ перваго-же раза: «нищій, изъ комитета, подъ заборами ночевалъ, не жравши по недѣлѣ ходилъ»— и ребята сразу-же очутились на положеніи собакъ, которыя за кусокъ хлѣба должны переносить все: тяжесть работы, побои, брань и всякія оскорбленія и униженія.

— Только и словъ нищая, да нищая! говорила Ѳеня. Ничему не учатъ, заставляютъ полы мыть, лохани выносить... Ногой пнулъ меня въ глазъ: вотъ какъ глазъ раздувши былъ цѣлыхъ двѣ недѣли. А я сама безъ него полы могу мыть, мнѣ еще за это деньги дадутъ. И ушла, да еще трехрублевку унесла! съ гордостью прибавила дѣвочка.

— А меня хозяинъ все прасовкой по спинѣ билъ, басомъ заговорилъ Миша. Заставилъ дрова колоть, а я и ушелъ, и сарай полый оставилъ; дрова, я думаю, всѣ повытаскали! радостно захохоталъ онъ. — Пришелъ къ бойнѣ, а Ѳедосья ужъ тамъ! ха ха ха!

Оставаться долго на курцовомъ кораблѣ я не могъ, такъ-какъ имъ надо было засвѣтло убраться отъ берега, поэтому оставивъ дѣтямъ свой адресъ, я отправился домой. Нечего и говорить, что размышленія мои не могли быть веселыми при видѣ этихъ *дѣтей*, которыхъ я зналъ когда-то дѣйствительно дѣтьми, невинными божіими созданіями и которыя теперь на моихъ глазахъ превраща-

лись, волею судебъ, въ нѣчто негодное и отвратительное— во вредныхъ общественныхъ паразитовъ.—Кто виноватъ?!

По адресу ко мнѣ никто не пришелъ.—Вдолгѣ послѣ свиданія съ дѣтьми, я возвращался какъ-то осенью съ дачи отъ одного знакомаго, по совершенно пустынной мѣстности, усталъ и прилегъ на траву. Миша шелъ мимо; ноги черныя, босыя, шапки нѣтъ; въ зубахъ огромная тяжелая трубка, за пазухой рубахи накладено что-то, можно догадаться, что полуштофъ и закуска.

— Миша! окликнулъ я его.

— А! ухорски засмѣялся онъ—господинъ-баринъ!

— Какъ поживаешь?

— Такъ себѣ, вашими молитвами — изъ кулька въ рогожку. А наша Ѳеня ужъ тово!

И онъ звонко стукнулъ ладонью объ ладонь. По всему надо было думать, что это обстоятельство не только не смущало его, но даже, пожалуй, радовало.

— А знаете, я шесть недѣль въ исправительномъ высидѣлъ, какъ будто съ гордостью сообщилъ онъ мнѣ. Дозволите сѣсть возлѣ вашей чести?

— Садись! Какже тебя исправляли въ исправительномъ?

— Пеньку щипать заставляли... Весело тамъ, только одно не понравилось...

Миша началъ разсказывать мнѣ отвратительнѣйшія и возмутительнѣйшія пріапическія сцены противуестествен-

наго разврата, на которыя онъ насмотрѣлся во время своего исправленія. Я прервалъ его.

— Гдѣ-же ты теперь живешь?

Тутъ съ однимъ юнкаремъ, въ лѣску, около кирпичнаго, въ ямѣ изъ подъ глины.

— Дождикъ мочитъ.

— Нѣтъ; у насъ навѣсикъ маленькій сдѣланъ такой и въ бокъ еще не много прорыто: сѣна туда натаскали: очень даже прохладно и хорошо, а казаки сюда совсѣмъ не заѣзжаютъ... Да вонъ мой юнкарь идетъ, не можетъ меня дождаться. — Сапоги съ одного пьянаго смаклеровали, такъ я ходилъ продавать, шепнулъ мнѣ Миша, всталъ и пошелъ на встрѣчу своему сожителю.

Они о чемъ-то пошептались. Съ непокрытой головой, въ ветхомъ лѣтнемъ пиджачишкѣ, въ брюкахъ, связанныхъ въ тысячѣ мѣстахъ мочалками и веревочками, подошелъ ко мнѣ юнкеръ, расшаркался своими босыми грязными ногами, и съ важностью отрекомендовался: «отставной юнкеръ Петръ Ивановичъ Кузьминъ, жительство имѣю здѣсь недалеко. Неугодно-ли будетъ посѣтить «пріютъ убогаго чухонца и лѣсъ невѣдомый лучамъ, въ туманѣ спрятаннаго солнца», ха ха ха! великій человѣкъ этотъ Пушкинъ!

Но принимая во вниманіе сообщеніе Миши относительно сапогъ, я рѣшительно отклонился отъ любезнаго

приглашенія «посѣтить пріютъ убогаго чухонца», распростился и отправился во-свояси.

Въ послѣдній разъ я встрѣтилъ Мишу уже пьянымъ на Тучковомъ мосту. На этотъ разъ онъ самъ остановилъ меня.

— Здравствуйте! А я третьяго дня только изъ срочной тюрьмы вылетѣлъ! обрадовалъ онъ меня, размахивая руками. Съ бѣльишкомъ на чердакѣ попался, конфиденціально и шепотомъ прибавилъ онъ, — еще хорошо, что безъ взлома!

— Гдѣ-же теперь находишься? спросилъ я, чтобы сказать что-нибудь.

— Хотите, покажу квартирку? а? пойдемте!

И вотъ я очутился подъ дамбой Тучкова моста, въ клоакѣ, устроенномъ для протока воды въ случаяхъ наводненія. Одна сторона была плотно закупорена соломой, мочалами, сѣномъ—и всѣмъ чѣмъ попало; мы влѣзли съ той стороны, которая была открыта. На полу, на соломѣ и на всякомъ хламѣ лежали люди, фигуры которыхъ едва можно было разсмотрѣть въ полутьмѣ; вонь, духота, и, не смотря на половину ноября, невыносимая жара; сверху грохотъ экипажей, говорить очень затруднительно. У меня закружилась голова. Я слышалъ только, что столпившіеся около меня люди громко смѣялись, поздравляли меня съ чѣмъ-то, требовали угощенія... От-

давъ имъ всю бывшую со мной мелочь, я съ радостью выползъ на свѣжій воздухъ, и тогда вздохнулъ свободно, когда перешагнулъ перилы и ступилъ на панель.

Уже не такъ давно, я шелъ какъ-то по Невскому; молодая смазливая дѣвушка дернула меня за рукавъ и звонко захохотала.

— Это вы? Не узнали! хохотала она, вертясь передо мной и стараясь блеснуть своимъ шелковымъ платьемъ съ бархатной отдѣлкой.

— А! это вы, Ѳеня...

— Извините! Я не Ѳеня, а Фанни... Фанни, капризно и кокетливо поправила она меня.

— Гдѣ Миша?

— Совсѣмъ отъ рукъ отбился. Я его и на глаза, къ себѣ, негодяя, не пущаю... А я теперь въ домѣ Максимовича живу, вотъ здѣсь... у насъ весело. Заходите какъ нибудь, спросите только Фанни большеглазенькую: сейчасъ укажутъ.

— Покорно благодарю.

Послѣ этой встрѣчи, я не видалъ больше нашихъ дѣтей.

СѢЯТЕЛЬ ПУСТЫНИ.

«На твое филистерское письмо я могу отвѣчать словами Робека, взятыми изъ рѣчи, недавно произнесенной имъ въ Шеффильдѣ, по окончаніи послѣднихъ выборовъ: «не пришло еще то время, чтобы считали хорошимъ, когда ударятъ васъ по щекѣ, подставлять другую щеку»... Сыпля цѣлый ворохъ упрековъ за то, что я *безразсудствую,* остановившись въ Нижнемъ, ты хочешь внушить мнѣ смиреніе и покорность и убѣдить меня подставить другую щеку! Нѣтъ, любезный, ужъ ты лучше займись этимъ самъ! а я не снесу этого оскорбленія: я оскорбленъ, какъ гражданинъ, и употреблю всѣ свои силы, чтобы отстоять свои права — права гражданина! Сила! Нѣтъ, это — насиліе, и если ты будешь всегда трусить передъ его могуществомъ, никогда ничего не добьешься и проч. и проч.»

Такого рода письмо получилъ я нѣсколько лѣтъ назадъ отъ товарища моего дѣтства Бориса Щеголева, съ которымъ мы когда-то читали графа Монте-Кристо и

рыли въ саду ямы съ надеждою отыскать несмѣтныя сокровища и построить свой собственный дворецъ на островѣ, вслѣдствіе чего нерѣдко и оставались безъ завтраковъ, обѣдовъ и ужиновъ. Впрочемъ эти пустяшныя препятствія не смущали пылкаго Бориса, уже вполнѣ обдумавшаго планъ подземнаго дворца на каменистомъ островѣ, такъ что, еслибы я не оставилъ во время намѣренія отыскать въ землѣ сокровище, мы бы, вѣроятно, изрыли и испортили весь садъ.

Послѣ того, какъ меня увезли учиться въ какой-то французскій пансіонъ, я не видалъ своего пріятеля. Онъ проживалъ въ деревнѣ; потомъ, когда, году этакъ въ 56-мъ, вылетѣла, такъ называемая, бомба отрицанія и повѣяли разныя вѣянія, Борисъ бросилъ читать романы и началъ довольно серьозно готовиться въ университетъ. Впрочемъ это продолжалось недолго; онъ скоро потерялъ терпѣніе, прискакалъ въ Петербургъ и поступилъ въ университетъ вольнымъ слушателемъ. Тутъ онъ тоже пробылъ недолго, но я все-таки затрудняюсь сообразить, въ сколькихъ онъ «исторіяхъ» былъ замѣшанъ въ теченіи своего четырехмѣсячнаго пребыванія въ университетѣ. «Исторіи» эти, впрочемъ, и по выходѣ изъ университета не прекратились. Его, какъ человѣка, въ высшей степени честнаго и добраго, готоваго жертвовать для другихъ послѣдней копѣйкой, всѣ любили, и выйдя изъ университета, онъ

продолжалъ вращаться въ кругу своихъ прежнихъ товарищей, тѣмъ болѣе, что значительныя средства, доставляемыя матерью, позволяли ему жить довольно открыто.

Съ лѣтами, кругъ товарищей началъ рѣдѣть: кто уѣхалъ вдаль на службу, кто женился, кто отправился за границу. Классическое gaudeamus igitur все рѣже и рѣже стало пѣться въ квартирѣ Щеголева. Даже оставшіеся друзья какъ то обсерьезились и уже видимо переросли «gaudeamus», «по чувствамъ братья мы съ тобой» «рабскую Россію» и тому подобныя пѣсни, при звукахъ которыхъ и мы когда-то дрожали съ вами, читатель, отъ восторга.

Настало, наконецъ, время, когда Щеголевъ соскучился и почувствовалъ влеченіе къ серьезной общественной дѣятельности. Для этого онъ рѣшился ѣхать на родину къ намъ въ провинцію — «въ этотъ вертоградъ, какъ онъ писалъ, который подаетъ много надеждъ, если на него не пожалѣютъ труда благомыслящіе образованные люди». Но на пути къ этому вертограду, именно около города Нижняго-Новгорода, ему встрѣтилось препятствіе. Препятствіе это явилось въ видѣ сортировщика почтовой конторы, который не принялъ отъ друга моего дѣтства письма, адресованнаго какому-то «его высокоблагородію», безъ прибавленія словъ: «милостивому государю». Щеголевъ нашелъ приписку «милостивому госу-

дарю» нелѣпой, возмутился до глубины души, назвалъ сортировщика невѣждой, и получивъ отъ него такой же отвѣтъ, произвелъ бунтъ въ конторѣ. Кончилось дѣло тѣмъ, что его обязали подпиской о невыѣздѣ изъ города.

Признавая такую подписку, вытребованную, конечно, подъ страхомъ ареста, незаконною, Щеголевъ преспокойно собрался въ тотъ же день уѣхать изъ города. Но почтовая контора рѣшительно отказала ему въ лошадяхъ, да еще тотъ же сортировщикъ осмѣлился подсмѣяться надъ нимъ. Онъ произвелъ второй бунтъ. На этотъ разъ его подвергли уже домашнему аресту. Возмущенный этимъ до глубины души, онъ разразился громомъ и молніей изобличительныхъ корреспонденцій въ разныя мелкія столичныя газеты (въ то время имя имъ было легіонъ; свирѣпствовали: Левъ Касибекъ, Илья Арсеньевъ, Розенгеймъ и др. съ цѣлой арміей разныхъ X, Y и Z). Тѣ изъ своихъ обличительныхъ заявленій, которыя по своей угрожающей рѣзкости не могли быть нигдѣ напечатаны, онъ присылалъ ко мнѣ. Тутъ дѣло начиналось чуть ли не съ Адама и Евы, виновныхъ въ грѣхопаденіи рода человѣческаго и послѣ множества самыхъ саркастическихъ и «сардоническихъ» фразъ о несовершенствахъ русской жизни, сводилось чуть-ли не на выраженія твердой увѣренности, что обнаружься такой возмутительный случай по почтовому вѣдомству въ Англіи, — несчастный сорти-

ровщикъ былъ бы давнымъ давно, по крайней мѣрѣ, повѣшенъ. Вообще будучи англичаниномъ Борисъ Щеголевъ непремѣнно произнесъ бы въ палатѣ депутатовъ рѣчь въ защиту билля о передачѣ почтоваго дѣла на арендное содержаніе въ частныя руки, въ томъ предположеніи, что тогда почтовая прислуга будетъ вѣжливѣе, доходъ государства увеличится, аккуратность по доставкѣ корреспонденціи усилится и проч. и проч. Какъ-то, я не могъ ему не посовѣтовать, пока онъ не англичанинъ, озаботиться прежде исхлопотаніемъ учрежденія у насъ палаты депутатовъ, а потомъ уже заняться соображеніями, какія тамъ рѣчи можно будетъ произносить и въ защиту какихъ именно биллей. За это я получилъ прозваніе филистера и нѣсколько полемическихъ писемъ вродѣ вышеприведеннаго. Такого же рода посланія онъ присылалъ и къ своей матери, конечно понявшей изъ нихъ только то, что ея единственный сынъ находится подъ арестомъ въ Нижнемъ-Новгородѣ. Надобно было выручить его; старуха сама поѣхала въ Нижній, и, несмотря ни на какія сопротивленія Бориса, рѣшительно возстававшаго противъ лиходательства, успѣла-таки освободить его, чѣмъ конечно премного обязала разныхъ министровъ, которымъ хотѣлъ жаловаться Щеголевъ на притѣсненія полиціи и почтоваго вѣдомства.

Онъ явился въ нашъ городъ больной и «истерзанный

терніями существующаго порядка», какъ онъ заявлялъ въ письмѣ, присланномъ съ лакеемъ въ день своего пріѣзда. Я отправился къ больному и засталъ его за письменнымъ столомъ. На немъ не было ни жилета, ни галстуха; желтая кожа на щекахъ съежилась въ складки; глаза горѣли; онъ съ ожесточеніемъ рвалъ длинными, сухими пальцами лѣвой руки свою жиденькую бѣлую бородку, а въ правой рукѣ вертѣлъ ручку стальнаго пера. Когда онъ всталъ навстрѣчу ко мнѣ, его длинныя ноги едва двигались, и, казалось, того гляди, могли изломаться. Вѣроятно онъ думалъ о чемъ-то важномъ, потому что встрѣтилъ меня очень флегматично, почти холодно.

— Я съ тобой хотѣлъ посовѣтоваться, сказалъ онъ растирая свой длинный носъ лѣвой ладонью.

— Что это такое ты пишешь?

— Донесеніе, сумрачно отвѣчалъ онъ.

— Опять на сортировщика?

— Н-нѣтъ... Тутъ дѣло поважнѣе. Что сортировщики! Это пустяки! Тутъ дѣло государственное. Высшее правительство не знаетъ, что оно дѣлаетъ: я ему раскрою глаза! Пусть ужасаются. Да! Если ты не совсѣмъ зажирѣлъ еще и способенъ понимать что нибудь, ты оборвешь себѣ всѣ волосы на головѣ отъ ужаса!!

— Ну, братъ у меня и такъ мало волосъ...

— Я такъ и зналъ! Ты всегда выѣзжаешь на самыхъ пошлѣйшихъ «востротахъ»!

Качаясь на своихъ длинныхъ ногахъ, Щеголевъ быстро заходилъ по комнатѣ, имѣя очевидное покушеніе оторвать напрочь свою жиденькую бородку.

— Посмотри, на кого ты похожъ? Брюхо! Господи!— Брюхо! съ ужасомъ протягивая руки по направленію къ моему животу, воскликнулъ онъ. Suus baberuus! — Что ты можешь понять?!

— Китайцы, братъ, считаютъ брюхо признакомъ ума: чѣмъ человѣкъ умнѣе, тѣмъ брюхо больше... слѣдовательно — началъ было я, чтобы перемѣнить этотъ непріятный для меня разговоръ, но Щеголевъ прервалъ меня съ такою горячностью и съ такимъ жестомъ, что я сдѣлалъ невольное движеніе, чтобы отстранить ударъ по щекѣ.

— Слѣдовательно, ты китаецъ! Да, я это зналъ! Я зналъ, душа моя! Другъ застоя! Да! Изъ канцеляріи лорда Дерби! Просимъ покорно... Я зналъ, что если при васъ будутъ рѣзать человѣка, вы и на это будете смотрѣть спокойно! Ну, а я не позволю рѣзать при себѣ и барана... Впрочемъ, все-таки я вамъ передамъ мои послѣднія дорожныя впечатлѣнія: подумайте объ этомъ хоть по китайски.

Щеголевъ закашлялся, сѣлъ на стулъ почти на столь

близко ко мнѣ, что наши носы соприкасались другъ съ другомъ, и совершенно откашлявшись, повелъ рѣчь тѣмъ глухимъ, холоднымъ и хриплымъ голосомъ, какой подобаетъ имѣть горячему, но сдерживающемуся оратору. Онъ говорилъ о вредѣ паспортной системы и преимуществѣ косвенныхъ налоговъ передъ прямыми (особенно подушными). При этомъ онъ иногда входилъ въ такой паѳосъ, что изо всей силы билъ меня по колѣнямъ своими костлявыми ладонями.

Послѣ довольно длиннаго приступа, отразившагося до такой степени непріятно на моихъ неповинныхъ во введеніи паспортной системы колѣняхъ, что я принужденъ былъ отодвинуться, — начался наконецъ разсказъ о самыхъ дорожныхъ впечатлѣніяхъ.

Возвращаясь изъ Нижняго-Новгорода, онъ гдѣ-то въ Василѣ, или въ Макарьевѣ, встрѣтилъ партію арестантовъ, и пустился съ ними въ разговоры. Между ними нашлась молодая дѣвушка въ наручникахъ, которая обратила на себя его особенное вниманіе. Оказалось, что она пересылается изъ Петербурга на родину. — «Въ кандалахъ! За что же? За то только, что ей не выслали вóвремя паспорта!»

Щеголевъ вскочилъ со стула и ринулся съ такой стремительностью шагать вдоль по комнатѣ, что чуть не упалъ. Онъ былъ крайне взволнованъ.

— Объ этомъ что ли ты и пишешь донесеніе?

— Да, я думаю!

— Куда же?

— Государю...

Покуда я объяснялъ, что эти дѣла такъ не дѣлаются, Щеголевъ продолжалъ ходить по комнатѣ, повидимому совершенно не слушая меня.

— Что ты мнѣ толкуешь?! Инстанціи! Инстанціи! Въ какую инстанцію мнѣ еще обращаться?

— Да вотъ прочитай мнѣ донесеніе-то: я и скажу тогда въ какую...

— Инстанціи! Донесеніе! Чтó донесеніе по вашимъ инстанціямъ?! Вотъ донесеніе!

Щеголевъ схватилъ со стола листъ бумаги и разорвалъ его въ клочки.

— Вотъ донесеніе!

— И отлично!

— Я сдѣлаю еще отличнѣе! Я безъ донесеній спасу ее, почти закричалъ онъ на меня, принявъ позу трагическаго актера каратыгинской школы.

— Силой?

— Нѣтъ-съ, — сила отжила свой вѣкъ. Я дворянинъ, я женюсь на ней, она будетъ дворянкой и навсегда избавится отъ паспортовъ и отъ кандаловъ!

— Жалко, что ты дворянинъ—избавленъ отъ тѣлеснаго наказанія, а то за это хорошо бы посѣчь...

Тутъ разразилась буря, и мы не поссорились навсегда потому только, что насъ въ это время позвали пить чай. За чаемъ, предавъ проклятію Моллера-Красовскаго, Пирогова, Козляинова и другихъ, Щеголевъ произнесъ длинную рѣчь противъ тѣлеснаго наказанія. Онъ возмущался такъ, какъ будто его самого когда нибудь гоняли сквозь строй, или, по крайней мѣрѣ, драли розгами.

— Что же ты думаешь съ собой дѣлать теперь? спросилъ я, когда онъ немного поуспокоился.

— Что? Я могу на первый разъ сдѣлаться хоть гласнымъ Думы, задумчиво сказалъ онъ. Объ этомъ я и хотѣлъ съ тобой посовѣтоваться: ты, вѣдь тамъ, нѣкоторымъ образомъ... Ну, однимъ словомъ, какъ это сдѣлать?

— Что, то есть?

— Да вотъ... какъ бы мнѣ попасть въ Думу-то...

Очевидно Щеголева очень тяготила мысль о поступленіи въ гласные, и онъ какъ-то застѣнчиво, почти стыдливо говорилъ теперь со мной объ этомъ. Даже по его желто-блѣдному лицу до такой степени явственно разлилась легкая краска, что его мать, глухая старушка, не принимавшая никакого участія въ нашихъ разговорахъ, спросила, чѣмъ онъ такъ смущенъ.

Я объяснилъ Щеголеву, что такъ какъ онъ домовла-

дѣлецъ и человѣкъ совершеннолѣтній, то для поступленія въ гласные нѣтъ особенныхъ препятствій и что это легко устроить, если ужъ ему такъ хочется сдѣлаться россійскимъ Брайтомъ.

Щеголевъ задумчиво всталъ на свои длинныя ноги и началъ ходить по комнатѣ.

— Dividere et impera! важно и какъ будто разсѣянно произнесъ онъ вдругъ. Есть у васъ въ Думѣ партіи?

— Какъ это партіи: крайніе, умѣренные, консерваторы, радикалы?

— Нѣтъ, вообще... я потому спрашиваю, что вообще, въ представительныхъ учрежденіяхъ нарочно возбуждаютъ раздоръ партій: dividere et impera...

— Ну, на этотъ счетъ ты можешь успокоиться, — у насъ, покуда, дѣло идетъ безъ коварства, безъ dividere...

Хотя это сообщеніе нѣсколько смутило Щеголева, но онъ до конца нашего свиданія не переставалъ распространяться о предстоящей ему «хотя не блестящей, но полезной» дѣятельности гласнаго городской Думы. Его особенно занимало то, что скоро предстоятъ выборы. Онъ разспрашивалъ меня о ихъ ходѣ и радовался, что у насъ покуда нѣтъ Керльтонскаго клуба, гдѣ открыто продаются голоса избирателей и лордъ Дерби и герцогъ Боклю открыто покупаютъ ихъ...

Глядя на его больное лицо съ больнымъ румянцемъ,

на глаза, блестѣвшіе горячимъ упованіемъ, я не могъ не пожалѣть въ глубинѣ души этаго наивнаго, добродушнаго ревнителя. Въ чемъ онъ видѣлъ *настоящее дѣло*, изъ за чего бился съ такой горячностью? Не съ той же ли простодушной вѣрой приступалъ онъ теперь къ другому дѣлу, съ какой рылъ нѣкогда ямы, надѣясь отыскать сокровища графа Монте-Кристо подъ какимъ нибудь гнилымъ ивовымъ пнемъ? Глядя на него, мнѣ почему то казалось, что онъ скоро умретъ, и вопросъ для чего этотъ человѣкъ такъ безтолково хлопочетъ и чѣмъ все это кончится еще безпокойнѣе всталъ передо мной. Я зналъ, что его ревнительское дѣло кончится тѣмъ же, чѣмъ кончились наши безплодные поиски монтекристовскихъ сокровищъ, и сердце мое сжималось той сочувственной жалостью, съ какою мы слушаемъ умирающаго чахоточнаго, мечтающаго нажить побольше денегъ и отправиться за границу.

Какъ ни странно было хлопотать о выборѣ въ должность гласнаго, отъ которой всѣ православные отмаливаются и руками и ногами, а часто даже и откупаются, я принялъ на себя хлопоты по этому дѣлу, и очень скоро явился къ Щеголеву съ извѣстіемъ, что онъ почтенъ избраніемъ въ гласные городской Думы. Я засталъ его въ постели; онъ лежалъ, обложенный холодными компрессами.

— Подъ чьимъ управленіемъ находится этотъ городъ? Въ какой части свѣта онъ находится? закричалъ онъ въ отвѣтъ на мой вопросъ что съ нимъ случилось.

— По географіи, въ Европѣ...

— Нѣтъ, въ Азіи, или въ Африкѣ!.. По географіи!

Борисъ съ такимъ ожесточеніемъ выкинулъ изъ подъ одѣяла руку, что полотенца и тряпки, намоченныя водой, полетѣли на полъ. На рукѣ была огромная синебагровая полоса.

— Что это такое?

— Слѣды нашей цивилизаціи. Здѣсь нѣтъ фотографа, а то бы я снялъ теперь свой портретъ pas habillé, и послалъ бы на лондонскую всемірную выставку... Дали бы медаль тому мастеру, который дѣлаетъ казацкія нагайки! ха, ха, ха! Мастеръ своего дѣла... Четвертый день встать не могу... Мастеръ! Медаль ему золотую! Золотую медаль!

Онъ кричалъ такъ сильно и съ такой раздражительностью, что я не могъ не подумать, что онъ сошелъ съ ума. Дѣло объяснилось впрочемъ очень просто. Гуляя какъ то въ рощѣ, довольно поздно вечеромъ, Щеголевъ, услышалъ крикъ, побѣжалъ на него, и увидѣлъ, что казакъ бьетъ нагайкой какого-то пьянаго мужиченку. Въ порывѣ величайшаго негодованія, онъ схватилъ первую попавшуюся хворостину, подбѣжалъ къ казаку, и ударилъ

его по головѣ. Будь Щеголевъ прилично одѣтъ, на этомъ дѣло бы и кончилось. Къ сожалѣнію на немъ, по обыкновенію, не было ни жилета, ни галстуха, и онъ жестоко поплатился за такое невниманіе къ своему туалету...

— Что же ты, пожаловался бы, предложилъ я, не зная что сказать.

— Куда? въ инстанцію? съ ожесточеніемъ крикнулъ онъ.

— Полиційместеру, или губернатору.

— Убирайтесь къ черту!

Борисъ былъ такъ раздраженъ, что даже извѣстіе о томъ, что онъ выбранъ въ гласные, безъ всякаго подкупа избирателей, произвело на него, повидимому, очень слабое впечатлѣніе. Онъ продолжалъ недвижно лежать на боку, уставивъ гнѣвные глаза въ одну какую-то точку.

Я сидѣлъ тоже молча до тѣхъ поръ, покуда наше неопредѣленное молчаніе не надоѣло мнѣ.

— Что же ты думаешь наконецъ дѣлать? спросилъ я.

— Что? Ты бы лучше не говорилъ со мной... Я хочу бороться, и буду бороться до конца.

— Съ кѣмъ?

— Вотъ онъ:

With death—shot gloving in gis fiery hands
And eye that scorches all it glares upon! *)

---

*) Въ его злодѣйскихъ рукахъ блеститъ оружіе, смертоносное оружіе! Онъ истребляетъ однимъ взглядомъ все, на что ни взглянетъ.

продекламировалъ онъ какъ будто въ бреду, не сводя глазъ съ той же точки, на которую смотрѣлъ прежде.

— Это казакъ?

— Нѣтъ; кабы одинъ казакъ, это еще ничего, а то ихъ цѣлыя арміи. Борьба не по силамъ. Но я буду бороться...

— Съ кѣмъ? съ какими арміями?

— Съ арміями филистеровъ, подобныхъ тебѣ... Ты смѣешься? Я зналъ, что ты будешь смѣяться. Вамъ всѣмъ смѣшно видѣть человѣка, настоящаго человѣка, неосвиняченнаго... Вы нарочно унизили это слово, придали ему значеніе лакея: «человѣкъ!» «я пошлю человѣка»! чванно и нарочно гнусавя прокричалъ онъ. Да и основательно. Нынче чуть ли не девять десятыхъ человѣковъ — лакеи, филистеры... Посмѣйся еще: я достоинъ посмѣянія за то, что не смотрю равнодушно, какъ бьютъ другаго, въ ожиданіи своей очереди быть битымъ!.. Да... Смѣйся!..

Раздражительная рѣчь его лилась неудержимымъ потокомъ; онъ порывисто толкалъ воздухъ своей больной рукой, поставивъ ладонь ея въ такое положеніе, какъ будто хотѣлъ вдвинуть гвоздь въ стѣну. Глаза его горѣли и бѣлки вращались, такъ что смотрѣть на него было какъ-то непріятно, а пожалуй и страшно.

Я вышелъ отъ него очень недовольный собой. Мнѣ было и досадно и совѣстно, что я подсмѣивался надъ

чувствами и влеченіями человѣка, хотя, можетъ быть, дикими и нелѣпыми, но вполнѣ искренними и задушевными.

Послѣ этаго нашего свиданія прошло съ недѣлю. Я вполнѣ былъ увѣренъ, что послѣ обычнаго молебна и губернаторской рѣчи, найду его въ думской залѣ, важно засѣдающимъ за зеленымъ столомъ и разъясняющимъ городскому головѣ всю гнусность политики лорда Дерби; но я ошибся: Борисъ все еще лежалъ больной.

Онъ поправился только черезъ мѣсяцъ. Въ это время, занятый своими дѣлами, я навѣщалъ его очень рѣдко. Разъ я засталъ Щеголева въ саду и, подходя къ нему, невольно остановился. Онъ держалъ въ лѣвой рукѣ какую-то тетрадку, а правую высоко поднявъ вверхъ, говорилъ что-то очень громко. На довольно далекомъ разстояніи, я могъ разслышать столько, что вполнѣ понялъ, что передо мною находится ораторъ, приготовляющійся къ рѣчи. Я могу сказать словами поэта, что глядя на него, мнѣ «было бы смѣшно, когда бы не было такъ грустно» Въ самомъ дѣлѣ этотъ сухой, высокій человѣкъ съ тетрадкой въ рукѣ, съ поднятой рукой кверху, не казался ли сумасшедшимъ? «...да, милостивые государи, громко декламировалъ онъ, — да, онъ богатъ, уважаемъ всѣми вами, уважаемъ, потому что богатъ!

Закуй злодѣя въ золото —
Стальное копіе закона сломится безвредно;

Одѣнь его же въ рубище, и онъ
Погибнетъ отъ соломины пигмея...

г. Козыревъ закованъ въ золото, это я знаю, но не думаю, чтобы «стальное копіе» вашей справедливости сломалось объ его безчестную броню...»

— Ты забылъ послѣднія слова: «нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ!» закричалъ я ему.

Онъ очень медленно оборотился ко мнѣ и неподвижно остановился, какъ будто выжидая какого врага.

— Что ты это, роль короля Лира разучиваешь? спросилъ я его, подходя къ нему.

— А! это ты? невнимательно проговорилъ онъ, подавая мнѣ свою холодную руку.

— Какъ твое здоровье?

— Пустяки. Сядь, я тебѣ прочитаю... проговорю...

— Нѣтъ ли спички? дай хоть закурить.

— Спички! Спички! у филистеровъ вездѣ спички да ковычки!

— Ну, не надо. Проговаривай скорѣй, самоотверженно сказалъ я, съ ужасомъ глядя на довольно толстую тетрадку, болтавшуюся между длинными пальцами лѣвой руки Щеголева.

Это была рѣчь, написанная очень недурно, и видимо весьма усердно обработанная авторомъ: русскія, славянскія, нѣмецкія, французскія, латинскія и англійскія ци-

таты красовались чуть ли не въ каждомъ періодѣ. Тутъ было и «плакала Саша, какъ лѣсъ вырубали», и — «насади человѣкъ виноградъ...», и все, что угодно. Дѣло шло сначала о пользѣ лѣсовъ и необходимости для Россіи обратить серьезное вниманіе на лѣсоводство. Затѣмъ обращалось вниманіе «почтенныхъ представителей» на то, что лѣса въ Россіи безпощадно вырубаются. Такъ, недавно до свѣдѣнія автора рѣчи дошло, что лѣсничій Скроботовъ, получивъ отъ начальства дозволеніе вырубить тысячу двѣсти гнилыхъ и изсохшихъ деревъ, повалилъ въ казенномъ лѣсу самые лучшіе дубы, и продалъ ихъ по восьми рублей за штуку... (Thou hos had the boldnes). Губернаторъ Козыревъ не только покровительствуетъ этому расхищенію, но даже содѣйствуетъ ему. (Similia similibus gaudet). Онъ на имя жены купилъ небольшую лѣсную дачу, деревъ этакъ въ тридцать («и прилѣпится человѣкъ къ женѣ своей» и проч.) и устроилъ слѣдующую штуку: началъ продавать ежегодно по нѣскольку тысячъ деревъ разнымъ лѣсопромышленникамъ, при помощи запродажныхъ записей, они получали свидѣтельства на сплавъ этихъ тысячъ деревъ и сплавляли тысячи деревъ, вырубленныхъ въ казенныхъ лѣсахъ... («Плакала Саша, какъ лѣсъ вырубали»).

— Что же это такое? насмѣшливо спросилъ я, когда кончилось чтеніе, или лучше сказать—декламированіе рѣчи.

— Рѣчь.

— Что же ты съ ней намѣренъ дѣлать?

— Произнесу, обидчиво и почти грозно прошепталъ онъ.

— Гдѣ — въ Филадельфіи, или въ Нью-Іоркѣ?

— Я произнесу ее здѣсь, тѣмъ же шепотомъ отвѣтилъ онъ мнѣ. Тогда можете посмѣяться!...

— Здѣсь, въ Думѣ?

— Въ Думѣ.

— Кто же ее будетъ слушать?

— Если тамъ есть хоть два честныхъ человѣка,—они.

— Чтожъ изъ этаго будетъ?

— Будетъ уничтожено зло, презрительно пояснилъ онъ.

— То-то нѣтъ. Съ этой рѣчью надо идти по другой инстанціи: это — дѣло министерства государственныхъ имуществъ...

Щеголевъ просто вышелъ изъ себя и заговорилъ такъ быстро, что я не могъ ничего понять, кромѣ безпрестанно повторяемаго презрѣннаго слова — *инстанція*.

— Я вамъ покажу инстанцію! крикнулъ онъ наконецъ.

— Кому?

— Вамъ, думскимъ филистерамъ. Я знаю, что я сдѣлаю! Наша партія невелика, но она будетъ увеличиваться съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ!...

— Ужъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ ли у тебя партіи въ Думѣ; этакъ, примѣрно, якобинцевъ, крайней лѣвой, ра-

дикальныхъ виговъ, или вообще какой нибудь... хоть *партіи говоренія глупостей?*

— Почемъ ты знаешь, можетъ быть и есть... Впрочемъ я не хочу похищать чужаго, будь увѣренъ: *партія говоренія глупостей* навсегда останется за тобой.

Эта острота была произнесена такъ серьезно и сосредоточенно, что я не могъ не расхохотаться. Въ это время я сидѣлъ на скамейкѣ, а онъ стоялъ передо мной, скрестивъ руки по наполеоновски и въ упоръ, вызывающе, глядя на меня.

— Тебя, братъ, не примутъ въ Думу, сказалъ я.

— Почему это?

— Ты пьешь водку?

— Нѣтъ. Я довольствуюсь одной водой, серьезно отвѣчалъ онъ.

— Такъ куда же примутъ у насъ этакого гуся.

— Гусь! Дѣйствительно, гусь свиньѣ не товарищъ! злобно сказалъ онъ, опять указывая на мой животъ, повернулся ко мнѣ спиной и ушелъ, даже не простившись.

Эта выходка вовсе не оскорбила меня, и я съ четверть часа сидѣлъ на скамейкѣ, думая о Борисѣ: мнѣ попеременно казалось, что онъ то очень несчастенъ, то очень счастливъ...

Вообще черезъ нѣсколько дней, я съ нетерпѣливымъ участіемъ явился въ Думу, чтобы какъ нибудь остановить

его отъ тѣхъ глупостей, которыя онъ предполагалъ тамъ надѣлать.

Не смотря на то, что я пришелъ очень рано, Щеголевъ уже былъ тамъ; лакей сказалъ мнѣ, что онъ пришелъ съ четырехъ часовъ. Пройдя обѣ парадныя залы, я встрѣтилъ его у буфета.

— Что это ты тутъ дѣлаешь?

— Думу думаю, съ хохотомъ отвѣчалъ онъ. Ты въ Думѣ и я въ думѣ... ха, ха, ха! — У васъ очень удобно устроено. Есть пища для ума и пища для брюха! ха, ха, ха!

Онъ, очевидно, былъ въ очень веселомъ расположеніи духа.

— Сегодня ты произнесешь свою рѣчь?

— Да, размещу бисеръ... предъ тобою! ха, ха, ха! Извини, я шучу!

Онъ протянулъ мнѣ свою долговязую руку, и такъ пожалъ, что у меня хрустнули пальцы.

— Лучше бы ты не металъ бисера...

— А что? Мало свиней?

— Нѣтъ; впрочемъ, мечи!...

— Молодецъ!

Щеголевъ ласково ударилъ меня по плечу.

— Пусть шикаютъ, пусть кричатъ: *довольно*, а я все таки скажу, весело говорилъ онъ.

Я зналъ, что его ожидаетъ, и почти радовался, что,

потерпѣвъ аффронтъ, онъ, можетъ быть, отрезвится и начнетъ глядѣть на вещи, хоть сколько нибудь разумными глазами.

Оба мы пришли даже немного раньше того времени, какое было назначено въ повѣсткахъ, и потому я предложилъ ему прогуляться. Мы ходили довольно долго и Щеголевъ все время толковалъ мнѣ что-то о «презрѣнномъ» Чичеринѣ и о самоуправленіи. Вообще Щеголевъ былъ, что называется, въ своей тарелкѣ, даже противъ обыкновенія, острилъ довольно уклюже. Въ разговорахъ, мы проходили часовъ до шести, и когда воротились въ Думу, застали въ передней довольно порядочную толпу народа. Городской голова Суриковъ снималъ пальто; человѣкъ пятнадцать суетились около, стараясь помочь ему.

— А! Иванъ Николаичъ! Здравствуйте! крикнулъ онъ мнѣ.

Послѣ такого привѣтствія, толпа немедленно разступилась и очистила намъ дорогу.

— Борисъ Андреевичъ Щеголевъ, представилъ я моего пріятеля.

— Очень радъ. Прошу любить да жаловать... Имѣлъ честь знать вашего дядюшку.

— Ну, небольшая честь: онъ былъ пьяница, сухо отвѣтилъ Щеголевъ.

— Ахъ, молодой человѣкъ, кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ! наставительно сказалъ голова.

Щеголевъ обидѣлся.

— Ахъ, пожилой человѣкъ, насмѣшливо качая головой сказалъ онъ, приберегите свои наставленія для себя...

— Пора приниматься за дѣло, сердито сказалъ голова, проходя въ залу.

Я шелъ сзади его; онъ, противъ обыкновенія, здоровался со всѣми очень поспѣшно, торопясь къ своему мѣсту за столомъ. Когда онъ усѣлся, всѣ начали толкаться около стульевъ и я могъ представить Щеголева только двумъ или тремъ человѣкамъ. Ему, впрочемъ, какъ человѣку богатому и извѣстному въ городѣ, все-таки подали стулъ. Онъ сѣлъ рядомъ со мной.

Обыкновенно, у насъ никогда не провѣрялись журналы прошлыхъ засѣданій, но на этотъ разъ голова почему-то вздумалъ прочитать журналъ. Покуда длилась эта формальность, Щеголевъ, замѣтивъ у дверей толпу сибирокъ и долгополыхъ сюртуковъ, обратился ко мнѣ съ вопросомъ — что это за люди.

— Гласные.

— Отчего жъ они не сидятъ вмѣстѣ съ нами?

— Это мѣщане.

— Господинъ предсѣдатель, я требую слова! крик-

нулъ, какъ ужаленный, Щеголевъ, вскочивъ на свои длинныя, шатающіяся ноги.

— Что вамъ угодно? съ важностью спросилъ голова.

— Слова.

— Извольте, съ очевиднымъ недоумѣніемъ отвѣчалъ голова, не понимая въ чемъ дѣло.

— Милостивые государи! насъ выбрали представителями здѣшняго города, но мы, кажется, не достойны названія представителей, съ горячностью началъ Щеголевъ,—не только представителей, но даже людей: мы—скоты...

— Ну братъ, ты совсѣмъ заврался. Сядь! попробовалъ было остановить я его.

— Господинъ предсѣдатель, покорнѣйше прошу призвать этого господина къ порядку...

Онъ указалъ на меня своей длинной ладонью и, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ: «Еслибъ мы были люди, мы бы сидѣли вмѣстѣ съ людьми и не заставляли бы ихъ стоять у дверей. Или мы — боги? Они недостойны насъ? Боги мы? Мы не боги; мы не выше людей. Слѣдовательно мы ниже ихъ... Мы зажирѣвшіе скоты!..

Голова началъ о чемъ-то перешептываться съ сидѣвшими около него гласными.

— Будьте поучтивѣе, сказалъ онъ серьезно, почти строго:—здѣсь есть другіе...

— Кто эти другіе? Кто они? Иноплеменники? Сарматы, Эскимосы, Тунгусы? Вотъ они эти другіе. Они русскіе люди точно такіе же какъ мы, такіе же представители города, какъ мы; отчего они не сидятъ съ нами рядомъ?

— Да онъ ораторъ! — засмѣялся кто-то.

— Филантропъ!

— Эй ребята, выйдите вонъ! крикнулъ голова на толпившихся около дверей гласныхъ. Забыли вы, сударь, пятую заповѣдь, съ укоромъ обратился онъ къ Борису.

— Какая это заповѣдь?

— Чти отца твоего... и чти старше тебя... а есть еще пословица: «чинъ чина почитай.» Они должны знать свое мѣсто, а вы ихъ раздражаете!

— Вы ихъ раздражаете! Кого я раздражаю?

— Да вотъ эту кабацкую сволочь.

— Вы сами кабацкая сволочь! совершенно задыхаясь отъ гнѣва, крикнулъ Щеголевъ.

— Ну, полноте пустяки молоть, миролюбиво замѣтилъ кто-то. Егоръ Петровичъ прикажите подавать водку...

— Это просто ораторъ!

— Я прошу меня выслушать! кричалъ Щеголевъ, стоя на ногахъ передъ сидѣвшими за столомъ.

— Ну, эти ораторства ваши! Ни къ чему они не ведутъ... Перестаньте! убѣдительно совѣтовалъ ему сосѣдъ.

— Перестань глупить, совѣтовалъ и я.

— Когда вы всѣ перестанете глупить, тогда поймете что я не глуплю, тихо сказалъ онъ и изнеможенно опустился на стулъ. Онъ, какъ будто, заснулъ, а вокругъ него жужжали:

— Вы не оскорбляйтесь, Егоръ Петровичъ! Странно!

— Стоитъ на дурака смотрѣть!

— Помилуйте, вѣдь онъ меня назвалъ кабацкой сволочью!

— Сглупа.

— Пустяки!

— Что это долго водку не подаютъ?

— Много сегодня подписывать?

— Какъ здорова Марья Петровна?

— Вѣдь этакой прохвостъ—ораторъ!

— Филантропъ!

— Закрывши глаза и протянувши свои длинныя ноги подъ столъ, Щеголевъ безучастно слушалъ все это до тѣхъ поръ, пока не принесли водку и закуску. Когда началась обычная суетня около стола, чоканье рюмками, шумъ и очень оживленный говоръ (кто-то изъ гласныхъ даже запѣлъ: «наливай сосѣдъ сосѣду, — сосѣдъ любитъ пить вино»). Щеголевъ вскочилъ съ мѣста, выхватилъ изъ кармана тетрадку и началъ рвать ее въ мелкіе клочки.

— Да-съ! злобно заговорилъ онъ. Я думалъ попасть въ собраніе представителей, а попалъ въ кабакъ... Да! пейте, господа, за здравіе... нѣтъ лучше за упокой гражданской честности и здраваго смысла!

Рѣчь эта была произнесена съ такимъ паѳосомъ, что въ залѣ раздался всеобщій хохотъ.

— Ораторъ!

— Филантропъ! ругали Щеголева!

— Дай бы Богъ, хоть одному изъ васъ сдѣлаться ораторомъ, или филантропомъ: все бы въ здѣшней Думѣ однимъ дуракомъ было меньше. Прощайте! я вамъ не товарищъ, господа!

Щеголевъ угрюмо наклонилъ голову и, шатаясь на своихъ длинныхъ ногахъ, вышелъ изъ залы.

На другой день послѣ этаго я заходилъ къ Щеголеву, но не засталъ его дома: у подъѣзда стояла синяя карета и человѣкъ въ голубомъ костюмѣ. Онъ уѣхалъ отъ насъ чуть ли не навсегда...

ТРУЖЕНИЦЫ.

Кто не позавидуетъ судьбѣ Нины Николаевны?— Отецъ — извѣстный, всѣми уважаемый сановникъ и богачъ, любящая мать, почти во всемъ покорная своей дочери, роскошь кругомъ, самая тонкая предупредительность отовсюду, даже со стороны кроткаго старика—отца, готоваго изъ кожи вылезть, чтобы только угодить своей ненаглядной дочкѣ... какъ-бы тутъ, кажется, быть несчастной? А между тѣмъ Нина Николаевна была несчастна. Наряжаться ей давно надоѣло; два-три ухаживателя надоѣли до того, что она начала имъ говорить чуть не дерзости... Стоило бѣдняжкѣ спросить, какова сегодня погода, ей немедленно отвѣчали:

— Прекрасна, какъ вашъ взглядъ!

— Весна улыбается вашей ангельской улыбкой...

— Снѣгъ таетъ, подобно всякому, видѣвшему васъ хоть одинъ разъ!..

— Совершенно вѣрно! Красота ваша имѣетъ дѣйствіе солнца: при видѣ васъ растаетъ даже ледяное сердце...

И тому подобные перлы остроумія разсыпали передъ Ниной Николаевной, бряцая шпорами, разные жрецы Марса, засѣдая въ гостиной или столовой, гдѣ старикъ-отецъ безцеремонно дремалъ послѣ обѣда. Нина Николаевна не любила шумнаго общества, и разъ побывавъ на балу, заклялась никогда не ѣздить больше: ей все гамъ показалось и глупо, и скучно. Во время этого заклятія, у ней, правда, была подруга, ея двоюродная сестра Анна Ѳедоровна, но вотъ уже полгода назадъ, она вышла замужъ и очень рѣдко посѣщаетъ Нину Николаевну. Она осталась одна. Къ отцу ѣздили только старики, такіе-же какъ онъ, да его молодые подчиненные, разговаривавшіе съ начальникомъ стоя на ногахъ, сыпавшіе Нинѣ Николаевнѣ глупые комплименты, бросавшіеся всей толпой для того, чтобы подать платокъ старухѣ-матери, или подставить ей подъ ноги скамейку. Къ матери ѣздили только старушки, хохотавшія до слезъ при воспоминаніи сюжета какого-нибудь дряннаго французскаго водевилишка, поставленнаго въ михайловскомъ театрѣ, а то благочестиво восхищавшіяся басомъ протодьякона Оболенскаго, или ругавшія свою прислугу. Такое общество, конечно, было вовсе не съ руки молодой дѣвушкѣ, кой-чему поучившейся, успѣвшей кое-что прочитать и давно уже почувствовавшей себя выше окружающей ее среды. Скука и тоска одиночества начали грызть Нину Нико-

лаевну; самыя безпокойныя, то глупыя, то тяжелыя мысли не давали ей покоя: она просто готова была даже по временамъ ѣхать на балъ, въ маскарадъ — куда угодно, только-бы разсѣяться. Но и это ей было невозможно: мать страдала въ это время жестокимъ ревматизмомъ, какой-нибудь солидной родственницы не было подъ руками, чтобы сопровождать ее, и бѣдняжка, при этихъ обстоятельствахъ, уже поневолѣ должна была сидѣть дома. Между тѣмъ, чаша тоскливыхъ мыслей просто переполнилась... Въ домѣ были два существа, съ которыми Нина Николаевна могла-бы сойтись хоть отъ скуки и повѣдать имъ свою тоску, но ее брало раздумье: «поймутъ-ли они меня!» — Два эти существа были: ея десятилѣтняя сестра Лида и гувернантка послѣдней, миссъ Гортъ, или, попросту, Марья Ивановна. Миссъ Мери было уже лѣтъ подъ тридцать, но она была еще настолько свѣжа и красива, что могла выйти замужъ, еслибъ только хотѣла. Она была неприступная особа, пила чай и обѣдала въ своей комнатѣ, и ее изрѣдка только можно было видѣть за завтракомъ послѣ уроковъ, которые она давала Лидѣ — минута въ минуту, отъ половины одиннадцатаго до половины втораго. Она всегда была аккуратна, горда и серьезна. Словомъ, къ ней нельзя было приступиться съ нѣжными телячьими рѣчами о голубиной тоскѣ. Это не только понимала, но даже чувствовала Нина Николаевна.

Скука доводила ее до озлобленія, до отчаянія.

— Господи! думалось ей, всѣ заняты! Папа теперь подписываетъ бумаги, мама толкуетъ съ ключницей, Лида играетъ въ куклы и болтаетъ съ нянькой... Вонъ дворникъ мететъ панель: здоровый, веселый, счастливый! Всѣ заняты, всѣ счастливы, всѣ довольны собой... а я... Фу, скука какая! Зачѣмъ я не горничная, не кухарка, не прачка! Вонъ какая-то бѣжитъ черезъ дорогу, съ молочникомъ въ рукахъ, волосы выбились изъ подъ платка, чуть не босикомъ, а какъ весело смѣется, какіе бѣлые зубы! Господи! Зачѣмъ я не на ея мѣстѣ?—Охъ, какая скука! Что-бы такое дѣлать?.. велѣть подать чаю... воды?—Нѣтъ, лимонаду съ краснымъ виномъ... нѣтъ, ужъ лучше чаю... съ лимономъ... или съ сиропомъ... или со сливками... съ чѣмъ?

И долго рѣшаетъ этотъ вопросъ Нина Николаевна. Заказавъ чай, она ждетъ его съ нетерпѣніемъ; но вотъ онъ поданъ, и она сидитъ надъ нимъ, почти не взглянувъ на него. Сидитъ, понуривъ голову, и опять думаетъ, какъ счастлива ея горничная, Катерина, и какъ несчастна она, Нина Николаевна—и чѣмъ-бы ей заняться?—Чѣмъ занята Марья Ивановна? Вѣрно, тоже скучаетъ, только не хочетъ показать виду: горды эти англичанки. Вѣдь она еще молода, что она можетъ дѣлать, запершись въ своей комнатѣ съ утра до вечера?—Этотъ вопросъ раз-

влекъ Нину Николаевну. Она встала и начала ходить по столовой. По временамъ она разсѣянно останавливалась то у угловыхъ столиковъ, то у подоконниковъ, гдѣ валялись разныя русскія и иностранныя книги, разбрасываемыя обыкновенно Ниной Николаевной по всѣмъ комнатамъ. «Дѣло»... «Погоня за наживой», машинально читала она обложку, приподымала книгу и бросала ее на мѣсто, потомъ опять начинала ходить по комнатѣ. Ей стало грезиться, что мисъ Мери скучаетъ одиночествомъ и также несчастна, какъ она. Нинѣ Николаевнѣ стало жаль ее, и она почувствовала вдругъ пламенную любовь къ Марьѣ Ивановнѣ. Ей мечталось, какъ онѣ ласково изольютъ другъ передъ другомъ свои чувства, подадутъ другъ другу руки, и крѣпко пожавши ихъ, рѣшатся вмѣстѣ коротать время, прогнать общими силами этого неотвязнаго тяжелаго демона — скуку. Нина Николаевна, въ совершенной забывчивости, даже вслухъ продекламировала: «Руку, товарищъ, на жизнь и на смерть». Она вздохнула полной грудью, оглянулась и покраснѣла: въ дверяхъ стоялъ лакей и уже въ третій разъ спрашивалъ: «откушали-съ?»

— Можете брать.

И нина Николаевна еще больше покраснѣла; она вспомнила, что даже не прикасалась къ чаю. Ей казалось, что лакей думаетъ: „ишь, съ жиру-то бѣсится! чаю!

Людей только напрасно безпокоитъ". Женщины, какъ говорятъ, обладаютъ большей быстротой соображенія и находчивостью, чѣмъ мужчины.

— Я боюсь пить чай, Порфирій, сказала Нина Николаевна. Да и морсъ этотъ, кажется, очень киселъ... вы не знаете, Порфирій, чѣмъ-бы избавиться отъ ижжоги? Я не знаю, отъ чего у меня ижжога.

— Не прикажете-ли подать просто чернаго хлѣба съ солью? Это помогаетъ.

— Будьте добры.

Уже въ самой скукѣ Нины Николаевны и въ ея недовольствѣ своимъ положеніемъ сказывалась ея горячая энергическая натура, жаждущая чего-то, ищущая чего-то, рвущаяся куда-то. Взбудоражившись, такая натура можетъ надѣлать шибкихъ дѣлъ, и умныхъ и глупыхъ, и хорошихъ и дурныхъ, смотря по обстоятельствамъ. Какъ только завертѣлось въ скучающемъ умѣ Нины Николаевны: „ижжога... ижжога... ижжога...", она сразу рѣшилась немедленно начать дѣйствія для сближенія съ миссъ Мери Гортъ. Ей пришло въ голову, что нѣтъ благовиднѣе предлога придти въ комнату гувернантки съ вопросомъ: какъ бы избавиться отъ ижжоги.

— Нѣтъ, Порфирій, извините меня... я не могу даже глядѣть на хлѣбъ. Извините, что васъ обезпокоила, про-

бормотала она лакею, вносившему хлѣбъ на подносикѣ— и пошла наверхъ, въ комнату гувернантки.

Тихонько подошла она къ двери и робко и тихонько постучала.

— Можно взойти?

— Входите! прозвучалъ серьезный, серебристый голосъ англичанки.

Нина Николаевна уже раскаявалась въ своемъ поступкѣ, тихо отворила дверь и вошла въ комнату. Дѣвушка сидѣла за письменнымъ столомъ и что-то писала. Чистота комнаты, истинно кошачья чистота, даже непріятно поразила Нину Николаевну. Все было на своемъ мѣстѣ, всѣ вещи, какъ солдаты во фронтѣ, стояли чинно, въ порядкѣ...

— Я хотѣла спросить васъ, миссъ Мэри.

Марья Ивановна поднялась со стула, удивленно посмотрѣла на гостью своими большими черными глазами и чинно пригласила ее садиться.

— У васъ, кажется, сыровато, проговорила Нина Николаевна, поднявъ голову и нюхая воздухъ.

— Нѣтъ.

— Скучно вамъ, я думаю, здѣсь.

— Нѣтъ.

— Что это вы читаете? извините за нескромный во-

просъ... бормотала Нина Николаевна, рѣшительно не зная зачѣмъ она пришла и что ей надо говорить.

— Я не читаю. Это я выписываю. Это словарь Даля. Я такъ плохо знаю русскій языкъ! объяснила Марья Ивановна.

— И что же... вы?... вы?...

— Я хочу поучиться, узнать.

— Вѣдь вы хорошо говорите по-русски.

— Этого мнѣ мало... я хочу знать языкъ... Я каждый день работаю надъ этимъ три часа... звучный русскій языкъ, на немъ, я думаю, легко стихи писать.

— Вы думаете писать стихи? почти насмѣшливо спросила Нина Николаевна.

— Нѣтъ, скромно и серьезно отвѣтила гувернантка. У меня есть мечта... Я не хочу вернуться домой съ пустыми руками... Я бѣдная, не богатая, не то что вы: мнѣ надо работать, чтобы жить.

Слова эти были произнесены такимъ невыразимо презрительнымъ тономъ, съ такою гордостью, что Нина Николаевна готова была заплакать отъ оскорбленія.

— Я пришла васъ спросить, не знаете ли вы какого нибудь средства противъ ижжоги. Меня мучитъ ижжога, пробормотала Нина Николаевна, положительно потерявшись при сознаніи, что ея посѣщеніе глупо и неловко.

— Кушайте мѣлъ, холодно и оскорбительно отвѣтила англичанка.

— Извините, что я васъ обезпокоила.

— Ничего. До свиданія!

Нина Николаевна вышла отъ гувернантки униженная, подъ тяжестью сознанія всей нелѣпости своего поступка. — «Она занята, она учится, а я!», думала Нина Николаевна, а слезы горькаго оскорбленія текли у ней изъ глазъ. Какъ на зло ей попался номеръ газеты, съ объявленіемъ: *циркъ дрессированныхъ, ученыхъ блохъ.* — «Блохъ учатъ, блохи учатся, а я?!... Да гдѣ учиться, да чему учиться—охъ, Господи, и все это безполезно и скучно!»

Нина Николаевна готова была зарыдать, когда около нея послышались спѣшные шаги и шелестъ платья.

— Нинка! милая, глупая!

И она очутилась въ объятіяхъ своей двоюродной сестры.

— Какъ поживаешь? Ты плакала!

— Какъ ты поблѣднѣла, Аня!

— Что дядя, тетя?

Послѣ множества отрывочныхъ восклицаній, когда подруги усѣлись, Анна Ѳедоровна начала разсказывать про свои дѣла.

— Ахъ, Нина, голубчикъ! ни за что, ни за что не выходи замужъ! Нина! Я въ аду...

Въ глазахъ Анны Ѳедоровны засверкали слезы.

— Въ аду... скука, тоска: не знаю за что взяться... Я убѣгу отъ него когда-нибудь, Ниночка...

— Что-же онъ?

— Толкуетъ мнѣ о какихъ-то глупѣйшихъ приличіяхъ... «брось завиральныя идеи»... Такъ мнѣ надоѣло, надоѣло—читать, ходить, пить, ѣсть, смотрѣть даже на свѣтъ Божій!.. Такъ все скучно, однообразно, пошло... Хоть-бы захворала я для разнообразія, или бѣда со мной какая случилась! Нѣтъ!

— Аня! Милая! Ты страдаешь также, какъ я! со слезами кинулась Нина Николаевна на шею своей подруги.

Подруги цѣловались и обливались слезами.

— Третьяго дня... говорила Анна Федоровна—третьяго дня, говорю ему, что поступлю въ акушерки, а онъ говоритъ: «полно дурить, прими валерьяновыхъ капель?.. А я уйду, уйду, уйду въ акушерки! Поставлю на своемъ: уйду! Все брошу, бѣгу отъ него—и уйду...

Всхлипыванья задавили слова Анны Федоровны.

— Аня! Я съ тобой... Меня здѣсь стѣны давятъ... бѣжимъ, будемъ жить свободно, дышать вольнымъ воздухомъ, учиться... Вѣдь есть и доктора женщины!

— Кашеварова и Суслова... сквозь слезы пробормотала Анна Федоровна.

Дня черезъ два, горничная Катерина, взойдя въ комнату Нины Николаевны, противъ обыкновенія, не застала своей барышни въ постели... На столикѣ лежало письмо. Когда старикъ-отецъ, прочиталъ, онъ задрожалъ весь, и съ нимъ чуть не сдѣлался ударъ.

— Воды! прохрипѣлъ онъ, воды! И держась одной рукой за столъ, началъ было подносить поданный стаканъ къ губамъ, но онъ изъ сильно дрожавшей руки вылетѣлъ на полъ. Болванъ! крикнулъ старикъ на лакея. Пошелъ вонъ!

Такую грубость въ первый разъ слышала отъ него прислуга. Старикъ опять началъ тупо смотрѣть въ письмо. Тамъ было написано: „Простите меня, я должна разстаться съ вами во имя науки; меня заставляетъ сдѣлать этотъ рѣшительный шагъ то-же чувство жажды просвѣщенія, которое заставило Ломоносова покинуть свой родной кровъ. Не ищите меня до тѣхъ поръ, пока не услышите чего нибудь о докторѣ медицины Нинѣ Сабориной. Я не отступлю отъ своей цѣли. Цѣлую васъ и благодарю за все. Дочь Нина Саборина».

— За что это? твердилъ старикъ. Кто ей мѣшалъ или запрещалъ учиться? Куда она пойдетъ?.. безъ денегъ, молодая, неопытная...

Старикъ чуть не оборвалъ сонетку, и весь дрожа, крикнулъ: «одѣваться, скорѣе одѣваться!»

Въ это-же утро мужъ Анны Федоровны читалъ слѣдующую записку: «Милостивый государь! Я не могу больше выносить вашей тираніи. Я ухожу на всегда. Не ищите меня: это безполезно. Когда нибудь узнаете о докторѣ медицины, вашей покорнѣйшей слугѣ, Аннѣ Альковской, а если не узнаете, такъ и не нужно. Я твердо рѣшилась учиться, и къ какимъ-бы результатамъ не привело меня это рѣшеніе, я не отступлю отъ него. А. А.»

Альковскій спокойно обошелъ съ письмомъ въ рукахъ комнаты своей жены, заглянулъ въ комодъ, заперъ все на замки и ключи положилъ въ карманъ.— «Даже бѣлья, дура, не взяла!» смѣясь пробормоталъ онъ. «Эхъ, вы—доктора медицины!»

— Степанъ! крикнулъ онъ лакею. Скажи повару, что обѣда сегодня не надо... барыня уѣхала на богомолье къ Сергію, въ монастырь, можетъ быть будетъ говѣть... Я обѣдать дома не буду.

Черезъ минуту старикъ Саборинъ въ попыхахъ тормошилъ руку Альковскаго.

— Гдѣ Анюта?.. Онѣ были такія подруги... она должна знать, гдѣ Нина! почти кричалъ онъ.

— А! И Нина Николаевна! Значитъ, онѣ вмѣстѣ...

Альковскій осторожно приперъ двери и прибавилъ: «вмѣстѣ ушли въ доктора медицины. Вотъ письмо».

— Ахъ, ты Господи! Что онѣ дѣлаютъ? Гдѣ онѣ те-

перь? Ахъ, сумасбродки! Надо ихъ искать! Поѣдемте къ оберъ-полиційместеру, съ волненіемъ говорилъ старикъ.

— Зачѣмъ? для чего ихъ искать! сами скоро прійдутъ!—у моей ни паспорта, ни денегъ — даже бѣлья съ собой не захватила.

И Нина тоже! печально проговорилъ старикъ.

— Ну, значитъ, не сегодня, завтра явятся... Нечего попусту и огласку дѣлать. Знаете, я радъ даже, что жена сбѣжала въ доктора: просмакуетъ каково легко это докторство достается, дурь-то изъ головы выйдетъ; явится шелковой... Дайте имъ, Николай Иванычъ, побаловать!

Старикъ долго спорилъ съ Альковскимъ, ничего всетаки не рѣшилъ, но значительно успокоился, хотя и воротился домой въ какомъ-то раздумьи: подождать дескать, авось и въ самомъ дѣлѣ воротятся.

Согласно условію, въ восемь часовъ утра, у подъѣзда публичной библіотеки сошлись обѣ бѣглянки. Анна Федоровна схватила руки Нины и съ хохотомъ, сквозь слезы, начала трясти и жать ихъ.

— Мы свободны! Какое счастье!

Онѣ обѣ радостно засмѣялись и игриво повернулись на каблучкахъ, чуть не съ готовностью потанцовать не много на улицѣ. Онѣ были веселы, какъ разъигравшіеся котята, поздравляли другъ друга, смѣялись и цѣловались.

По раскраснѣвшимся лицамъ текли радостныя слезы, но онѣ ихъ не замѣчали, и держа другъ друга за руки, шли впередъ, куда глаза глядѣли. Обѣ груди дышали полнотою счастья. Шли наши дамочки и шли, будто танцуя, и имъ хотѣлось запѣть что-нибудь веселое... Первая опомнилась отъ радости Нина Николаевна.

— Пойдемъ прямо въ родовспомогательное заведеніе: скоро девять часовъ... узнаемъ, сказала она.

— А гдѣ это родовспомогательное заведеніе?

— Не знаю. Господинъ городовой, не знаете-ли вы, гдѣ находится родовспомогательное заведеніе?

Городовой подозрительно посмотрѣлъ на таліи обѣихъ дамъ, на ихъ богатыя бархатныя шубки, на собольи муфты, и, сдѣлавъ подъ козырекъ, торопливо объяснилъ, что такое заведеніе находится близехонько, а именно въ Надеждинской улицѣ. Обѣ бѣглянки скорымъ шагомъ, почти съ припляской, весело посмѣиваясь, направились, куда было указано. Швейцаръ почтительно снялъ съ нихъ бархатныя шубки и помогъ снять калоши.

— Вотъ здѣсь будетъ контора-съ, пожалуйте-съ.

Шумомъ своихъ шелковыхъ платьевъ они разбудили дремавшаго письмоводителя. Онъ вскочилъ на ноги и почтительно объяснилъ моимъ героинямъ, что надо подать прошеніе на имя директора, съ приложеніемъ письменнаго согласія родителей, или мужа, если таковой

имѣется, на поступленіе ввѣренной ихъ попеченіямъ женщины въ акушерки; буде-же ни родителей, ни мужей не имѣется, то къ прошенію слѣдуетъ присовокупить одобрительное свидѣтельство полиціи о поведеніи.

— Вездѣ рогатки противъ женскаго труда! насмѣшливо проговорила Анна Ѳедоровна. — Наши тираны ни за что не дадутъ намъ своего согласія, добавила она, выйдя на улицу. Но мы не отступимъ отъ своей цѣли!— Мы купимъ книгъ и будемъ заниматься; покажемъ, что и русская женщина самодѣятельна.

— А гдѣ мы будемъ жить Аня?

— Надо нанять квартиру гдѣ-нибудь подальше... Только вотъ-что, у насъ нѣтъ денегъ, вѣдь надо за квартиру впередъ платить, озабоченно и смущенно сказала Анна Ѳедоровна. Положимъ, послѣ мы достанемъ переводы, переписку — заплатимъ, да вѣдь намъ не повѣрятъ!.. А? Ниночка!

Ниночка шла задумавшись.

— Знаешь, что, Аня, откликнулась она, — у насъ нѣтъ денегъ... я читала въ газетахъ, есть гдѣ-то господинъ Карповичъ, который даетъ деньги подъ вещи, подъ залогъ: дадимъ ему наши сережки — къ чему намъ сережки?—онъ дастъ намъ денегъ. Ахъ, да ты не надѣла и сережекъ.

— У меня есть колечко, отдадимъ его. Господинъ

городовой, не знаете-ли вы гдѣ тутъ живетъ господинъ Карповичъ, который даетъ деньги...

Господинъ городовой опять сдѣлалъ подъ козырекъ и указалъ, гдѣ живетъ господинъ Карповичъ.—Какъ воры, притаились обѣ бѣглянки въ темномъ уголку на лѣстницѣ; Нина Николаевна вынула изъ ушей серьги, а Анна Ѳедоровна сняла съ руки колечко. За обѣ вещи, стоющія по крайней мѣрѣ восемдесятъ рублей, г. Карповичъ сразу далъ десять рублей. И какъ обрадовались мои героини! Онѣ почти бѣгомъ побѣжали по Невскому, спросивъ у перваго встрѣтившагося имъ господина городоваго, какъ пройти на Петербургскую сторону. Обѣ онѣ имѣли очень слабое понятіе объ извощикахъ, а потому все шли пѣшкомъ, и перейдя Тучковъ мостъ, очень утомились. Началось исканіе квартиры.

— Вотъ, Аня, билетикъ: отдается комната.

— Охъ, какая вонь!—Здѣсь отдается комната? Что стоитъ?

— Шесть рублей.

Разсматривали комнату и находили, что помѣщеніе ничего себѣ, *покуда*, надо только поставить диванъ. Хозяйка и на это соглашалась.

— Когда-же вы переѣдите?

— Да мы сейчасъ... намъ-бы отдохнуть... вамъ нужно впередъ?.. у насъ ничего больше нѣтъ... потомъ...

— А паспорта при васъ? подозрительно спрашивала хозяйка.

— Нѣтъ.

— Нѣтъ — такъ ужъ вы... извините... правило-съ! штрафъ! справьтесь съ паспортами!

Бѣдняги обходили чуть не половину Петербургской стороны;—почти вездѣ повторялась та-же исторія, вездѣ безпаспортныя странницы въ бархатныхъ шубкахъ, безъ всякаго другаго имущества, вызывали подозрительные и удивленные взгляды и вопросы. Наконецъ, онѣ совершенно утомились. Тутъ Аннѣ Ѳедоровнѣ пришло на мысль употребить въ дѣло хитрость; солгать, что они только-что пріѣхали изъ Москвы, и что ихъ паспорта и вещи ѣдутъ еще по желѣзной дороги. Хитрость удалась. Какой-то пропоецъ — сапожникъ отдалъ имъ комнату за десять рублей. Тотчасъ-же ему была вручена десятирублевка, полученная отъ г. Карповича, и наши дамы въ окончательномъ изнеможеніи опустились — одна на кровать, другая на диванъ.

— Не прикажете-ли самоварчикъ съ дорожки-то?

— Нѣтъ, у насъ вѣдь нѣтъ чаю. Ничего не нужно: не безпокойтесь.

И черезъ минуту оба будущихъ доктора медицины, не снимая даже своихъ шубокъ, заснули сномъ невинныхъ дѣтей. Часа черезъ два ихъ разбудили громкіе кри-

ки. Получивъ десять рублей, сапожникъ успѣлъ уже напиться на радостяхъ, пообѣдать и лечь съ женой спать.— «Пошла вонъ! кричалъ онъ женѣ — моя перина!»—Мое одѣяло! кричала жена.—«Бери его, и пошла вонъ! Я и безъ одѣяла! съ удовольстві-ими-емъ пшолъ»!

Нина Николаевна испугалась.

— Голубка, Аня, что это такое?

— Ругаются... Ахъ, Ниночка, какъ мнѣ ѣсть хочется...

— Мнѣ самой... Скоро мы выставимъ это окно и будемъ здѣсь заниматься.

— Стѣны увѣсимъ картами...

Но разговоръ для отстраненія щекотливыхъ воспоминаній объ ѣдѣ не клеился. Обѣ бѣглянки начали тоскливо прохаживаться по комнатѣ. Стукали часы, храпѣлъ сапожникъ, кругомъ было все тихо, все чуждо и неизвѣстно, точно пустынный островъ.

— Ахъ, какъ скучно!

— Ахъ, какъ скучно!

Ни та, ни другая больше ничего не говорили, боясь какъ-нибудь невольно задѣть щекотливый вопросъ объ ѣдѣ. Пробило три часа, пробило четыре, пробило пять, пробило шесть... Бѣдняжки ходили изъ угла въ уголъ— и томились, и скучали, и тосковали... Передъ ними уже вставалъ роковой вопросъ: «что дѣлать, что будетъ дальше, что ихъ ожидаетъ». Обѣ избалованныя, сильныя,

молодыя женщины, далеко непривыкшія къ терпѣнію, скоро отступили передъ голодомъ. Да и глупо было терпѣть неизвѣстно для чего, не имѣя въ виду никакого исхода, ничего не ожидая, ни на что не надѣясь.

— Аня, сказала вдругъ Нина Николаевна. Намъ нужны деньги. Я вотъ что придумала. Катя мнѣ очень предана: у ней есть деньги, я съѣзжу къ ней и возьму денегъ .. по дорогѣ заѣду во фруктовую лавку и куплю ветчины...

— Ахъ, какъ-бы это было хорошо! — Ты поскорѣй, Ниночка. Ахъ, какъ это скучно! Ну, скорѣй, скорѣй!

Обѣ заторопились, засуетились, засмѣялись, расцѣловались, и Ниночка убѣжала. Сколько позволяли ей силы она почти бѣжала до дому: бѣдняжка боялась нанять извощика, да и не знала, какъ это сдѣлать. Тихонько, по черной лѣстницѣ, Нина Николаевна пробралась въ кухню—ахъ, какъ тамъ вкусно пахло! и попросила вызвать Катю, воображая, что подъ вуалью ее никто не узнаетъ; но—увы! прежде чѣмъ пришла Катя, Порфирій уже доложилъ, что барышня воротилась... Старикъ бѣгомъ прибѣжалъ на кухню.

— Ниночка! голубка! не стыдно тебѣ!.. дрожащимъ голосомъ бормоталъ онъ, цѣлуя дочь. Хотѣла учиться, сказала-бы... училась-бы... я-ли мѣшалъ тебѣ?.. учись! учись!

Нина Николаевна потерялась, зарыдала, захлебываясь слезами, прошептала: «простите»—и начала цѣловать руки отца. Старикъ едва ссилилъ утащить ее изъ кухни... «Я голодная», прошептала она, идя съ отцемъ по корридору, и опять разлилась слезами.

— Бульенъ! бифстексъ! что тамъ? кто тамъ? заоралъ старикъ.

— Папа, я не хочу больше въ акушерки... и въ доктора, рыдала Нина Николаевна.

— Успокойся, успокойся, моя крошка! Не надо въ доктора... зачѣмъ въ доктора?

Анна Ѳедоровна безполезно прождала свою подругу до девяти часовъ; стемнѣло, свѣчи не было... скука... голодъ... тоска ожиданія. Когда пробило десять часовъ, Анна Ѳедоровна, потерявъ всякое терпѣніе, по привычкѣ, начала искать сонетку, но потомъ, опомнившись, кликнула хозяина и удивила его приказаніемъ во чтó-бы то ни стало привести карету.

— Сколько давать-съ? рубля два...

— Что спроситъ, давайте: десять! пятьнадцать! двадцать!! только поскорѣе!

Сапожникъ бѣгомъ побѣжалъ за каретой.

Альковскій чертилъ въ своемъ кабинетѣ какой-то проектъ какого-то веревочно-балочнаго моста, когда лакей доложилъ ему, что барыня воротилась и проситъ ключи.

— Гдѣ она?

— Въ столовой-съ.

— Иди къ себѣ.

Анна Ѳедоровна сердито ходила по комнатѣ.

— Здравствуйте, господинъ докторъ.

— Вы смѣетесь!

— Да какъ надъ вами, глупенькими, и не смѣяться-то! ласково сказалъ Альковскій, обнимая жену. Мужчины теряютъ силы въ борьбѣ съ нуждой, въ студенчествѣ, а вы... Эхъ вы доктора медицины!

Спрятавъ свое лицо подъ мышкой мужа, Анна Ѳедоровна прошептала: «перестань смѣяться!» Мужъ хлопнулъ ее ладонью по спинѣ и спросилъ: „многому научилась?“

— Вася! не смѣйся, не оскорбляй! Я сама себя довольно оскорбила... осмѣяла...

И Анна Ѳедоровна залилась слезами.

— Ну, ну, будетъ. Въ доктора больше не пойдешь?

— Нико-о-о-гда! Вася, милый!.. ты не тиранъ! Никогда не пойду въ доктора!!.

ДВА НИГИЛИСТА.

Одни переѣзжаютъ на дачу для удовольствія, другіе — для здоровья, третьи изъ экономіи — и, наконецъ, есть люди, переѣзжающіе на дачу за дѣломъ, какъ напр., живописцы. Генералъ Антонъ Львовичъ Конопляниковъ тоже кажется переѣхалъ на дачу за дѣломъ. — Ему хотѣлось посмотрѣть бытъ простолюдиновъ, о которыхъ столько толкуютъ и печатаютъ въ послѣднее время. — Дѣло въ томъ, что Антонъ Львовичъ вовсе не былъ похожъ на всѣхъ другихъ генераловъ. Онъ самъ меньше всѣхъ сознавалъ и вѣрилъ, что онъ точно состоитъ въ генеральскомъ чинѣ. Во снѣ онъ никогда не видалъ себя не только генераломъ, но ни разу не видѣлъ себя даже оберъ или штабъ-офицеромъ: онъ всегда видѣлъ себя кадетомъ, каковымъ и былъ въ дѣйствительности, не смотря на свой чинъ. Откровенный, прямой, великодушный, беззаботный — онъ смотрѣлъ на міръ Божій смѣлыми и веселыми глазами.

По выходѣ изъ корпуса, двадцатилѣтнимъ юношей, онъ попалъ въ полкъ и въ теченіе тридцати пяти лѣтъ

рѣшительно не замѣчалъ, что онъ уже внѣ корпуса: тѣ же товарищи, тоже веселье, тѣ же мысли и чувства. Правила товарищества Антонъ Львовичъ соблюдалъ какъ святыню, и для товарища никогда ни на минуту не задумался бы пожертвовать не только послѣдней рубашкой, но и жизнью.—Не даромъ, даже на Кавказѣ, его называли—то Баярдомъ, то Донкихотомъ. Замѣчательно, что, несмотря на всѣми признанную безупречную храбрость генерала, несмотря на то, что всякая малѣйшая несправедливость, даже относительно послѣдняго профоса, вызывала пѣну на его губахъ,—онъ никогда не дрался на дуэли, которыя, какъ извѣстно, были тогда въ большой модѣ.—Разъ, еще въ молодости, онъ поссорился съ однимъ изъ своихъ товарищей и ударилъ его по щекѣ; когда прошла горячка, Антонъ Львовичъ горько въ этомъ раскаявался и со слезами просилъ извиненія у обиженнаго, но полковые бретеры рѣшили, что надо смыть оскорбленіе кровью. Тогда Антонъ Львовичъ самымъ рѣшительнымъ образомъ объявилъ, что въ товарища, да еще имъ же обиженнаго, онъ стрѣлять не будетъ, а если ужъ такъ необходимо обмывать оскорбленія кровью, «поѣдемъ сейчасъ за цѣпь и пусть онъ убьетъ меня». Такое предложеніе, конечно, не было принято и къ грусти бретеровъ, они даже не могли имѣть утѣшенія въ обвиненіяхъ Антона Львовича въ трусости...

Лѣтъ двадцати-пяти, молоденькимъ поручикомъ, Антонъ Львовичъ влюбился и женился. Очень можетъ быть, что поживъ долго около женщины, въ семействѣ, онъ пересталъ бы быть кадетомъ, но, къ сожалѣнію, жена его умерла отъ первыхъ родовъ, оставивъ ему сына. Антонъ Львовичъ отправилъ ребенка въ усадьбу къ тестю, и опять зажилъ одинокимъ холостякомъ, не имѣющимъ другихъ привязанностей, кромѣ привязанности къ веселому, а часто и разгульному товариществу. Но среди всѣхъ передрягъ военной жизни онъ часто вспоминалъ о сынѣ и, часто скучая на долгой стоянкѣ въ какой-нибудь заброшенной станицѣ, мечталъ выпросить отпускъ и поскакать въ Россію, повидать своего наслѣдника. Это были бурные дни Кавказа, и четырехмѣсячный отпускъ получить было очень трудно, (а четырехмѣсячный отпускъ былъ необходимъ: тесть со своимъ семействомъ и сыномъ Антона Львовича жилъ въ это время въ Петербургѣ) да Антонъ Львовичъ и не просилъ его ни разу; и какъ только кончалась скучная стоянка, въ походѣ, на бивуакахъ, въ радостныхъ безпокойствахъ при ожиданіи *дѣла*, онъ забывалъ свою завѣтную мечту.

Наконецъ окончилось тридцатипятилѣтіе службы Антона Львовича; къ этому времени окончилось уже все на Кавказѣ, жизнь стала не та — какъ будто не такъ вольна и просторна, воздухъ какъ будто сталъ не такъ

чистъ и легокъ, скучно стало старымъ удальцамъ... Антонъ Львовичъ подалъ въ отставку.—Цѣлую недѣлю продолжались проводинныя торжества. Всѣ любили генерала—Баярда, и не жалѣли всякихъ овацій, чтобы выказать ему свое расположеніе и любовь.

Вотъ онъ, въ сопровожденіи своего деньщика Вавилова, массивнаго старика, не разстававшагося съ бариномъ въ теченіе тридцати пяти лѣтъ и, конечно, привязавшагося къ нему лучше всякой собаки, подъѣзжаетъ къ Петербургу въ купэ перваго класса. — Шесть часовъ утра.—Вавиловъ, завернувшись въ шинель съ бобровымъ воротникомъ, дремлетъ, ворочая своими сѣдыми усищами, какъ здоровый сибирскій котъ; не дремлетъ генералъ. Ему ясно и трепетно представляется его сынъ красавецъ—мужчина, четырнадцати вершковъ ростомъ, съ открытымъ взглядомъ, съ рѣшительными манерами; представляется невѣстка (сынъ уже женился) полная, сдобная, вожеватая красавица съ богатырскою грудью и съ косой до пятокъ.

— Вавиловъ, весело говоритъ генералъ, выпьемъ рому: черезъ три четверти часа мы будемъ въ Петербургѣ.

Проворно отрѣзываетъ Вавиловъ пластинку лимона и на кончикѣ ножа, вмѣстѣ съ кусочкомъ сахару, преподноситъ ее генералу.—Генералъ пьетъ ромъ съ удовольствіемъ, по старому, точно послѣ длиннаго перехода, усталый и измученный, пьетъ не залпомъ, а потихоньку.

— Пей и ты, Вавиловъ. Увидишь здѣсь и государя и моего Антошку.—Ты все твердилъ: царя бы повидать, въ гробъ-бы легъ спокойно — вотъ и увидишь... Весело тебѣ? а?

— Весело, ваше превосходительство.

Слова *ваше превосходительство* Вавиловъ произноситъ отчетливо и рѣзко, точно изъ пистолета стрѣляетъ.— Въ своей компаніи онъ гордо, недоступно и величественно говоритъ: «слава Богу, мы дослужились до генераловъ, а вы... вотъ мнѣ его превосходительство часы подарилъ, чтобы будить его превосходительство послѣ обѣда».—И точно пули изъ дула летятъ слова этого огромнаго человѣка изъ огромныхъ кузнечныхъ мѣховъ, вставленныхъ вмѣсто легкихъ, подъ желѣзомъ его шестнадцати-вершковой груди, покрытой, какъ у лошади, густой шерстью.—Этотъ Вавиловъ былъ истиннымъ дядькой генерала. У Вавилова находились всѣ генеральскія деньги, все генеральское имущество; Антонъ Львовичъ рѣшительно не зналъ даже сколько у него рублей или паръ платья, и нисколько не удивлялся, если къ нему являлся портной снимать мѣрку по распоряженію Вавилова: значитъ нужно.

— Вавиловъ, а сколько у насъ денегъ? иногда на смѣхъ спрашивалъ Антонъ Львовичъ.

— Пятитысячный билетъ... триста сотенными, да

рублей шестьдесятъ мелочи будетъ, ваше превосходительство! отчеканивалъ Вавиловъ.

— Молодецъ! Вотъ что — ты отдай мои рейтузы и кафтанъ, вотъ этотъ... вотъ виситъ — себѣ перешить... Молодецъ!

— Радъ стараться!

— Такъ возьми. Вели сдѣлать сюртукъ...

— Послѣ. Сами еще поносите, ваше превосходительство.

Въ разныя блаженныя минуты генералъ дарилъ Вавилову сотенныя и полусотенныя бумажки, тотъ бралъ ихъ съ усмѣшкой, и говорилъ: «я вашъ и деньги ваши, ваше превосходительство!» Да и на что были нужны деньги Вавилову! Онъ мечталъ умеретъ у гроба своего господина, а въ текущей жизни онъ былъ всѣмъ обезпеченъ, даже его пристрастіе къ спиртнымъ напиткамъ вполнѣ удовлетворялось на хозяйскій счетъ. Генералъ изрѣдка только, убѣдившись, что въ теченіи дня, Вавиловъ изволилъ осушить четверть водки, говорилъ ему: «смотри, Вавиловъ, вѣдь это вредно: у тебя катаръ желудка сдѣлается, расширеніе печени».

— Это у нѣмцевъ бываетъ, ваше превосходительство, а русскому—чѣмъ больше выпьетъ, тѣмъ здоровѣе!

И веселые, съ самыми золотыми упованіями выходятъ на дебаркадеръ Николаевской желѣзной дороги оба

друга—именно *друга*—генералъ и его слуга Вавиловъ.—Ѣдутъ въ гостинницу «Демутъ», нагрузивъ имперіалъ кареты своими чемоданами и ящиками, дико смотрятъ на высокіе дома, на густую толпу, на множество экипажей, дико слушаютъ этотъ оглушающій вѣчный шумъ, гулъ и грохотъ большаго города.

На утро горькое разочарованіе.

Вмѣсто четырнадцативершковаго браваго мужчины, передъ генераломъ предсталъ, въ лицѣ его сына, небольшой, сухощавенькій штафирка, съ большой лысиной на головѣ, сутуловатый, съ бритой бородой и усами, такъ что верхняя губа и подбородокъ отливали синевой; на носу pince-nez; верхняя синяя губа какъ-то дрожитъ и сжимается при произнесеніи словъ, будто боится обличить черные и кривые зубы. «Онъ франтъ и щепетильная недотрога», сразу подумалъ генералъ.

Невѣстка оказалась маленькой, чернозубой и чорненькой, какъ уголь бабеночкой—точно она была выточена плохимъ токаремъ изъ чорнаго дерева. Манеры молніевидныя и угловатыя, того и гляди — либо что разорветъ, либо разобьетъ. Грудь впалая, нога широкая, руки короткія, разговоръ съ превеликой претензіей: она родомъ княгиня.

Не того ожидалъ Антонъ Львовичъ, и грустно вышелъ изъ параднаго подъѣзда со своимъ сыномъ, кото-

рый отправлялся куда-то по дѣламъ. Въ каретѣ ждалъ генерала Вавиловъ.

— Видѣлъ сына?

— Сухощавы! — вѣрно отъ многихъ занятій. И народъ здѣсь! Одной рукой всякаго можно поднять, ваше превосходительство! А у насъ теперь, въ Сибири: меньше десяти пудовъ мужчины нѣту: котъ, и тотъ полпуда вѣситъ!..

Хотя генералъ былъ нѣсколько офраппированъ манернымъ обращеніемъ своего сына, но все-таки рѣшился сблизиться съ нимъ на короткую, товарищескую, полковую ногу.

Разъ, сидя въ великолѣпной квартирѣ сына, передъ серебрянымъ самоваромъ, рядомъ съ которымъ чорная Людмила Ивановна (такъ звали невѣстку) казалась еще чернѣй, Антонъ Львовичъ рѣшился затѣять съ сыномъ фамильярный разговоръ, по полковому.

— Скажи, братецъ, пожалуйста — что это значитъ *нигилистъ*, что такое—*нигилистъ?* спросилъ онъ.

Сынъ обсерьезился, закачалъ своей сутуловатой спиной, надѣлъ pince-nez на носъ, прижмурилъ глаза, вытянулъ свои синія губы и заговорилъ:

— Щепетильные люди переводятъ это слово словомъ мазурикъ, одинъ писака выставилъ даже подъ именемъ нигилиста какого-то Марка Волохова, не презирающаго

даже красть яблоки... Другіе подъ словомъ *нигилистъ* понимаютъ, что это ни больше ни меньше, какъ человѣкъ, желающій честно служить обществу, не урывать у другихъ изо рта куски, человѣкъ, не желающій кланяться и подличать!

Генералъ вскипѣлъ.

— Я честно служилъ: я не урывалъ пайки у солдатъ, я имъ отдавалъ свое, я не кланялся, не подличалъ! вскричалъ генералъ.—Неужели я нигилистъ?!

— Нигилистъ.

— А ты?

— Я, какъ мировой судья, честно служилъ обществу, не бралъ взятокъ и тоже не кланялся, гордо отвѣтилъ сынъ, и снялъ pince-nez, въ знакъ того, что разговоръ долженъ быть конченъ.

Вообще генералъ всегда порывался поговорить съ сыномъ, что называется, *по душѣ*, тотъ былъ всегда напыщенъ и холоденъ, какъ мокрая тряпица. Генералъ переставалъ его любить и начиналъ думать о немъ съ сожалѣніемъ. Часто прохаживаясь по комнатѣ, онъ останавливался передъ трюмо, осматривалъ свою широкую грудь, свою большую голову, свои широкія плечи — и думалъ: «точно-ли этотъ малюсенькій, чистенькій и солидненькій штафирка—сынъ мой?»

Одинъ случай сдѣлалъ отца и сына просто, какъ

будто, чужими. Весной, около полуночи, они вдвоемъ возвращались пѣшкомъ изъ какого-то клуба, гдѣ какъ дьячекъ, пѣлъ г. Монаховъ, какъ бурсакъ читалъ стихи г. Никитинъ, какъ уличный паяцъ кривлялся г. Горбуновъ. Мостъ на Фонтанкѣ, съ моста кидается мужикъ въ воду.

— Городовой! кричитъ Антонъ Антоновичъ, и бѣжитъ отыскивать городоваго.

— О, проклятая штафирка! восклицаетъ отецъ и бросается въ воду, вслѣдъ за утопающимъ.

Вытащивъ несчастнаго мужика изъ воды, генералъ шаритъ во всѣхъ своихъ карманахъ: нѣтъ ни копѣйки: всѣ у Вавилова. Сынъ подходитъ съ городовымъ.

— Третій день голодомъ... безъ паспорта... лепечетъ, стуча зубами, спасенный мужикъ.

— Тоня, говоритъ отецъ сыну, дай ему пожалуйста десять рублей, я тебѣ послѣ отдамъ... довольно десяти рублей на паспортъ?

— Городовой, возьми! вотъ тебѣ пятнадцать копѣекъ!

Сынъ накидываетъ на носъ pince-nez, и прибавляетъ, что этотъ народъ баловать не слѣдуетъ, что въ Петербургѣ много мазуриковъ. Отецъ съ негодованіемъ идетъ рядомъ съ сыномъ до перваго трактира, чтобы раздѣться, обсушиться, и подождать пока сынъ извѣститъ обо всемъ Вавилова и Вавиловъ привезетъ другое бѣлье и платье.

Генералъ просто сталъ холоденъ къ сыну. Разъ, идя съ нимъ подъ ручку, Антонъ Львовичъ спросилъ: такъ ты нигилистъ»?

— Да... въ честномъ смыслѣ этого слова, отвѣчалъ сынъ, поправляя pince-nez.

— Мнѣ кажется — я нигилистѣе тебя! засмѣялся генералъ.

Антонъ Антоновичъ былъ мировымъ судьею въ одной изъ сосѣднихъ съ Петербургской губерній. Онъ жилъ въ великолѣпной усадьбѣ своей жены, гдѣ была отлично отдѣлана судейская камера, но жилъ только лѣтомъ, а зимой онъ имѣлъ резиденцію въ Петербургѣ, и наѣзжалъ въ свой участокъ разъ въ недѣлю, а то разъ и въ двѣ недѣли. — Вотъ пора перебираться на дачи.—И генералъ не безъ удовольствія согласился пожить у сына этакъ мѣсяцъ другой въ деревнѣ, а Вавиловъ просто былъ въ восторгѣ. — «Косить стану»! говорилъ онъ Антону Львовичу.—И вспоминалось, можетъ быть, старику, что назадъ тому сорокъ лѣтъ онъ былъ первымъ косцомъ въ своей деревнѣ, самымъ ловкимъ и красивымъ парнемъ.

Вотъ и на дачѣ. Наблюденія генерала надъ простолюдинами начались почти съ перваго-же дня: нарядившись въ полную парадную форму, онъ чинно явился на судоговореніе въ камеру своего сына. Все очень понра-

вилось генералу; сынъ тихо и разумно разсматривалъ дѣла и спокойно постановлялъ рѣшенія резонныя и справедливыя. Сначала разбирались гражданскія дѣла. Рѣшеніе сына по послѣднему изъ нихъ нѣсколько удивило генерала. Восемь человѣкъ рабочихъ уныло жаловались, что хозяинъ прогналъ ихъ безъ разсчета, хозяинъ развязно объяснилъ, что онъ съ ними давно въ разсчетѣ, и истцамъ, по бездоказательности иска, постановлено было отказать.—Засѣданіе прервано на полчаса.

— Какъ-же это ты отказалъ имъ въ искѣ то? спрашиваетъ генералъ. Вѣдь эта рыжая борода такъ и выглядитъ воромъ: никакого разсчета онъ имъ не давалъ.

— Я въ этомъ не сомнѣваюсь, отвѣчаетъ сынъ, постукивая серебряной ложечкой по головкѣ яйца.

— Какъ-же ты имъ отказалъ!

— Не я, а законъ...

— Вѣдь у васъ есть тамъ статья какая-то—рѣшать дѣла на основаніи собственнаго убѣжденія.

— Эту статью надо примѣнять очень осторожно, серьезно отвѣтилъ сынъ, и началъ закусывать.

Генералъ замолчалъ; допилъ торопливо свой стаканъ чаю, и раньше сына ушелъ въ камеру.—Первое уголовное дѣло заключалось въ томъ, что какой-то мѣщанинъ ударилъ буточника въ то время, когда послѣдній тащилъ его въ сибирку для вытрезвленія. Полицейскій солдатъ,

мущина саженнаго роста, вмѣстѣ съ своими свидѣтелями, тоже полицейскими, показывалъ, что мѣщанинъ его окровянилъ. Худенькій, маленькій мѣщанинишко трясся всѣмъ тѣломъ, моргалъ, и, стуча зубами, могъ только лепетать: «Былъ сильно выпивши; ничего не помню... восемь рублей денегъ было при себѣ... не оказалось... семьишка, четверо ребятокъ малъ-мала меньше... не погубите... одинъ я добытчикъ»...

Разобравъ дѣло, Антонъ Антоновичъ началъ писать свое рѣшеніе, которое вскорѣ и прочелъ громко: «принимая во вниманіе, что и самъ подсудимый не отрицаетъ факта преступленія... показанія свидѣтелей... мировой судья такого-то участка.. въ засѣданіи.. разсмотрѣвъ... на основаніи такихъ то статей, приговорилъ мѣщанина Сафонова къ аресту при городской тюрьмѣ на три мѣсяца». Антонъ Львовичъ пристально смотрѣлъ въ лицо сына: не дрогнетъ-ли хоть одинъ мускулъ: нѣтъ, онъ читалъ также спокойно, какъ вы читаете теперь этотъ мой разсказъ. — Услышавъ приговоръ, мѣщанинишко взвизгнулъ и упалъ на колѣни.

— Служитель, выведи! холодно приказалъ Антонъ Антоновичъ.

Генералъ, дрожа отъ гнѣва, вышелъ изъ камеры. У притолоки торчалъ Вавиловъ и тоже слушалъ разбирательство.

— Есть деньги? обратился къ нему генералъ. Дай ему тридцать рублей. — По десяти рублей въ мѣсяцъ достаточно на содержаніе вашего семейства? спросилъ онъ мѣщанина, котораго тащилъ подъ руку сторожъ. Но тотъ ничего не понималъ, а потому ничего не отвѣчалъ.

Генералъ пошелъ на свою половину, выпилъ залпомъ три стаканчика коньяку, закурилъ трубку, и сердитый, не раздѣваясь, повалился на кушетку. — Явился Вавиловъ.

— Далъ?

— Отдалъ. Воетъ благимъ матомъ, какъ оглашенный, на всю улицу... Я самъ ваше превосходительство, выдалъ сегодня сорокъ копѣекъ.

— Кому, разсѣянно спрашиваетъ генералъ.

— Баба приходила, трубку полотна приносила... воетъ. Народъ здѣсь, ооо!—плохой. Переложеніе сдѣлали: это значитъ, что́ работой правилось, то деньгами теперь подавай; мужики было обрадовались, а міроѣды такъ наладили, что и дороги ты правь, и мосты правь, а деньги подавай деньгами, по сорока копѣекъ съ души. Мужикъ то этой бабы забунтовалъ, его посадили въ темную, до коль сорока копѣекъ не предоставитъ. Вотъ она трубку то холста и принесла мнѣ за сорокъ копѣекъ, чтобы мужа только выручить... продать на селѣ не кому: народъ бѣднѣющій, у рѣдкаго курица, а то вездѣ по домамъ одна скотина: кошка либо собака.

— Ты взялъ холстъ?

— Никакъ нѣтъ. Сорокъ копѣекъ выдалъ, а холста не взялъ...

— Спасибо. Сейчасъ узнай, какъ зовутъ эту бабу...

Генералъ садится за письменный столъ и пишетъ: «Его Высокоблагородію г. мировому судьѣ такого-то участка Антону Антоновичу Конопляникову, отставнаго генералъ-маіора Антона Львова сына Конопляникова—прошеніе? — Но скоро генералъ спохватывается, что это смѣшно, и разрываетъ прошеніе.—За обѣдомъ онъ нѣсколько даже офиціальнымъ тономъ приноситъ сыну жалобу на утѣсненія волостнымъ старшиной и волостными міроѣдами крестьянъ.

— Это не мое дѣло, брѣзгливо отвѣчаетъ усталый Антонъ Антоновичъ. И охота вамъ вмѣшиваться, папа, въ ихъ дѣла!—У нихъ старшина, волость, мировой посредникъ... зачѣмъ вмѣшиваться!

— А позвольте васъ спросить, заговорилъ вдругъ генералъ, — кто-же поможетъ имъ, если мы—дворяне, интеллегентное сословіе, не будемъ вмѣшиваться въ ихъ дѣла, которыхъ они сами не разумѣютъ порядкомъ?

— Ахъ! Дайте имъ свободу!..

— Свободу оставаться невѣждами, болванами, баранами!

Генералъ всталъ изъ за стола.

— Если-бы всѣ дворяне разсуждали такъ, какъ разсуждаете вы, милостивый государь, высшее правительство никогда бы не узнало, что помѣщики часто угнетали своихъ крѣпостныхъ, что откупщики мошенничали, что судьи брали взятки—и до сихъ поръ существовало-бы крѣпостное право, и до сихъ поръ были-бы откупа и не было-бы мировыхъ судей, и вы не были-бы мировымъ судьей... А я вотъ сейчасъ поѣду къ этому посреднику, посмотрю — что́ онъ за птица.

— Онъ гарнизонный прапорщикъ, пьяница, взяточникъ и воръ, презрительно проговорилъ сынъ. —Впрочемъ, если вы его настращаете, онъ все для васъ сдѣлаетъ.

Черезъ четверть часа генералъ уже ѣдетъ по широкой деревенской улицѣ, въ двуконномъ шарабанѣ, въ городъ (двѣ версты) къ посреднику. Вавиловъ, сидя рядомъ, мрачно и ожесточенно хлещетъ лошадей.—Гдѣ-то отчаянный крикъ, раздирающіе душу вопли. — На всемъ маху экипажа, генералъ спрыгиваетъ на землю, и прежде чѣмъ Вавиловъ успѣваетъ удержать лошадей, его господинъ перескакиваетъ черезъ невысокій плетень.—Вавиловъ встаетъ въ шарабанѣ на ноги, и смотритъ что́ такое.—Ужасная сцена.—Мужикъ, замотавъ на руку косу своей жены, хлещетъ ее окровавленной головой объ уголъ своей избенки. Когда генералъ схватилъ его за плечо, мужикъ оторопѣлъ, но долго не могъ освободить руку изъ жениной косы, не могъ выговорить ни слова.

— Что ты дѣлаешь?! Къ мировому! кричалъ генералъ

— Отъ рукъ отбилась, бормоталъ мужикъ.

— Кажинный божій день, выла баба.

— Вавиловъ, ты видѣлъ?

— Видѣлъ все, ваше превосходительство.

— Ну, къ мировому. Маршъ за мной!

Генералъ, какъ истецъ, входитъ не съ параднаго крыльца, а прямо въ камеру, и приказываетъ сторожу позвать мироваго судью. Антонъ Антоновичъ является съ дрожащей улыбкой на своемъ пепельно-синеватомъ низу лица: брито.

— Господинъ мировой судья, начинаетъ объяснять генералъ своему сыну суть дѣла. Тотъ брѣзгливо прерываетъ его, обращаясь къ бабѣ.

— Вы, кажется, матушка, чуть-ли не въ двадцатый разъ приходите ко мнѣ! укоризненно говоритъ онъ.— Сказано вамъ—обращайтесь съ такими жалобами въ волостной судъ.

— Опять меня-же въ темную посадятъ! — Старшина на евоной подлецовой сторонѣ! завыла баба.

— На старшину вы можете жаловаться мировому посреднику.

— Охъ, жалилась я и не одинъ разъ. Туто-ка сказалъ: будешь еще жалится — колодки велю надѣть, въ темной заморю, зачѣмъ даромъ начальство безпокоишь!

— Извините, ничего для васъ сдѣлать не могу, вѣжливо поклонился Антонъ Антоновичъ бабѣ, и тихо вышелъ изъ камеры.—Нѣсколько секундъ генералъ стоялъ ошеломленнымъ, потомъ онъ быстро повернулся къ мужику, и рѣзко спросилъ у него: «есть у тебя совѣсть? за что ты ее бьешь?»—Мужикъ смутился.

Въ Питеръ, на мѣсто прошусь — не пущаетъ, выла баба.

— Если я тебѣ дамъ денегъ, ты ее пустишь? сердито спросилъ генералъ.—Мужиченко даже прослезился.

— Если бы десять рублевъ: недоимку внесъ бы... два раза въ мѣсяцъ дерутъ розгами, тоже не хорошо, злобно: на ней злоба. Бьешь! грѣшенъ! что дѣлать! А уйдетъ—Господь съ ней—и я поправлюсь...

— Вавиловъ, дай ей на дорогу пять рублей, этому пятнадцать, строго проговорилъ генералъ, и вышелъ. Онъ былъ почти грозенъ, а ужъ во всякомъ случаѣ величественъ и недоступенъ.

Сердитый и сумрачный генералъ, не говоря ни слова даже съ Вавиловымъ, забывъ про мироваго посредника и про все, тотчасъ-же легъ спать. Когда онъ былъ сердитъ, онъ всегда ложился спать, и гнѣвъ у него проходилъ во снѣ. — Какъ и всегда, утромъ онъ всталъ бодрымъ и веселымъ. Было рано. Вавиловъ, всегда спавшій съ нимъ въ одной комнатѣ, только что проснулся, по-

тягивался на кровати и рылся ногтями въ своей мохнатой груди.

— Вавиловъ, вели повару сейчасъ-же изжарить два бифстекса, бери съ собой ромъ, машинку, и пойдемъ на Волгу, купаться, приказалъ Антонъ Львовичъ.

Идутъ они по шоссе. Вавиловъ несетъ въ рукахъ сииртовую сковородку съ бифстексами, хлѣбъ, ромъ и бѣлье въ мѣшкѣ. Генералъ весело шагаетъ впереди его въ своемъ бѣломъ кителѣ.

— Вавиловъ, вѣдь это штыкъ блеститъ, говоритъ генералъ.

— Точно такъ. Штыкъ.

— Сядемъ-ко. Что-бы это?—Здѣсь вѣдь оказій нѣту.

— Разбойниковъ ведутъ, вонъ закованы...

И точно подходятъ: два человѣка скованы руками вмѣстѣ, безъ ножныхъ кандаловъ; ихъ сопровождаетъ солдатъ съ ружьемъ. Оборваные, потные, босые, грязные, еле передвигая ноги, тащатся арестанты. — Генералъ всмотрѣлся, и тотчасъ-же узналъ въ одномъ изъ нихъ того мужиченку, котораго онъ вытащилъ въ Петербургѣ изъ Фонтанки.

— Что̀ это ты, братецъ, надѣлалъ?! Съ укоризной спросилъ его генералъ.

— Гдѣ взять?!—Ничему не обученъ, что я могу подѣлать; плаксиво отвѣтилъ тотъ.

— Какъ-же это съ тобой случилось?

— Какъ отъ васъ взялъ городовой, въ пересыльную, да и домой...

— И что-же ты сдѣлалъ?—За что тебя заковали-то?

— Пачпорта нѣту, извѣстно... А гдѣ взять?—ничему не обученъ, а въ черной работѣ,—что выработалъ, то и проѣлъ...

— Ну, и что-жъ теперь?

— Теперь, извѣстно, приду въ волость — выдерутъ...

— Скажи, чтобы не драли, что я сейчасъ ворочусь, за тебя заплачу.—Идите.

Выкупался генералъ, выпилъ, закусилъ бифстексомъ, и возвращается. — Волостное правленіе. — Что это за крикъ?—Его протеже растянутъ на травѣ, и розги свистятъ въ воздухѣ... Кресло стоитъ на крыльцѣ, а на креслѣ сидитъ пузатый старшина, и любуется на экзекуцію: «крѣпче! крѣпче! поддай пару!» похохатываетъ онъ.

Какъ разъяреный волкъ, кидается генералъ къ мѣсту происшествія, вырываетъ у одного изъ сѣкущихъ пукъ розогъ, и начинаетъ этими розгами хлестать по лицу пузатаго старшину, возсѣдающаго въ креслѣ. Общее изумленіе; старшина вертится; сѣкомый мужикъ удираетъ куда-то; одинъ только Вавиловъ, стоя за стуломъ старшины, спокойно спрашиваетъ: «не подержать-ли его, ваше превосходительство?»

Дня черезъ два, сцена.

— Вотъ что значитъ, папа, мѣшаться въ чужія дѣла, говоритъ сынъ, держа въ рукѣ какую-то бумагу. — По обязанностямъ моей службы, я по настоящему долженъ-бы былъ сообщить объ этомъ прокурору окружнаго суда...

— Что такое?

— Да вотъ... протоколъ о томъ, что вы били розгами волостнаго старшину...

— Билъ. И вы пожалуйста, по обязанностямъ вашей службы, сообщите объ этомъ прокурору.

— Дѣло уже кончено.

Антонъ Антоновичъ разорвалъ бумагу.

— Я заткнулъ ему глотку семидесятью пятью рублями, презрительно проговорилъ онъ.

— Для спасенія чести фамиліи?! Насмѣшливо спросилъ отецъ.

— Можетъ быть...

— Скажи пожалуйста, всѣ у васъ здѣсь такіе нигилисты, какъ ты въ самомъ честномъ смыслѣ этого слова?

— Да-а, промычалъ сынъ, кусая губы.

— Ну, въ такомъ случаѣ, я значитъ нигилистъ въ подломъ смыслѣ этого слова.—Вавиловъ! — Укладывайся!

Накинувъ pince-nez, сынъ неспѣшными шагами выходитъ изъ комнаты.—Вавиловъ укладывается.

— У насъ есть, Вавиловъ, земелька на Кавказѣ, говоритъ генералъ.

— Да какая еще земелька-то, ваше превосходительство!

— Тебѣ достанется. Женись-ко. А!

— Избави Господи! Вы помоложе меня: вамъ жениться...

— Да... а какъ опять родится такой-же сынокъ!

— Сухощавы они!

ДРАБАНТЫ.

Нѣсколько времени назадъ, мнѣ какъ-то случайно попался въ руки обрывокъ номера «Извѣстій С.-Петербургской городской думы» съ докладомъ финансовой коммисіи по вопросу о прибавкѣ жалованья канцелярскимъ чиновникамъ распорядительной думы. Изъ этого доклада я узналъ, что тамъ есть такіе чиновники, которые получаютъ всего четыре рубля пятьдесятъ копѣекъ жалованья въ мѣсяцъ.—Меня это удивило, а пожалуй и возмутило.—Но тутъ-же, въ докладѣ, была приведена цифра исходящихъ бумагъ и число работающихъ надъ ними чиновниковъ. Послѣ очень несложныхъ вычисленій, я убѣдился, что ни одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ русскихъ литераторовъ не получалъ за свой трудъ такого громаднаго вознагражденія, какое получаетъ послѣдній писецъ въ распорядительной думѣ. Я, помнится, высчиталъ, что каждый чиновникъ пишетъ въ день по полбуквы *). Счи-

*) На точности этого вычисленія я не настаиваю; клочекъ доклада теперь утраченъ, и я не могу провѣрить себя. Не хочу настаивать даже

тая, среднимъ числомъ, въ мѣсяцѣ 24 рабочихъ дня (въ праздники вѣдь нѣтъ присутствія), получимъ, что чиновникъ получаетъ четыре съ полтиной за написаніе двѣнадцати буквъ, или $37^1/_2$ копѣекъ за букву.—Даже Пушкину не всегда давали по золотому за строчку, но и получая золотой, онъ получалъ менѣе половины думскаго чиновника за свою букву: если положить его строчку въ 30 буквъ, то Пушкинъ получалъ всего $17^1/_6$ копѣекъ за букву!... Вознагражденіе за трудъ—какъ видите громадно—и, если-бъ этимъ чиновникамъ дозволяли писать въ день не полбуквы, только, а хоть десять тысячъ буквъ, они, несомнѣнно, ѣздили-бы на службу въ каретахъ, на собственныхъ лошадяхъ. Но, къ сожалѣнію, можетъ быть изъ гуманнаго желанія заткнуть всѣ голодные рты, никого не обидить, никого не оставить безъ куска хлѣба, у насъ къ дѣлу, которое можетъ исполнить одинъ человѣкъ, приставляются сотни людей: дѣла не дѣлай, отъ дѣла не бѣгай, пиши въ день по полбуквы—сытъ не будешь и съ голоду не умрешь.—Если въ раздробленіи труда и вознагражденіи за него имѣется въ виду дѣйствительно эта цѣль, то она вовсе не достигается. Желая дать возможно большему числу людей работу и кусокъ

на томъ, что мой выводъ не гиперболa, но хочу утверждать, что у насъ часто мелкому чиновнику даютъ въ сто разъ меньше работы, чѣмъ онъ можетъ и желалъ-бы сработать. Жалованье соотвѣтствуетъ этому: кусокъ, которымъ можетъ быть сытъ только одинъ, дѣлятъ на сто человѣкъ.

хлѣба, мы не даемъ имъ ни того, ни другаго. Заставляя ихъ приходить на «службу» для того, чтобы скучать, да курить на лѣстницѣ папиросы, мы воспитываемъ лѣнтяевъ; давая же имъ гроши, вовсе не обезпечивающіе ихъ существованія, мы заставляемъ ихъ изощряться въ разныхъ пройдошествахъ для увеличенія своихъ доходовъ.— А потомство этихъ людей? — Вонъ въ сосѣдяхъ у меня живетъ отецъ семейства, садящійся за столъ самъ четырнадцатымъ и получающій всего десять съ полтиной жалованья. Попробуйте въ его шкурѣ научить своихъ ребятишекъ хоть читать да писать! — они вонъ цѣлые дни таскаютъ щепы, двое ходятъ на инструментальный заводъ, а старшая дѣвочка, изъ-за хлѣба, прислуживаетъ молочницѣ—доитъ коровъ.

Я живу теперь на Карповкѣ, въ бѣднѣйшей части города, между полуразвалившихся дачь, обитаемыхъ преимущественно мелкими чиновниками (не думскими одними, а всѣхъ вѣдомствъ), и имѣлъ случай близко познакомиться съ ихъ горемычнымъ житьемъ-бытьемъ.

Зимой они ютятся на пустыхъ холодныхъ дачахъ, отдаваемыхъ обыкновенно за безцѣнокъ, а то и совсѣмъ даромъ: былъ-бы караульщикъ. Холостые обыкновенно по нѣскольку человѣкъ живутъ у своего женатаго товарища, и ведутъ хозяйство сообща: помогаютъ ловить въ рѣкѣ плывущія доски и бревна, уносить щепы, разламы-

вать для дровъ чужіе заборы, перила, полисадники, и у себя въ квартирѣ, они не брезгаютъ вырубить стропила на чердакѣ, разобрать кой-какія перегородки, выломать ступени у лѣстницы и проч.—что касается гвоздей, всякихъ желѣзокъ и кусочковъ мѣди—они вытаскиваютъ и обрываютъ ихъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Не даромъ тряпичникъ ходитъ къ нимъ четыре раза въ недѣлю.

Лѣтомъ, при переѣздѣ дачниковъ, бѣдняки переселяются на чердаки, въ сарайчики, въ пустыя конюшни — куда попало.—Многіе изъ холостежи спятъ даже на травкѣ, въ рощицахъ, на берегу Карповки. Достойно удивленія, какъ они хранятъ подъ дождемъ свою единственную пару платья, которую берегутъ, какъ зеницу ока: въ ней—ихъ жизнь; чиновникъ въ разорванныхъ сапогахъ или брюкахъ—пьяница, вообще—на дурномъ счету у начальства. — Поэтому, всѣ они одѣваются франтами, хотя при этомъ приходится самому стирать въ банѣ, а то и просто въ Карповкѣ, свою единственную рубашку, платокъ и нѣсколько манишекъ.—Увидавъ ихъ на улицѣ, съ тросточками въ рукахъ, въ глянцевито-начищенныхъ сапогахъ, въ шляпахъ — цилиндръ, самодовольно играющими въ зубахъ зубочисткой, или насвистывающими: «Однажды старый селадонъ, донъ, донъ, донъ, донъ!»— вообще фланирующими, вы ни за что не повѣрите, что

этотъ франтъ идетъ въ погребъ, размышляя, къ кому-бы тамъ подмазаться и какіе-бы анекдоты разсказать сидѣльцу, чтобы выпить на даровщину стаканъ водки.—Не знаю, какой именно кабатчикъ, лавочникъ или дворникъ впервые назвалъ этихъ праздныхъ фланеровъ, вѣчно ищущихъ выпивки и закуски на чужой счетъ—*драбантами*, только за ними такъ укрѣпилось это прозвище, что ихъ всѣ называютъ драбантами, и они, драбанты, давно уже стали откликаться на это слово. — На свою кличку они не только не обижаются, но даже, какъ-будто, гордятся ею. Даже поютъ кѣмъ-то сложенную пѣсню:

На Карповки брегѣ,
Гдѣ волны шумятъ
И въ быстромъ стремительномъ бѣгѣ,
Съ прибрежной травой говорятъ,
Въ прохладѣ и нѣгѣ,
На тихомъ ночлегѣ,
На травкѣ, драбанты лежатъ...

Въ этой пѣснѣ описывается дальше прелесть двадцатаго числа, когда драбанты получаютъ свое жалованье и поголовно напиваются пьяными; пьютъ они сначала дружно, но —

Вотъ вечеръ настанетъ,
И Карповка шумной волной,
Какъ-будто играть перестанетъ
Съ густою прибрежной травой...

Драбантъ на драбанта возстанетъ,
И въ рощѣ, на Карповкѣ грянетъ
Жестокій упорнѣйшій бой,
Стаканъ, и солонка, и вилка
Смертельнымъ оружьемъ блестятъ—
И битва ведется такъ пылко,
Что въ Карповку шапки летятъ—
И рѣзко бутылки
Стучатъ о затылки,
И, падая, битыя стекла звенятъ!...

Я цитирую эту пѣсню, потому что въ ней дѣйствительность преувеличена слишкомъ не много. Если «бутылки не стучатъ о затылки», то во всякомъ случаѣ двадцатаго числа происходитъ великое пированіе у драбантовъ.—Уплативъ долги, они пропиваютъ цѣликомъ всѣ остатки. — Двадцать перваго числа они уже сидятъ въ погребкѣ, въ сухую, со своими анекдотами. Разсказываютъ они тамъ про необыкновеннаго силача Лукина, про волокитство стараго Донъ-Жуана Боровченка, про подвиги матроса Кошки, про шутки князя Большакова и проч. и проч.—И если драбанты сидятъ одни, то скоро дѣло сводится къ пятаку.

— Ѣздили вы, Иванъ Степанычъ, въ дилижансахъ Бочарскаго? — Какое, можно сказать, комильфо, какая прохлада! И всего за пятачекъ!

— Ѣздилъ. Чистенько устроено.

— И за пятачекъ!... А что, Иванъ Степанычъ, стаканчикъ... повѣрьте! — въ долгъ два рубля Мишкѣ далъ, завтра получу—отдамъ... Пятачекъ!

— Нѣту-съ. Всѣ стѣнки вашими пятачками исписаны—и писать негдѣ!...

— А слышали вы, что шахъ персидскій какъ высморкнется, сейчасъ платокъ бросаетъ?

— Слышалъ.

— А вотъ тоже разъ былъ случай съ Наполеономъ третьимъ; его въ тюрьму посадили... Ну, хоть на три копѣечки налей, Иванъ Степанычъ!... И этотъ самый Наполеонъ...

— Ахъ, ты, Господи!

И наливаетъ Иванъ Степанычъ.

Не то бываетъ, когда въ погребѣ находятся студенты. Они не жалѣютъ водки для драбантовъ, но я не могу ихъ похвалить за то, что они издѣваются надъ драбантами самымъ жестокимъ образомъ. — Вчера я былъ въ банѣ; всѣ моющіеся хохотали, точно съумасшедшіе.— Несчастная жертва этого посмѣшища молодой драбантъ застѣнчиво и неловко изо всей силы оттиралъ свое тѣло мочалкой: и спина, и грудь, и брюхо, и ноги, и руки— все было изукрашено самыми разнообразными рисунками. Какой-то плохой шутникъ напоилъ его до мертва, раз-

дѣлъ до нага, и истратилъ на украшеніе его тѣла цѣлую коробку рисунковъ деколькоманіи...

Драбантъ никогда не откажется отъ приглашенія на выпивку. Этимъ и пользуются шутники изъ студентовъ: напоятъ, заведутъ въ рощицу на Карповку, заставятъ тамъ маршировать драбантовъ, или позовутъ шарманщика и заставятъ ихъ пѣть драбантскую пѣсню—

На Карповки брегѣ,
Гдѣ волны шумятъ,

а потомъ велятъ купаться въ рѣчкѣ...

Вотъ сидитъ драбантъ лѣтъ тридцати пяти, Максимъ Максимовичъ, въ погребѣ.

— Да-съ, говоритъ онъ, есть у него совѣсть?! Есть у него совѣсть! Сказалъ Ѳедору, что я къ женѣ его въ сарайчикъ лазаю. Напоилъ меня, подлецъ, увелъ въ сарайчикъ и уложилъ на стружкахъ. — Чтоже-съ? — Я заснулъ. А онъ—къ Ѳедору: «вонъ, говоритъ, ужъ лежитъ, ждетъ!» —А тотъ, сдуру-то не разобравъ дѣла, схватилъ полѣно, да вѣдь чуть не убилъ меня! Вотъ и теперь подъ лѣвымъ плечомъ на спинѣ волдырище чуть не въ кулакъ.

Такихъ добродушныхъ драбантовъ, какъ Максимъ Максимовичъ — мало. Другіе разсказываютъ, какъ они ловко надули своихъ квартирныхъ хозяевъ, выставивъ у мироваго свидѣтелей, что уплатили имъ пятнадцать рублей (по драбантски это значитъ *проучить*), хвастаютъ,

что не заплатятъ лавочнику по книжкѣ, что не отдадутъ долга въ погребъ: развѣ водку въ долгъ вѣрить дозволено! Жалуйся мировому—тебя-же на пятьдесятъ рублей оштрафуютъ! Вобще, драбанты великіе законники и любятъ разбираться у мироваго. Мѣсяца три назадъ я шелъ съ моими собаками по Карповкѣ, одинъ щенокъ, по имени Трошю, отсталъ отъ меня: «Трошю! Трошка!» закричалъ я. Каково-же было мое удивленіе, когда черезъ двѣ недѣли я получилъ повѣстку, вызывающую меня къ мировому судьѣ за оскорбленіе словами коллежскаго регистратора Трофима Трофимова.—Увѣряя, что я съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ оскорбить его, Трофима Трофимова, назвалъ пса христіанскимъ именемъ, онъ требовалъ за безчестье двадцать пять рублей.—Мировой судья, впрочемъ, ограничился только отобраніемъ отъ меня подписки, чтобы я впредь не называлъ свою собаку полуименемъ—Трошка, а кликалъ-бы ее полной фамиліей—Трошю, что я неуклонно и исполняю до сего дня.

Вообще драбанты далеко не равнодушны къ глаголамъ—сорвать, содрать, сдуть и пр. Честь ихъ до такой степени щекотлива, что они давно уже надоѣли всѣмъ мировымъ судьямъ своими прошеніями и требованіями денегъ за безчестье. — Должно быть всѣ эти просьбы о томъ, чтобы дворникъ Ефимъ Ѳедотовъ, осмѣлившійся сказать *ты* коллежскому регистратору Иванову, подвергся

отвѣтственности по всей строгости законовъ и кромѣ того, уплатилъ за безчестье семдесятъ пять рублей—должно быть эти драбантскія просьбы такъ ужъ и откладываются отдѣльно. И что это за просьбы, что это за дѣла, что это за оскорбленія. Оскорбленіе дѣйствіемъ: приставка къ своему лбу двуперстнаго знаменія въ видѣ рогъ съ явнымъ намекомъ на невѣрность жены; показаніе кукиша; танцованіе съ держаніемъ за фалду и проч. Оскорбленіе словами: произнесеніе слова: «соленный огурецъ», «не требуются-ли къ сапогамъ подметки?» — «а какъ мнѣ, *дѣдушка*, пройдти въ Бармалѣеву улицу?» и проч. Сообразно съ прелестью драбантскихъ просьбъ иногда постановляются очень оригинальныя рѣшенія.— Вы говорите, что онъ оскорбилъ васъ, показавъ вамъ кукишъ. Что такое кукишъ? спрашиваетъ мировой судья.—А вотъ-съ! Истецъ показываетъ кукишъ.—И это для васъ оскорбительно? — Очень даже, г. судья, оскорбительно, до глубины души...—И свидѣтели видѣли кукишъ? — Всѣ видѣли. — Слѣдовательно, они всѣ оскорблены; какіе-же они свидѣтели! наконецъ, вы мнѣ самому показывали кукишъ, оскорбили меня при исполненіи обязанностей...—Г. судья!.. — Теперь миритесь, а если въ слѣдующій разъ обратитесь съ такими глупостями, я васъ оштрафую!

Драбанты вообще недовольны мировыми судьями.

Сидитъ въ погребкѣ добродушнѣйшій изъ драбантовъ Максимъ Максимовичъ,—и жалуется:

— Да-съ, вызвалъ насъ третьяго дня Володька свидѣтелями, что будто-бы, онъ хозяйкѣ отдалъ пятнадцать рублей...

— Какой это Володька?

— Изъ губернскаго.—Ну-съ. Пятнадцать насъ человѣкъ. И такой этотъ ловкачъ мировой; заперъ насъ въ отдѣльную комнату, да давай спрашивать по одиночкѣ. Всѣ видѣли, что Владиміръ Васильевичъ ей деньги отдавалъ, только одинъ видѣлъ, что въ комнатѣ, другой, что—въ прихожей, третій, что—въ сараѣ, четвертый — что на дворѣ... Всѣ показали розно. Вышло, что Володька въ разныхъ мѣстахъ уплатилъ хозяйкѣ двѣсти двадцать пять рублей... Какъ-бы то ни было, мы дворяне, ну, а мировой намъ не повѣрилъ... Ну, и присудилъ Володьку отдать пятнадцать рублей.

Я сижу въ погребѣ, и жду дилижанса.

— А что Максимъ Максимычъ, спрашиваю я,—точно Владиміръ Васильевичъ отдалъ хозяйкѣ пятнадцать рублей?

— Какое-съ? Откуда ему взять! Такъ, шутка!..

Я невольно засмѣялся надъ этой ужъ черезъ-чуръ рѣзкой откровенностью, тоже шуткой въ своемъ родѣ!..

— Смѣетесь, господинъ сочинитель—посмѣйтесь хоть

въ какомъ нибудь сочиненіи; говорятъ, вы и романы сочиняете; удостойте—выставьте меня въ насмѣшку!..

Пойду сегодня въ больницу, можетъ тамъ помру, такъ хоть-бы память осталась: вотъ, молъ, жилъ-же на свѣтѣ Максимъ чудородный: труху курилъ за табакъ, керосинъ пилъ за водку, щековину ѣлъ за говядину!—Опишите, все опишите господинъ сочинитель!—Былъ. молъ, такой то драбантъ...Вы знаете пѣсню о драбантахъ?

На Карповки брегѣ,
Гдѣ волны шумятъ...

Тамъ то-съ вотъ, «въ прохладѣ и нѣгѣ на тихомъ ночлегѣ», я третьяго дня выстиралъ рубаху, да и повѣсилъ ее сушить... Ну, и украли! Ванюшка — подлецъ укралъ, больше некому. Въ больницу пойду... Загородъ хвачу, пѣшедраломъ, двѣнадцать верстъ.

Я очень хорошо зналъ, что драбанты любятъ ходить по больницамъ для поправленія своихъ обстоятельствъ. Тамъ они сыты, одѣты, а жалованье идетъ своимъ чередомъ. Пролежавъ мѣсяца три, драбантъ выходитъ изъ больницы, и является за получкой: скопилось тридцать рублей: покупается подержаное платье на толкучкѣ, а остатокъ идетъ на спрыски купленнаго: на пропитіе.—Самъ Максимъ Максимычъ уже давно хвасталъ мнѣ, что у нихъ самая болѣзненная кинцелярія: штатъ писцовъ полагается въ восемьдесятъ человѣкъ, а на службѣ не увидите

больше пяти человѣкъ, всѣ остальные больны разными болѣзнями, начиная отъ оспы и кончая бѣлой горячкой.— Въ одномъ присутственномъ мѣстѣ, въ прошломъ годѣ, я просматривалъ исходящій журналъ. Оказалось, что девять десятыхъ (девяносто изъ ста) выпущенныхъ бумагъ падаетъ на долю «отношеній въ Обуховскую больничную справочную контору о болѣзни»... о болѣзни разныхъ чиновниковъ: Васильевыхъ, Степановыхъ, Ивановыхъ.

Все это я зналъ и потому спрашивать о причинѣ отправки его въ больницу мнѣ было незачѣмъ; я зналъ, что, смотря по желанію, у него можетъ сдѣлаться ломота въ ногахъ, шумъ въ ушахъ, приливы крови къ головѣ, боль въ поясницѣ и во всемъ позвоночномъ столбѣ — всѣ неизлѣчимыя боли. Замѣчательно, что почти всѣ драбанты страдаютъ туберкулами, расширеніемъ печени, катарромъ желудка, каменной болѣзнью, трепетаніемъ сердца и другими нелегкими послѣдствіями пьянства, но на дѣйствительныя свои болѣзни они почему-то не любятъ жаловаться, хотя часто умираютъ отъ нихъ: самая модная и популярная болѣзнь ревматизмъ. Человѣкъ, еле дышащій отъ катаральной чахотки, прійдя въ больницу, жалуется только на ломоту въ ногахъ... Такъ ужъ завели предки.

Я полюбопытствовалъ у Максима Максимыча о томъ что для меня было интересно.

— А что во многихъ больницахъ вы перебывали, Максимъ Максимовичъ?

— Во всѣхъ съ, какія только есть... А вотъ я замѣчаю, господинъ сочинитель, вы даромъ сидите около стакана-то,—не дозволите-ли убогому Максиму выпить его?

— Сдѣлайте милость.

Онъ смачно выпилъ.

— Да съ, могу сказать, достоинъ названія путешественника по здѣшнимъ больницамъ... Да-съ! Я даже написалъ уже нѣсколько листовъ путевыхъ записокъ... Вотъ хотѣлъ я просить—не удостоите-ли посмотрѣть!

— Очень-бы любопытно.

— Такъ прикажите ужъ весь полуштофъ, и пойдемте въ коморочку...

Максимъ Максимовичъ вытащилъ изъ кармана огромную пачку бумагъ: это былъ весь его кабинетъ. Съ трудомъ отыскалъ онъ свои путевыя замѣтки, и передалъ ихъ мнѣ, а самъ заигралъ около полштофика. Записки эти показались мнѣ настолько интересными, что я тутъже купилъ ихъ у Максима Максимовича за рубль серебра. Они написаны въ формѣ дневника, довольно нескладно; авторъ часто впадаетъ въ чувствія, и потому въ нихъ много лишняго лиризма, хотя факты, сообщаемые авторомъ, не лишены интереса: онъ знакомитъ насъ съ положеніемъ больнаго во всѣхъ петербургскихъ больни-

цахъ. Я привожу здѣсь компеляцію его путешествія, сохраняя факты, но значительно сокращая неумѣлое изложеніе и опуская мелочи. Вотъ записки путешественника по больницамъ:

Городская больница № 1-й. Кажется, не хорошо было жить подъ лодкой на Карповкѣ, а здѣсь еще хуже. Выпишусь! Больница въ городѣ; начальство ѣздитъ поминутно. Закричатъ вдругъ: Кутайсовъ! И сдергиваютъ со всѣхъ больныхъ подержаныя одѣяла, чтобы замѣнить новыми, парадными, показными. Другой бѣдняга умираетъ, а тутъ сдернутъ одѣяло. Полы моютъ, мѣтутъ и натираютъ, день и ночь: спать нѣтъ никакой возможности... Покурить и не думай. Голову съ папиросой въ каминъ засунулъ, волосы загорѣлись... Не лѣчатъ, не кормятъ, потому что значительныя суммы идутъ у нихъ на натирку половъ и на весь парадъ для пріема начальства, а которое ѣздитъ сюда по десяти разъ на дню.

Больница № 2. Здѣсь кладутъ васъ въ постель и не выдаютъ нижняго бѣлья чтобы вы не могли вставать съ постели, дабы начальство видѣло, что вся больница наполнена больными, не могущими вставать съ постели. На вставанье съ постели нуженъ рецептъ врача.—Курить невозможно. Полы трутся непрестанно, точно также какъ непрестанно бранится между собою толпа тутъ-же къ чему-то приставленныхъ женщинъ.

Объ этихъ женщинахъ я скажу нѣсколько словъ отъ себя. Они называются либо сестрами милосердія, либо— надзирательницами. Я самъ лежалъ въ больницѣ нѣсколько разъ, но рѣшительно не могъ понять, для чего онѣ приставлены. — Онѣ мука, болѣзнь, хуже болѣзни для больного человѣка. — Комаръ жужжащій около вашего уха, клопъ, блоха и проч. кусающіе васъ, не такъ несносны, какъ эти особы. Онѣ жужжатъ надъ вашимъ ухомъ съ утра до ночи, дергаютъ на васъ одѣяло, чтобы красиво выглядѣло, бранятся съ прислугой, кричатъ даже по ночамъ, обыскиваютъ тюфяки умирающихъ, подъ предлогомъ найдти табакъ... словомъ, существъ надоѣдливѣй этихъ я не зналъ и не знаю. — И имъ плотятъ жалованье... неужели за то, чтобы увеличить страданія и безъ того страдающихъ людей...

Больница № 3. Начальство ѣздитъ часто. Заставляютъ чуть не поминутно переодѣваться въ парадные халаты, и ставятъ у коекъ во фронтъ въ ожиданіи пріѣзда какого-нибудь важнаго посѣтителя: слабыхъ больныхъ, не могущихъ стоять подолгу во фронтахъ, сидѣлки бьютъ. За куреніе садятъ въ отдѣленіе безпокойныхъ съумасшедшихъ или бѣшеныхъ, гдѣ крики, пѣсни и всякія бѣснованія ни днемъ, ни ночью не даютъ покоя, не говоря уже про опасность быть избитымъ своимъ бѣшенымъ сосѣдомъ. Полы трутъ днемъ и ночью. Кормятъ субтиль-

но... четвертая часть ассигнованной суммы идетъ здѣсь на натирку половъ и на другой блескъ для пріема начальниковъ.

Больница № 4. Она стоитъ вдалекѣ отъ города, потому ее рѣже посѣщаетъ начальство. Здѣсь получше. Полы натираютъ не такъ часто, хотя кормятъ тоже очень плохо. Рѣдкій больной получаетъ булку больше двадцати золотниковъ (т. е. меньше полуторы копѣечной) въ день. Дѣло въ томъ, что на дворѣ ходятъ прежирные коровы, лошади, утки, куры, гуси и проч. живность. Надо ихъ чѣмъ-нибудь кормить. Они, говорятъ, принадлежатъ главному доктору.

Загородная больница. Вотъ гдѣ я отдохнулъ! — Это двѣнадцать верстъ отъ Петербурга: начальство ѣздитъ рѣдко, полы не натираютъ, сады великолѣпные, свобода и покой... Очень жаль, что безпокоятъ надзирательницы: не будь ихъ, это былъ-бы для меня земной рай. Кормятъ великолѣпно, сытно и вкусно; но лечатъ, такъ какъ не лечатъ и въ клинникѣ. Докторъ Перель (я не хочу упустить собственное имя достойнаго человѣка, котораго я не имѣю удовольствія знать, но котораго хвалятъ всѣ бѣдняки, у которыхъ я о немъ спрашивалъ. У насъ, къ сожалѣнію, такъ мало такихъ людей, что совѣстно-бы было ими не восхищаться!) съ утра до ночи возится около больныхъ; его жена даетъ читать намъ книги, со-

бираетъ отъ своихъ знакомыхъ старое платье, и, по надобности, раздаетъ его выходящимъ изъ больницы голышамъ.—Говорятъ, часто случается, что мадамъ Перель отдаетъ бѣднякамъ свои послѣднія деньги: къ ней по нѣскольку человѣкъ изъ больныхъ въ день обращаются за займами, и эта достойная женщина никому не отказываетъ ни въ копѣйкахъ, ни въ рубляхъ.—Точно тѣмъ-же уваженіемъ и любовью больныхъ, какими пользуются г. и г-жа Перель, пользуется добрѣйшій человѣкъ—главный докторъ г. Шмидтъ....

— Господи! восклицаетъ въ заключеніе Максимъ Максимовичъ, дай мнѣ судьбу умереть въ этой больницѣ!—Знаю я, что докторъ Перель не побрезгуетъ голымъ ухомъ выслушать мою грудь: не дышу-ли я, не мнимо-ли я умершій?!

Да не подумаетъ читатель, что я хотѣлъ тутъ написать кому-нибудь рекламу!—Нѣтъ, я пользовался только безхитростнымъ разсказомъ простого человѣка, и человѣку, который смѣрялъ меня на свой аршинъ, заподозривъ въ какомъ-нибудь безчестномъ компромисѣ, я заранѣе посылаю улыбку презрѣнія.

И пошелъ въ загородную больницу Максимъ Максимовичъ....

— А я къ вамъ-съ, явился ко мнѣ недавно полупьяненькій драбантъ Василій Ивановичъ.—Максимъ-то Мак-

симовъ померъ.... Изъ канцеляріи всего пятнадцать рублей выдали на похороны. — Гробовщикъ меньше десяти рублей не согласился, да за могилу—рубль, да за покровъ—полтинникъ, да за просфору, да за выносъ, да за вѣнчикъ, да до могилы.... Не соблаговолите-ли?

И онъ сунулъ мнѣ въ руку тутъ бумаги. Тамъ было награфлено и написано: Ивановъ 20 к., Петровъ 10 к., Лукинъ Петръ 10 к., Лукинъ Иванъ 20 к. и проч.

— Да къ чему же это? — вѣдь его хоронятъ на казенный счетъ!

— А угощеніе-то!... Простите, — вѣдь мы драбанты: хоть рубличекъ соблаговолите!...

— Извольте. Господь съ вами!

И Господь съ тобой, Максимъ Максимычъ: желаніе твое исполнилось: ты умеръ въ своемъ земномъ раѣ!

РУКА ДАЮЩАГО НЕ ОСКУДѢЕТЪ.

Вербы! вербы! вербы!

Куда не идетъ своимъ мелконькимъ неспѣшнымъ шажкомъ чистенькій и аккуратный старичокъ Андрей Петровичъ, все ему напоминаетъ о предстоящихъ вербахъ. Съ кѣмъ не заговоритъ Андрей Петровичъ, придерживая двумя пальцами козырекъ своего стариннаго картуза—такъ всѣ, какъ будто ему и говорятъ о вербахъ. И веселится стариковское сердце. Онъ снимаетъ картузъ, и бумажнымъ платкомъ тихо и рачительно отираетъ потъ со своей широкой лысины на головѣ. Вотъ знакомый сочинитель объясняетъ ему, что хорошо-бы издать къ вербамъ брошюру, въ родѣ «Появленія чорта въ Петербургѣ», разошедшуюся въ ста т. экземплярахъ и могшую еще продаваться, еслибъ не воспретило начальство, замѣтившее, что подъ словами «дозволено цензурою», нѣтъ подписи цензора. Встрѣчается-ли Андрею Петровичу знакомая старуха чиновница, она посмѣиваясь спрашиваетъ его: «играете батюшка!» и Андрей Петровичъ, приподнявъ надъ

своей лысиной картузъ, тоже смѣясь, отвѣчаетъ: «лѣта наши самые такіе, чтобы только играть, Анна Ивановна!»—«Ну, ужъ первое мѣсто мое! ужъ вы не хлопочите!»—«Смотрите нынѣ, говорятъ, первые будутъ послѣдними!...» Смѣется старикъ и старуха смѣется, и разстаются.—«Вербу приносите!» кричитъ издалека старуха, оборачиваясь къ Андрею Петровичу. Старикъ почтительно приподнимаетъ картузъ въ знакъ согласія и шествуетъ далѣе. Вотъ молодая дѣвушка, его племянница, служащая закройщицей въ модномъ магазинѣ, спѣшно бѣжитъ куда-то съ картонкой въ рукахъ. — «Здравствуйте, дяденька!» Старикъ третъ двумя пальцами блестящій козырекъ своего картуза.

— Бѣгомъ, Маша, бѣжишь! — къ пожару! смѣется старикъ.

— Дяденька, вѣдь къ вамъ до святой не прійду, говоритъ Маша. Зайдите ко мнѣ: столько, столько у меня лоскутковъ накопилось! Я-бы давно принесла: ей Богу времени нѣту! Завалили!

— Вербы, Машенька, вербы! «Верба хлёсъ, бьетъ до слезъ!“ смѣялся старикъ. Узлище, я думаю, ты преогромный накопила. Давай: всяко даяніе благо и всякъ даръ совершенъ!

— Вы хоть завтра Катю пришлите.

— Катю?! Старика боишься кофеемъ напоить! ха, ха,

ха! Да еще приревнуетъ кто-нибудь... Маша! *кто-нибудь!* а? хохоталъ старикъ.

Дѣвушка покраснѣла, спѣшно простилась съ дядей, и побѣжала чуть не бѣгомъ. Старикъ, снявъ картузъ, вытиралъ скомканнымъ платкомъ лысину, глядѣлъ на дѣвушку, и почти вслухъ бормоталъ: «прытко-молодо, прытко!» И не было зависти и никакого другаго чувства въ душѣ старика, кромѣ радостнаго доброжелательства.

И вотъ идетъ онъ далѣе. Встрѣчается знакомый портной: «Ну, батюшка, Андрей Петровичъ, угощу для вербы! говоритъ онъ—во, какой ворохъ припасъ! Заходите!»

— Андрей Петровичъ! кричитъ ему вдругъ знакомый торговецъ игрушками. Мое почтеніе!... А что—товарцу-то будетъ? подмигиваетъ онъ.

Андрей Петровичъ въ смущеніи...

— Какъ сказать, братецъ... то есть...

— Запродали-съ?

— Н-нѣтъ!

— Что же такое-съ?

— Хочу... какъ сказать... самъ попытать счастья.... хочу...

— А-а! Дѣло вербное...

— Да, да, да! Во снѣ даже видѣлъ, будто-бы въ густой прегустой пшеницѣ лежу... Вѣдь это, братъ, хорошо? а? какъ?

— Въ пшеницѣ — это хорошо. А вотъ на счетъ товарцу-то...

— Охота самому поторговать! Охота, Митинька! Охота—пуще неволи! смѣялся старикъ.

— Что дѣлать! Давай Богъ, давай Богъ! не безъ добродушной ироніи говоритъ торговецъ, зная очень хорошо, что онъ желаетъ беззубому теленку зубатаго волка съѣсть...

Андрей Петровичъ вдовецъ. Онъ имѣлъ двухъ дѣтей— Катю, четырнадцати лѣтъ, и Васю, тринадцати лѣтъ. Жили они въ бѣдненькой комнатѣ на Петербургской сторонѣ, и каждый вечеръ и каждое утро выходили съ Васей въ корридоръ, дожидаться, пока раздѣнется или одѣнется Катя: за занавѣсками, украшавшими ея постель, по близости потолка, одѣться или раздѣться, стоя на постели, нельзя было даже пятилѣтнему ребенку. Катя была богиней семьи. Старикъ, впрочемъ, любилъ обоихъ дѣтей одинаково: онъ только и жилъ для нихъ, только и дышалъ ими; если-же Катѣ и отдавалось предпочтеніе передъ Васей, то все это случалось по желанію самого-же Васи. Изъ послѣднихъ своихъ средствъ (охъ, какъ ихъ было не много.—12 руб. пенсіи и 20 рублей изъ конторы, гдѣ служилъ Андрей Петровичъ), старикъ платилъ за сына и за дочь въ гимназіи и старался одѣвать ихъ не на срамъ людямъ. Въ трудныя минуты жизни, дѣти

слышали, какъ отецъ за обычной утренней молитвой шепталъ: «Господи, помоги мнѣ! Господи, научи меня сдѣлать ихъ людьми, дать имъ кусокъ хлѣба! Господи, помоги мнѣ!» И Господь помогалъ ему въ томъ отношеніи, что дѣти у него были хорошіе, изъ которыхъ должны были выйдти хорошіе люди съ кускомъ хлѣба. Деликатныя ухищренія старика для прикрытія своей нужды и бѣдности давно были поняты дѣтьми, и больная Катя, напившись малины, не спрашивала у старика зачѣмъ онъ ходитъ безъ жилетки. Дѣти ужъ издавна привыкли деликатничать съ отцомъ больше, чѣмъ онъ съ ними деликатничалъ. Не говоря уже про то, что они берегли свое платье пуще глаза, чтобы не вводить отца въ убытокъ, они постоянно работали. Бывали случаи, что Катя всю ночь сидѣла надъ какимъ-то, будто-бы заданнымъ, труднымъ переводомъ, а потомъ, дня черезъ два (сдавъ, конечно, переписку и получивъ деньги) приносила домой десять аршинъ полотна на рубашки отцу, увѣряя, что ей это подарилъ кто-то, какая-то незнакомая дама на улицѣ...

— Ну, твое счастье! говорилъ, улыбаясь, старикъ, очень хорошо понимая въ чемъ дѣло и стараясь скрыть невольно выступавшія на глазахъ слезы. — Ну, сошьешь себѣ двѣ рубашки...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! У меня есть. Я еще никогда

не шила мужскихъ рубахъ, хочу скроить и попробовать для тебя, папка!...

Старикъ смѣялся сквозь слезы, обнималъ и крѣпко цѣловалъ дѣвочку.

Вася былъ серьезнѣе сестры. Онъ не обманывалъ отца изъ деликатности. Научившись порядочно рисовать, онъ готовилъ для своихъ товарищей мѣсячные рисунки, доставалъ черезъ нихъ переписку, а однажды даже попалъ въ библіотеку какого-то князька составителемъ каталога. Онъ приносилъ деньги прямо въ руки отцу.

— Два рубля, папа, говорилъ онъ.

— Откуда?—Васюта? а? откуда?

— Укралъ! шутливо отвѣчалъ Вася. Старикъ начиналъ смѣяться, Вася—тоже, и опять дѣло кончалось обниманіями и цѣлованіями.

Ежегодно все семейство приходило въ нѣкоторое волненіе передъ вербами. Надо сказать, что Катя была образцовой, чуть не первой въ Петербургѣ кукольной швеей. Она умѣла одѣвать такъ изящно десятирублевыхъ куколъ, что всѣ заглядывались на нихъ, а торговцы, безъ всякаго спора, платили ей по полтиннику за штуку. Вася къ вербамъ обыкновенно выдѣлывалъ херувимовъ, а самъ старикъ занимался клейкою домовъ изъ картона, съ башнями, съ садами, съ сараями и конюшнями. Прежде, бывало, старикъ подавалъ прошеніе, и на столько былъ

счастливъ, что всегда получалъ мѣсто *) хотя не изъ первыхъ №№, но вмѣстѣ со множествомъ херувимовъ, куколъ и картонныхъ домовъ, торговецъ давалъ ему шестьдесятъ—семьдесятъ рублей. Въ нынѣшнемъ году Андрей Петровичъ захотѣлъ самъ попытать счастья въ торговлѣ.— „Что, въ самомъ дѣлѣ, разсуждалъ старикъ, свое терять! Вотъ домъ—за домъ мнѣ торговецъ дастъ полтинникъ, а самъ съ покупателя сдеретъ три рубля. А мнѣ хоть-бы два рублика дали — и то хорошо!“ — И возмечталъ старикъ зашибить нынѣ, на вербахъ, рублей двѣсти, а то пожалуй и триста. Вася совсѣмъ выросъ изъ мундира: надо купить новый; Катя растетъ — «хочется, знаю я, хочется дѣвчонкѣ пощеголять! посмѣивался старикъ— какъ не корчи изъ себя монахиню, а молодость беретъ свое!»—Старикъ весь былъ поглощенъ въ думы и мечтанія о предстоящихъ вербахъ; ему даже казалось, что воробьи подъ крышей ясно вычиликиваютъ: «вербы! вербы! вербы!»

*) Для полученія дароваго мѣста, надо подать прошеніе начальнику полиціи, со свидѣтельствомъ о бѣдности и получить оттуда номерованный билетъ. Такъ-какъ, само собой разумѣется, желающихъ занять отведенныя для торговли мѣста на такъ называемыхъ „вербахъ“ является въ десять разъ больше числа самыхъ мѣстъ, то рѣшеніе просьбъ предоставляется фортунѣ: розыгрывается лоттерея. Тутъ бѣдняку можно выиграть иногда хорошее мѣсто; за билетъ на первые номера мѣстъ до седьмаго дадутъ 25—30 руб. Не можемъ не замѣтить, что цѣль помочь бѣднякамъ подаркомъ даровыхъ мѣстъ для торговли „на вербахъ“ вовсе не достигается: тутъ собираютъ жатву маклаки и кулаки.

Мы застаемъ веселаго старика возвращающимся домой съ билетомъ въ карманѣ. Мелкими шажками неспѣшно двигается онъ впередъ, блеститъ козырекъ его старомоднаго картуза, и никто не знаетъ сколько подъ этимъ картузомъ роится самыхъ веселыхъ и счастливыхъ мыслей, надеждъ и мечтаній. И чудится старику, что даже извощичья пролетка ясно выгромыхиваетъ «вербы! вербы! вербы!» что даже лошадь будто отбиваетъ копытами: вербы,—вербы!

И веселится стариковское сердце. Чинно идетъ онъ въ своемъ старомодномъ картузѣ съ блестящимъ козырькомъ, мелконько шагаетъ ногами въ глянцовито-вычищенныхъ сапожкахъ, и порой, приподнявъ картузъ, отираетъ цвѣтнымъ бумажнымъ платкомъ потъ со своей лысины.

Вербы: вербы! вербы!

Весело входитъ старикъ въ свою каморку. Разноцвѣтная бумага и разноцвѣтные лоскутки пестрѣютъ по всей комнатѣ. У Васи въ рукахъ болвашекъ для выдѣлки херувимовъ къ вербамъ; Катя мурлыкаетъ какую-то пѣсню, и шьетъ, пристально шьетъ бальное платье для куклы, предназначенной къ вербамъ, на продажу. Покуда старикъ аккуратно обдувалъ пыль со своего картуза и вытиралъ платкомъ блестящій козырекъ, дѣти продолжали заниматься своимъ дѣломъ, только Вася урывкомъ спросилъ: „подалъ?“ — и получивъ утвердительный отвѣтъ:

„подалъ, подалъ, Васька! къ новому мундиру, Васюкъ!“— мальчикъ вновь обратился къ своей работѣ. Старикъ снялъ пальто, повѣсилъ его, и тщательно обмелъ; съ сюртукомъ и остальнымъ костюмомъ была таже исторія — и исторія, надо сказать, очень продолжительная. Старикъ то постукивалъ голичкомъ, да шаршавилъ щеткой, то просто пальцами снималъ приставшія пылинки и пушинки. Наконецъ, онъ надѣлъ халатъ, и съ наслажденіемъ усталаго человѣка сѣлъ на стулъ, передъ столомъ, гдѣ красовался на половину склеенный уже, красный картонный домикъ. Старикъ былъ веселъ: ему не хотѣлось сейчасъ-же приниматься за работу. Ему хотѣлось отдохнуть и побаловаться, повеселиться, поболтать.

— Ребята, сказалъ старикъ, даже не много развалившись на стулѣ и разглаживая между ладонями какой-то билетикъ. Номеръ двѣсти четырнадцатый! Выиграемъ первое мѣсто:—Катькѣ атласу, канифасу, зонтикъ антука! Васькѣ—коту—новый мундиръ и сапоги съ калошами и со скрипомъ. Отставному губернскому секретарю Андрею Петрову сыну Орефьеву дюжина носовыхъ платковъ и вволю французскаго нюхательнаго табаку.... къ Пасхѣ куличъ и окорокъ,—цѣлый окорокъ!

Маленькое брюшко старика дрожало отъ смѣха при этой юмористической рѣчи, но онъ старался не смѣяться.

— Отставному губернскому секретарю надо-бы еще

прикинуть сапоги хоть безъ скрипа, сверхъ платковъ, французскаго табаку.—Да недурно-бы позаботиться и о новыхъ воротничкахъ къ рубашкамъ, серьезно сказала Катя.

Старикъ расхохотался.

— Что надо отставному! смѣялся онъ. Табаку-бы вволю!...

— Отставному долги платить еще надо, замѣтилъ Вася.

— Заплачу, Васюкъ! Вонъ у меня ужъ шестнадцать собственныхъ домовъ стоитъ.... Ну, поблагословясь, за семнадцатый!

И старикъ бойко принялся за работу.

На лоттерею, Андрей Петровичъ—чего прежде никогда не бывало—отправился самолично. Присутствовать на самомъ розыгрышѣ ему, впрочемъ, не пришлось. И лѣстница и всѣ входы были запружены самой пестрой разнокалиберной толпой.

Тутъ были и старушки въ бѣличьихъ салопчикахъ, и отставные солдаты въ сѣрыхъ шинеляхъ и бѣлыхъ фартукахъ, старики-чиновники въ фуражкахъ съ кокардами, сѣдоусые офицеры въ легкихъ шинеляхъ съ капишонами, оборванныя бабочки-солдатки и цѣлая куча всякихъ разночинцевъ въ пиджакахъ, въ шубахъ, въ сибиркахъ, и даже во фракахъ объ одной фалдѣ. Все это шумѣло, жуж-

жало, гудѣло, и волновалось. Андрей Петровичъ не пошелъ въ толпу, а остановился на крыльцѣ. По панели вальяжно прохаживались, замотнувъ руки за спину, болѣе или менѣе толстопузые торговцы въ сибиркахъ и шубахъ. Лица ихъ были солидны; они небрежно мотали головами и лѣниво выкидывали ногами, точно стараясь стряхнуть грязь съ сапогъ. Тутъ, конечно, были и Митинька (для всѣхъ другихъ Митрій Ѳокичъ, а для Андрея Петровича, знавшаго его еще мальчишкой Митькой — Митинька).

— Ну, какъ батюшка Андрей Петровичъ, неужели и въ самомъ дѣлѣ не споемся нынѣ? спрашивалъ Митинька.

— Нѣтъ, Митя, хочу самъ торговать... Попробую. Охота!

— Давай Богъ, давай Богъ! Только скажу я вамъ глупое мое слово—дай Богъ ему не сбыться — проторгуетесь вы!

— На все, Митя, Богъ....

— Такъ-то такъ. А только-что отъ чистой души говорю—васъ заплюютъ. Вѣдь у насъ народъ ловчакъ. Я-же первый могу васъ сейчасъ притѣснить...

— Чѣмъ-же, Митя?

— Да мало-ли-съ! Только захотѣть! Первое дѣло васъ я загорожу выставкой, такъ-что никто изъ публики васъ

и не увидитъ. Второе дѣло, поставлю трехъ человѣкъ съ воздушными шарами, человѣкъ двухъ съ апельсинами да съ лимонами,—натурально-съ, они будутъ толкаться около вашего магазина и не допущать къ нему публику, а я поторгую пососѣдству: мнѣ никто не помѣшаетъ!... А вы на грошъ не продадите, ни на полушку! громко толковалъ Митинька.

— Что-же ты за святой Митя! разсмѣялся старикъ. Мнѣ будутъ мѣшать, а тебѣ...

— Не будутъ-съ, Андрей Петровичъ! Отъ чистаго сердца говорю: мнѣ не будутъ, а вамъ будутъ. Я не святой, а я торговецъ-съ. Этакъ, который ко мнѣ съ шарами-то подойдетъ, я либо по шеѣ, либо—чиркъ ножичкомъ нитку: шары и вздымутся, лови ихъ! Али теперь взять лотокъ съ апельсинами да лимонами, развѣ вы вышибите у него, у разбойника, изъ рукъ, такъ, чтобы никто этого не видалъ и не замѣтилъ. Ну, а мы-съ—по чистой совѣсти говорю — я однимъ мизинчикомъ лотокъ опрокину, да еще по шапкѣ ему накладу: «какъ ты, подлецъ, смѣешь около моей выставки апельсины просыпать! Подбирай живѣе, разбойникъ! — У насъ вотъ какъ-съ. Ну, они, натурально и боятся, и почитаютъ, и не смѣютъ.... Кромѣ всего того и одолженіе ему дѣлаешь! — товаришко его постережешь, въ лавку на ночь дозволишь поставить, деньги размѣняешь. Ну, онъ—твой человѣкъ.—

«Семенъ, скажешь, вотъ жолтоглазой выѣхалъ. Чиновникъ торгуетъ: урть!» Ну, натурально, и завертится онъ около вашей выставки: «апельсины лимоны хороши»—и никого изъ покупателей къ вамъ не допуститъ. Вы будете сердиться, а запретить ему не можете, да и лотка опрокинуть не съумѣете.... Такъ-то-съ! А торговцы кругомъ будутъ хохотать, будто на травлю какую. Одну титулярную совѣтницу этимъ манеромъ мы, въ прошломъ году, до того дотравили, что со старухой истерика сдѣлалась. Пала да и завыла: Кузя! Кузя!... было смѣху-то!

— А не хорошо это, Митя!

— Что дѣлать-съ, батюшка Андрей Петровичъ! Дѣло торговое, надо порядокъ соблюдать. Зачѣмъ не въ свое дѣло сунулась!—Сама виновата.

— А я все-же, Митинька, попробую.

— Попробуйте, батюшка, попробуйте! Только—отъ чистой совѣсти говорю—заплюютъ.

Въ это время поднялся прежестокій гвалтъ и прежде чѣмъ Андрей Петровичъ успѣлъ опомниться, Митинька уже кинулся въ свалку, происходившую около крыльца. Торговцы теребили какого-то старика. Окруженный ими бѣднякъ совершенно потерялся; онъ высоко держалъ надъ головой въ лѣвой рукѣ какую-то бумажку, и, семеня ножонками, вертѣлся отъ одной бороды къ другой, отъ сибирки къ шубѣ, отъ бобровой шапки къ картузу, рѣши-

тельно не понимая, что ему дѣлать. А вокругъ него кричали: «десять! больше десяти никто не дастъ! Нынѣ не прошлый годъ! Ну, такъ и быть одиннадцать. Погода сырая! Какая погода! Ну, вотъ рука—бери одиннадцать съ полтиной!» Бѣднякъ, оглушенный этимъ воемъ и задержанный за рукава и фалды, совсѣмъ засовался и потерялся. Андрей Петровичъ не безъ горькой жалости смотрѣлъ на эту сцену, и аккуратно растиралъ свою лысину бумажнымъ платкомъ. Вдругъ раздался чей-то громовой голосъ: «второ-о-ой! втоо-рой!» — и отъ совершенно потерявшагося старика отхлынули торговцы къ какой-то старухѣ-солдаткѣ. Остался одинъ Митя; крѣпко обнявъ старика онъ шепталъ ему на ухо: «какъ другу—отъ чистой совѣсти—двѣ красненькихъ: больше ни полслова!»—Всунувъ двѣ красненькихъ въ руку старика и получивъ отъ него билетъ, торжествующій Митя весело раскланивается съ Андреемъ Петровичемъ и идетъ въ трактиръ запивать литки. Андрей Петровичъ прохаживается по панели и полный всякихъ упованій дожидается конца. Вотъ—почти всѣ торговцы разошлись, толпа схлынула и Андрей Петровичъ подымается на лѣстницу...

Счастье ему не измѣнило: онъ выигралъ мѣсто подъ номеромъ семдесятъ девятымъ.

Въ четвергъ Андрей Петровичъ былъ у заутрени, онъ

усердно молился Богу, роздалъ нищимъ десять копѣекъ, и раненько, пока еще спали дѣти, ѣхалъ съ ящиками и коробками на свое мѣсто. Около Гостинаго уже кипѣла жизнь, таскали, колотили молотками, прилаживали доски, устраивали выставки и разставляли товары. Старикъ, заготовившій свою выставку дома, радостно поставилъ ее на мѣсто, и началъ разставлять товаръ. Утренній холодокъ одувалъ его, вѣтерокъ шелестилъ нарядами куколъ: на нѣкоторыхъ даже звенѣли бубенчики. Радовалось стариковское сердце. Галлереи Гостинаго двора и улицы были еще пусты: суетились только торговцы, а скоро настанетъ суета, шумъ, бойкая торговля. Старикъ со страхомъ дожидалъ этого часа...

И началась суета... Толпа, давка, воздушные шары, покульки, свистульки, пищалки, крики: «пожалуйте!»— «пятнацать!» — «Господинъ!» — «Двадцать пять!»—«Я-те въ морду скотина!»—«Извините сударыня!»—«Эй, шляпа, шляпа!» и проч. Толстопузый отецъ семейства играетъ на дудочкѣ, солидный генералъ пробуетъ, какъ пикаетъ бумажная утка, старичище—статскій совѣтникъ свиститъ въ свистульку: хороша-ли она? пожилая дама барабанитъ на игрушечномъ барабанѣ.

Вербы! вербы! вербы!

Шумъ, крикъ, говоръ, суматоха. «Шары воздушны!» «Правила воинской повинности!» «Грецки губки!» — все

это жужжитъ въ ушахъ Андрея Петровича, и толпа ходитъ и толкается около него, а никто ничего не покупаетъ, даже никто не торгуется, не спрашиваетъ цѣнъ... и вспомнилъ тутъ Андрей Петровичъ совѣты и предсказанія Митиньки. Около него толпились апельсинщики, продавцы воздушныхъ шаровъ и грецкихъ губокъ, не смѣвшіе приступить къ мѣстамъ «настоящихъ» торговцевъ. Вонъ одинъ изъ нихъ оплошалъ, завертѣлся около торговца халвой, продавая барынѣ воздушный шаръ, и вдругъ всѣ шары его полетѣли вверхъ къ всеобщему удовольствію публики. Андрей Петровичъ самъ видѣлъ, какъ торговецъ халвой незамѣтно чиркнулъ ножичкомъ по веревкѣ, къ которой были привязаны шары, но готовъ былъ не вѣрить своимъ глазамъ, слушая соболѣзнованія этого торговца.

Экой ты, братецъ, можно сказать, неосторожный, говорилъ онъ плачущему мальчишкѣ, побѣжавшему было за улетающими шарами, но воротившемуся на мѣсто, убѣдившись въ невозможности поймать ихъ. Неосторожность, братецъ, все одно, что простота—хуже воровства... Этакіе хорошіе воздушные шары носишь ты на гнилой веревкѣ: мудрено-ли шарамъ сорваться!

И хохочутъ кругомъ надъ оплошавшимъ мальчишкой. А торговецъ продолжаетъ разсыпаться въ наставленіяхъ.

— Какъ-же можно! въ нихъ, братецъ, въ этихъ

воздушныхъ шарахъ воздухъ: какъ-же теперь ихъ на гнилую веревку можно привязывать: сейчасъ и оборвутъ. Да! вотъ, братъ, то-то! Ты съ этими шарами не шути!

Старикъ Андрей Петровичъ понималъ, что и онъ могъ-бы устроить что нибудь въ родѣ этого съ толпившимися около него и мѣшавшими ему торговать разнощиками, но совѣсть его возмутилась при одной мысли объ этомъ,— и онъ даже покраснѣлъ.

— Братцы! отойдите вы хоть немножко! умолялъ только старикъ. Вѣдь вы затѣняете меня, вѣдь проходу никому нѣтъ черезъ васъ! Бра-атцы!

«Братцы», само-собой разумѣется, не обращали на эти вѣжливыя просьбы никакого вниманія, и заглушали дребезжащій голосъ старика криками: «шары воздушны!» «грецки губки!» «бумага почтова!» «апельсины лимоны!» и проч.

Загрустилъ и опустился старикъ. Видно не будетъ Васькѣ ни новаго мундира, ни сапогъ со скрипомъ, а Катѣ придется обойтись безъ атласу, канифасу и зонтика антука.

Въ три часа, прямо изъ гимназіи, прибѣжалъ къ нему Вася.

— Ну что, какъ? радостно спросилъ онъ отца.

— Плохо, Васенька. Два домика у меня у несли да кто-то куклу-паяца выкралъ: съ шеркунчиками-то которая, печально отвѣчалъ старикъ.

— Эхъ, ты—горе-купецъ! засмѣялся сосѣдъ-торговецъ халвой.

— А на много, папка, продалъ? смущенно спросилъ Вася.

— Продалъ куколку за десять копѣекъ... Вася! Вася! Домъ-то, домъ! большой домъ украли: сейчасъ былъ, а ужъ вонъ—ахъ, ты Господи,—ужъ нѣту!

Готовый плакать старикъ засовался около своей выставки... И понялъ онъ, что ему торговать нельзя...

Въ тотъ-же вечеръ произошло свиданіе съ Митей, и Митя, вручая Андрею Петровичу семдесятъ пять рублей, приложилъ къ нимъ еще приличное нравоученіе:

— Батюшка, Андрей Петровичъ! Самъ сочинитель Пушкинъ сказалъ: «бѣда коли станетъ печь пироги сапожникъ». А ужъ гдѣ вамъ-съ! Просты вы, батюшка, а у насъ народъ—воръ!

Нужда скачетъ; нужда пляшетъ; нужда пѣсенки поетъ.

Когда вы прохаживаетесь на такъ называемыхъ «горахъ» о масляной и о святой недѣлѣ, когда вы смотрите на «дѣдовъ», возбуждающихъ больше жалость и негодованіе, чѣмъ смѣхъ, который они натуживаются возбудить, когда вы смотрите на разрумяненныхъ, полупьяныхъ дѣвушекъ—карусельныхъ танцовщицъ, на клоуновъ, бросающихъ въ глаза другъ другу муку и колотящихъ другъ друга по щекамъ и проч.,—приходитъ-ли вамъ на мысль вопросъ: что это за люди — эти гаеры, клоуны, дураки, плясуньи и люди переряженные въ медвѣдей?—Для чего эти люди,—ради-ли одной только вашей потѣхи, или ради чего другаго, дозволяютъ бить себя публично по щекамъ, бросать себѣ въ лицо муку, колотить себя палкой и проч.? — Для чего эти люди выставляютъ себя на позоръ? Кто они такіе? Что это такое?

Это—нужда скачетъ, нужда пляшетъ, нужда пѣсенки поетъ.

Если читатель не побрезгуетъ познакомиться съ дѣ-

дами, съ карусельными танцовщицами, паяцами и гаерами въ ихъ семейномъ домашнемъ быту, я познакомлю его. Брюзгливаго читателя я долженъ предупредить, что онъ встрѣтитъ въ этомъ очеркѣ бѣдность и нужду настоящую—сердитую, грязную, нечесанную, немытую, вонючую, коростливую—отвратительную бѣдность, а не чистенькую, добренькую бѣдность съ опрятностью и маленькимъ, сообразно средствамъ, комфортомъ. Нѣтъ! — Если вы вмѣстѣ съ моей фантазіей зайдете въ Канонерскую улицу, въ домъ № 0—тамъ ничего чистенькаго и добренькаго не найдете. — Пожалуйте! — Квартира въ развалившемся деревянномъ домѣ, на чердакѣ. Ступени на лѣстницѣ на половину выпали—скачите! — вотъ виситъ рваная ватная юбка надъ вашей головой—нагибайтесь! Зажмите носъ... осторожнѣе: тутъ поганое ведро... Все покосилось, все искривилось, все разваливается: грязь, вонь, ветхость... Темно, мрачно, душно, гадко. Тише отворяйте эту покосившуюся, мокрую, черную дверь, съ которой текутъ ручьи сажи, скобка которой обмерзла и обледенѣла: если сильно дерните—дверь сколочена изъ трехъ досокъ— и одна изъ нихъ можетъ оторваться и повиснуть въ вашихъ глазахъ. Когда отворите—знайте—оттуда хлынетъ облако вонючаго пара, точно изъ прачешной: будутъ двѣ тучи: — сверху хлынетъ паръ изъ комнаты — нѣтъ:—изъ этой вонючей собачей кануры, изъ этого свинаго хлѣва—

густой и вонючій бѣлый паръ, а снизу хлынетъ туда бѣлая волна свѣжаго холоднаго воздуха. — Рекомендую: — здѣсь, въ этомъ хлѣвѣ живетъ отставной титулярный совѣтникъ Александръ Павловичъ Синицынъ съ семействомъ: супругой Анной Степановной и дочками Таничкой и Олей. Самъ старикъ въ оборванномъ сюртучишкѣ, какъ съумасшедшій, цѣлые дни толкался въ тѣсной конурѣ, и при толчкахъ супруги и дочекъ, только храпѣлъ какъ-то носомъ и бормоталъ про себя: «урвать! уворовать!» Анна Семеновна больше все сидѣла у окошка, курила табакъ изъ трубки съ длиннымъ чубукомъ и выпускала дымъ къ небу, задирая для этой надобности голову вверхъ, точно корова, подмыкивающая теленка. Порой она взглядывала въ окошко и восклицала: «ахъ, какой антиресный въ шляпѣ прошелъ!»—и опять шумно пускала дымъ въ потолокъ. А потолокъ былъ черный, стекла въ окнѣ (единственномъ окнѣ) черныя, полъ черный, стѣны черныя, покосившаяся и полуразвалившаяся русская печка—черная, тряпки на постелѣ (о, Господи, сколько тряпокъ, изъ подъ которыхъ торчатъ клочья грязной ваты!) — черныя, столъ черный: все сумрачно, грязно, вонюче, безъютно, голо, жалко. На Аннѣ Семеновнѣ рваная прерваная — точно злыя собаки рвали—ватная юбченка, а сверху прокоптѣлая прорѣшетившаяся, грограновая мантиль, которой очень дорожитъ и гордится Анна Семеновна и не про-

даетъ ее, тѣмъ болѣе что уже нѣсколько лѣтъ назадъ всѣ татары отказались даже торговаться на эту дрянь. Сидитъ Анна Семеновна и куритъ, и пускаетъ дымъ въ потолокъ. Обѣ дочки гадаютъ въ карты—въ замасленныя и грязныя карты; у обѣихъ по колодѣ; обѣ гадаютъ на трефоваго короля. На одной какая-то ватная кацавейка съ общипаннымъ мѣхомъ, надѣтая прямо поверхъ рубахи, юбкой точно трубу чистили. Это старшая—Таня. Ей лѣтъ тридцать, она щедровита, неблагообразна, ротъ у ней широкій, и когда говоритъ, то стучитъ зубами: будто овца жуетъ жвачку съ чувствомъ и со смакомъ; отъ нея всегда пахнетъ лукомъ и всѣмъ чѣмъ-то нехорошимъ и неопрятнымъ. Младшая—Оля одѣта въ платье — что это за платье! и широко-то оно, и длинно-то, такъ что когда Оля, подпоясанная кожанымъ ремнемъ стоитъ на ногахъ, она очень похожа на послушника: юбокъ нѣтъ, платье обвисло, рукава по локоть... но бѣдная дѣвочка франтитъ этимъ платьемъ: за него она изъ собственныхъ своихъ денегъ уплатила жидовкѣ шестьдесятъ копѣекъ серебромъ. Олѣ лѣтъ семнадцать, она стройная красивая дѣвушка; она блѣдна, на верхней губѣ у ней бородавочка и маленькій пушекъ, какой бываетъ у тринадцатилѣтняго мальчика; глаза у ней большіе, бычьи съ чистыми бѣлками, волосы темные, стриженые въ кружокъ; но отъ нея тоже всегда пахнетъ потомъ и лукомъ.

Въ чернотѣ, въ грязи, между тряпокъ и клочковъ ваты и этихъ женщинъ, восклицающихъ: „Гдѣ-то шарманка играетъ?“—«Таня, вѣдь бубновый тузъ: письмо?» — «Мнѣ—дорога: червонная шестерка прямо на сердце легла!»—«Охъ, какой антересный прошелъ сейчасъ—пальто бисмарковаго цвѣта» и проч.,—среди этого хаоса и вони толкается титулярный совѣтникъ, царапаетъ ногтями небритую бороду, смотритъ на все съумасшедшими глазами и бормочетъ: «урвать! уворовать!»—А вотъ и бунтъ: кофей варить не на чемъ. И перила отъ лѣстницы, и многія ступеньки, и кой-какія доски съ крыши — все перерублено и сожжено.

— Господи! что-же это будетъ? кричитъ Таня.

— Ни на что не похоже, жмурится Оля.

— Вонъ мучитель-то ходитъ: вонъ спросите его! кричитъ Анна Семеновна, жестикулируя своимъ чубукомъ.

«Мучитель» мотаетъ головой, усаживается на тряпки, что на постели, и начинаетъ прилаживать опорки. Онъ чувствуетъ, что онъ во всемъ виноватъ, чувствуетъ, что напрасно онъ женился на барышнѣ, курящей трубку, и напрасно ударилъ по щекѣ начальника отдѣленія, когда лѣтъ пятнадцать назадъ, засталъ его въ спальнѣ жены..... за что и былъ выгнанъ изъ службы по третьему пункту: впредь никуда не принимать. Чувствовалъ отставной титулярный совѣтникъ Александръ Павловичъ, что онъ во

всемъ виноватъ, и шелъ уворовывать гдѣ-нибудь тумбу, полѣно, или доску... Кофей варился Таней; Оля продолжала гадать; Анна Семеновна курить и смотрѣть въ окошко. Слышались только восклицанія: „Ахъ, какая богатая муфта—барыня сейчасъ прошла!"—или «Таня, вѣдь пиковая девятка къ досадѣ? ахъ ты Господи!...» И опять толкался между ними отставной титулярный совѣтникъ, шлепая туда и сюда по разщеленному полу своими босыми ногами.

Вотъ отворяется дверь и входитъ одинъ женихъ—интендантскій писарь. Ахъ, какъ онъ ловокъ и развязенъ, какъ блестятъ его мѣдныя пуговицы, а бронзовая цѣпочка на партикулярномъ жилетѣ горитъ, какъ огонь. Онъ встрѣтилъ Олю очень недавно, но успѣлъ ее сводить уже въ раекъ маріинскаго театра на представленіе фокусника Беккера и поднести ей стихотвореніе:

Я на первомъ семъ листочкѣ
Напишу четыре строчки:
Кто любитъ болѣе тебя,
Пусть пишетъ далѣе меня...

Онъ считалъ себя самымъ образованнымъ человѣкомъ во всемъ интендантствѣ по той причинѣ, что читалъ романъ «Вѣчный Жидъ» и зналъ говорить: вмѣсто графинъ—карафинъ, вмѣсто бокала—покалъ и проч.

— Зашли-съ мы вчера въ кафе-ресторацію, болтаясь

изъ стороны въ сторону, говорилъ онъ, — подалъ намъ гарсонъ карафинъ дрирому, выпили мы по три покала и охмѣлѣли... едва я га-галоши мои надѣлъ!...

И галантничаетъ онъ, и вертитъ своими въ глянецъ вычищенными сапогами.—И вретъ, и вретъ...

— Нанялъ я вчера фіакръ до монумента Петра I. Поспорилъ съ пріятелями, что я не доѣду туда въ четверть часа... выигралъ пари три рубля... Хорошій былъ фіакръ! И прочиталъ на памятникѣ надпись: «подъ камнемъ симъ покоится прахъ императора Петра Великаго.» — А вы слышали — говорятъ, намъ скоро офицерскую форму дадутъ и полусабли съ темляками... да и что-же? — недавно одинъ писарь у насъ получилъ Георгія первой степени... Какую штуку удралъ! — Является герцогъ Клюзере съ талономъ и требуетъ выдачи, а тотъ храбро ему: «у васъ, говоритъ, талонъ фальшивый» — вотъ за храбрость и выдали! А герцогъ Клюзере высланъ куда-то, кажется, въ Эльзасъ, или въ Лотарингію...

Само собой разумѣется, что этотъ мусью съ глянцевито напомаженными волосами, съ глянцевито вычищенными пуговицами и сапогами, кобенившійся изъ стороны въ сторону, чтобы показать свою бронзовую, также очень глянцевито вычищенную цѣпочку, говорилъ о женитьбѣ на Олѣ такую же правду, какъ и о писарѣ, получив-

шемъ Георгія первой степени, или о герцогѣ Клюзерѣ, сосланномъ въ Эльзасъ или Лотарингію. Это былъ—Ловласъ самый опасный изъ всѣхъ писарей интендантскаго вѣдомства. Онъ доходилъ до того, что, когда у него не было чистой манижки, выкраивалъ изъ казенной бумаги воротнички, а иногда и рукавчики, да такіе хорошіе, что въ нихъ держались очень прочно золотыя запонки, купленныя въ табачной лавкѣ за десять копѣекъ серебромъ. И франтилъ-же Иванъ Иванычъ (такъ звали Ловласа) въ этой грязи, въ этомъ убожествѣ: онъ понималъ и хорошо чувствовалъ, что онъ тутъ король, что можетъ кривляться сколько угодно — никто его не посмѣетъ остановить: все хорошо. И вотъ онъ покушается поднять старика на смѣхъ.

— Что вы топочитесь?—Какъ будто нѣкоторымъ образомъ ясное подобіе топоту коня, вальяжно говоритъ онъ.

Старикъ молчитъ. Иванъ Иванычъ вытягиваетъ во всю длину свои ноги, выставляя на показъ свои блестящіе сапоги.

— А какой у васъ сюртучекъ! Прехорошенькій! Альванго вѣрно шилъ: по кружевамъ видно! Этакихъ кружевъ, я думаю, въ самой Турціи не выдѣлываютъ: вѣрно, изъ самой Сарептской имперіи... Сами сарепты плели...

И вальяжничаетъ, и хохочетъ глянцевитый франтъ, и чувствуетъ, что онъ высокая особа, что онъ торже-

ствуетъ. А бѣдность ходитъ около него и услуживаетъ ему. Послѣдняя заварка чая брошена въ чайникъ съ отбитымъ носкомъ, Таня сбѣгала въ трактиръ (за неимѣніемъ копѣйки, она долго молилась маркитанту, чтобы отпустилъ ей въ долгъ кипятку), заварила чай, и тайкомъ за занавѣской наливается чай въ лучшій черепокъ именитому гостю. А онъ только вытягиваетъ ноги, да показываетъ свои глянцевитые сапоги, да вретъ, что у него однажды украли разныхъ золотыхъ и серебряныхъ вещей на пять тысячъ сто двадцать два рубля... Не подозрѣваетъ этотъ человѣкъ, сколько онъ производитъ хлопотъ и смятеній своими визитами. Вотъ онъ пришелъ; нѣтъ сахару: тайкомъ ускользаетъ въ лавочву подушка... Вотъ онъ пришелъ; нѣтъ чаю: поиски татарина и продажа юбки за десять копѣекъ... Экстренный человѣкъ— женихъ!

— Какой онъ антересный! Глаза — одни глаза! качаясь говорила Анна Семеновна, пуская дымъ въ потолокъ. Онъ всѣхъ насъ прокормитъ, только далъ-бы Богъ! Олинька, ты съ нимъ поласковѣе... Вотъ скоро Пасха, на Пасхѣ мы поправимся: всѣ пойдемъ къ Василью Малафѣичу — пусть Богъ его судитъ за то, что онъ Юрію Милославскому, на масляной, выломилъ два ребра, а Омляшу своротилъ скулу — Господь съ нимъ! Всѣ пойдемъ! Всѣ къ нему! — Карусели теперь у него устроены

отличныя, теплыя... Поправимся, я выкуплю салопъ — и покажемъ себя... не уронимъ себя передъ нимъ... тогда онъ пойметъ.

И пыхала дымъ изъ своего чубука въ потолокъ Анна Семеновна.

— Ни за что не пойду нынѣ на карусели, кричитъ Олинька. Покорнѣйше васъ благодарю! Вы хотите, чтобъ онъ меня увидалъ и бросилъ!

— Полно пожалуйста юлить! Почемъ онъ тебя узнаетъ: ты будешь загармирована...

— Покорно васъ благодарю!

Начинается перебранка. «Да ужъ пожалуйста! Вы хороши. Васъ съ чиновникомъ поймали, а меня еще никто не ловилъ. Ужъ пожалуйста!»—Молчи! визжитъ Анна Семеновна. Въ смирительный домъ упрячу! — «Ужъ пожалуйста!»—Замолчишь ты!—«Ужъ пожалуйста!» и проч.

— А вы, сударь, повелительно качая головой, говоритъ Анна Семеновна мужу—вы, сударь, если и теперь, какъ на масляной, не найдете мѣста при билетахъ—въ дѣды!..

— О, чортъ-бы васъ побралъ! мнѣ хоть въ прадѣды! Хоть-бы въ острогъ, хоть-бы сдохнуть! бормочетъ старикъ. Урвать! уворовать! И болтается по комнатѣ: сѣсть ему негдѣ.

Не такъ сговорчива Олинька. Чтобы урезонить ее, мать прибѣгаетъ къ авторитету жениха.

— Хочу, Иванъ Иванычъ, Олиньку въ актрисы отдать: такъ она любитъ, такъ любитъ танцы! говоритъ Анна Семеновна.

— Это хорошо. Я былъ знакомъ съ одной французской актрисой, такъ она пахитосы и табахитосы курила. Это хорошо, рѣшительно объявляетъ Иванъ Иванычъ, выставляя на видъ свои глянцевитые сапоги.—Знаете, нынче вышли новыя цыгарки à ла петитъ. Не пробовалъ еще: говорятъ, хороши, кочевряжится и небрежничаетъ онъ.— А вы, Ольга Александровна, на какое амплоа хотите?

— Я люблю танцы.

— Значитъ, примадонной. Это хорошо... Я со многими былъ знакомъ, у нихъ у всѣхъ этакіе сардоническіе взгляды... и проч.

Неизвѣстно, эти-ли лестные отзывы Ивана Иваныча о танцовщицахъ, или просто на просто кусанія этой вонючей, злой, эхидной, безпощадной гадины-нужды заставили Олиньку согласиться сдѣлаться на всю пасхальную недѣлю карусельной балериной вмѣстѣ съ Танечкой и мамашей. Старика нарядили дѣдомъ, и, въ ожиданіи богатаго вознагражденія въ видѣ тридцати пяти рублей за всю недѣлю (конечно всему семейству),—пошла потѣха...

Въ первые дни пасхи вы, вѣрно, видѣли его... Несмотря на то, что онъ дѣятельно—стаканъ за стаканомъ—осушалъ хозяйскую четвертную, назначенную для согрѣ-

ванія артистовъ, голосъ его дрожалъ, когда онъ, перекинувъ за бортъ ногу въ лаптѣ, выкрикивалъ народу свои заученныя глупости... «Есть у меня часы — ходятъ безъ завода три года: надо только носить; ходъ самый законный, какъ деготькомъ помажешь примѣрно — завсегда идутъ вѣрно»... и часто обрывался голосъ Александра Павловича. Кто его знаетъ: вспомнилось-ли ему то время, когда у него въ самомъ дѣлѣ были часы, далекое, счастливое, навсегда минувшее время, или онъ просто совѣстился своей роли: пакля вмѣсто парика и бороды будто жгла ему щеки, такъ что въ антрактахъ онъ часто сдергивалъ свою бороду изъ пакли и бросалъ ее куда ни попало, а кто его знаетъ—можетъ быть, ему еще тяжелѣе было видѣть около себя набѣленную и разрумяненную жену, одѣтую плясуньей. Она вертѣлась около него, и чтобы разсмѣшить публику, тоже откалывала разныя глупыя штучки: пихала его сзади колѣнкомъ, вертѣла за плечи, рвала за бороду, била по щекамъ, показывала кукиши и проч. Обѣ дочери, на виду отца, плясали; гоготъ и восторгъ публики подкупалъ ихъ дѣлать самыя неприличныя тѣлодвиженія; проходящіе кавалеры безцеремонно щипали ихъ за что попало, издѣвались и хохотали надъ ними...

О, тридцать пять рублей, чего вы иногда стóите!

А вотъ и онъ—и Иванъ Иванычъ... Какъ ни загри-

мирована была Олинька, а онъ узналъ ее. Какъ она смутилась! а мужики кругомъ галдили! «маруха — ничего! Безъ циновки не подходи! А-тмѣнная! Стри-иженая! — А морозно ей поди въ этомъ кустюмѣ!—Привыкши, братецъ! — Опять-же водка имъ отпущается» и проч. Она готова была провалиться сквозь землю. Вотъ онъ подымается на карусель.—Антрактъ; онъ подходитъ къ ней; никогда не подходилъ онъ такъ смѣло; оттаскиваетъ ее въ сторонку и крѣпко и нѣжно жметъ ей руку такъ, что пальцы хрустятъ.

— Клянусь честью, шепчетъ онъ, я многихъ примадонновъ зналъ, но ваши па... превосходятъ... Оля, Оля!.. пойдемъ отсюда!.. Оля, тебѣ холодно... Ангелъ! Пойдемъ хоть чай пить: я хочу поговорить съ тобой... Я обожаю... Оля... Ангелъ...

— Наши замѣтятъ, робко шепчетъ Оля.

— На двѣ минуты... не замѣтятъ... Оля! Ангелъ!

— Я никогда не бывала, робко шепчетъ Оля.

— Никогда! Ангелъ!.. Поговорить, я хочу объясниться... Примадонновъ я зналъ довольно...

И жметъ и мнетъ онъ нѣжно, страстно и безцеремонно руку глупой дѣвочки, а она вся горитъ, и... идетъ за нимъ, боязливо и осторожно оглядываясь кругомъ: не замѣтили-бы. Она чувствуетъ, что пала въ его глазахъ; его смѣлость и безцеремонность смущаютъ ее, но она

хочетъ что-то объяснить ему, и, кутаясь въ рваный платчишко, идетъ за нимъ... она уже боится его. А онъ идетъ вальяжно, веселый и торжествующій, поскрипываетъ глянцевитыми сапогами и подергиваетъ на рукахъ фильдекосовыя перчатки.

Само сабой разумѣется, отсутствіе Оли, не смотря на всю его кратковременность, было замѣчено.

— Пей, пей! говорила Анна Семеновна мужу въ антрактѣ, качаясь уже не одной головой, а всѣмъ тѣломъ. Заливай! Все пропало... гдѣ дочь?.. видѣлъ дочь?

— Ну, тебя къ черту!

— Давай мнѣ дочь! злодѣй! Ты ее продалъ! погубилъ! Гдѣ Олька? гдѣ она? пищала Анна Семеновна, вцѣпившись когтями въ паклю, украшавшую голову Александра Павловича.

Испившійся въ эти дни, простуженный, больной, полуобезумѣвшій, онъ все-таки оттолкнулъ отъ себя жену съ такою силой, что та чуть не упала.

— Продала, прохрипѣлъ онъ въ великомъ негодованіи и пошелъ на верхъ, на представленіе. На эстрадѣ не было Ольги: плясала одна Таня; онъ хорошо увидѣлъ это, хорошо примѣтилъ... а вотъ и Оля. Она семенитъ, а не пляшетъ, она глядитъ убитой, смущенной, только что облитой помоями.

Бодро подошелъ старикъ къ периламъ, бодро пере-

кинулъ ногу въ лаптѣ черезъ барьеръ и замололъ свои глупости... но вотъ рѣчь доходитъ до жены. Онъ остановился на секунду, прокашлялся и началъ... звонко и четко, крикливо и раздражительно гремѣла его рѣчь. «А вотъ у меня жена трудолюбивая: весь день въ работѣ: табакъ куритъ, да въ окошко смотритъ—присматриваетъ жениха дочкамъ... А ужъ жена примѣрная, вѣрная: не больше пяти разъ у нея чужихъ мужиковъ заставалъ, братцы! Да и то всѣ приходили по дѣлу: одинъ корову лечить, другой посуду лудить... И дочекъ теперь она уму разуму учитъ хорошо: ходить учитъ... по Невскому... а вонъ онъ стоитъ, вонъ сѣрый съ пуговицами... а вонъ...»

Старикъ захлебнулся, покачнулся и грохнулся на полъ... Публика захохотала: думали, что это ловкая шутка. При помощи музыкантовъ, въ полномъ убѣжденіи, что старикъ черезчуръ выпилъ, его стащили внизъ, подъ карусель, и начали оттирать уши.

— Что-жъ ты! надо выходить, пищала Анна Семеновна, когда онъ очувствовался и, дрожа всѣмъ тѣломъ поднялся на ноги.

— Прочь отойди! пугливо крикнулъ Александръ Павловичъ на жену, точно къ нему лезла за пазуху какая отвратительная гадина.

— Надо выходить.

— Не пойду! Не буду... вы видите, я сдыхаю—дайте сдохнуть, Христа ради!

И онъ, какъ съумашедшій, началъ рвать съ головы паклю.

Татьяна, вези меня домой... дайте сдохнуть!...

Старикъ зашатался готовый упасть; его поддержали.

— Жизнь! Господи, зачѣмъ, какъ только я родился, меня не сослали на каторгу!

— Милостивый государь! жеманно качая головкой, начала было Анна Семеновна.

— Прочь! закричалъ старикъ. И будь ты проклята Это—ты, ты, ты, ты, ты!

И онъ рвалъ съ ногъ лапти.

— Ну, нахлестался братъ! Надо его домой везти, разсуждали музыканты.

— Татьяна, вези меня домой...

И старикъ опустился... Его замертво привезли домой. Таничка уложила его на полуразвалившуюся, шатающуюся, окрашенную живыми клопами, деревянную кровать, на грязныя, вонючія ватныя тряпки; предупредительно поставила у изголовья плошку съ холоднымъ вареным картофелемъ, тюричекъ съ солью и ломоть хлѣба на табуреткѣ, заперла отца на замокъ и отправилась къ своей должности—плясать.

Хорошо умиралъ старикъ... Въ духотѣ и грязи чу-

дилось ему, что онъ маленькій мальчикъ, что онъ лежитъ въ привычной чистенькой постелькѣ, закутанный въ пуховое одѣяло, что ему жарко, что у него болитъ голова, что мать сидитъ надъ нимъ и примачиваетъ виски уксусомъ, а нянька суетится... и дремалъ старикъ, хорошо и счастливо дремалъ; но вотъ по глазамъ прокатилась огненная полоска, точно накаленая желѣзинка, онъ потянулся, радостно и добродушно разстался съ жизнью и заснулъ навѣки...

ЗА НАЖИВОЙ.

Андрей Петровичъ не былъ суевѣренъ, но, увидѣвши во снѣ госпожу Филлипо, воспрянулъ. Онъ видѣлъ будто бы госпожа Филлипо дѣлаетъ тѣ самыя тѣлодвиженія, за которыя ее уже третій разъ вызываютъ къ мировому судьѣ, а онъ, будто бы, закричалъ: «Насъ хлѣбомъ не корми, а давай намъ эти бархатныя па!» — и, будто, госпожа Филлипо оскорбилась этимъ, и начала со сцены кидать въ Андрея Петровича хлѣбами: одинъ хлѣбъ, другой, третій, четвертый... пятьсотъ, шестьсотъ, пять тысячъ двѣсти... сто тысячъ... Андрей Петровичъ насчиталъ ровно двѣсти тысячъ хлѣбовъ, и все, будто, хлѣбы не простые, а изъ кухни «для снабженія бѣдныхъ пищею»—точно камни, и, будто, подъ тяжестью ихъ, онъ уже началъ задыхаться... Увидѣвши такой сонъ, Андрей Петровичъ, несмотря на то, что былъ несуевѣренъ, тотчасъ-же радостно проснулся, и воспрянулъ.

Это случилось ровно въ семь часовъ утра 2-го января 1873 года.

— Мои, мои, мои! Въ просонкахъ проговорилъ онъ, кидаясь къ столу.

Испаркавъ двѣсти тысячъ спичекъ фабрики Пономарева, покуда, наконецъ, двѣсти тысячъ первая загорѣлась, онъ зажегъ свѣчу, вынулъ изъ стола, бережно завернутый билетъ перваго внутренняго займа и съ чувствомъ поцѣловалъ его.

— Ду-ушечка!—13,031... Чертова дюжина! Ничего!— Наша! Двѣсти тысячъ наши! восклицалъ онъ, любовно разсматривая билетъ, и даже запѣлъ:

Кому клинъ,
Кому станъ,
Кому—весь сарафанъ!...

Мнѣ, мнѣ, весело подумалъ онъ:—весь сарафанъ: двѣсти тысячъ!

Андрей Петровичъ былъ еще молодой человѣкъ, служащій помощникомъ столоначальника въ департаментѣ переписки объ уменьшеніи переписки, и имѣлъ уже чинъ губернскаго секретаря. При такихъ счастливыхъ обстоятельствахъ, люди очень склонны къ влюбчивости. Онъ былъ влюбленъ и въ госпожу Филлипо, и въ Патти, и въ дочь начальника отдѣленія Ухорѣзова—Серафиму; но всѣ эти любви кончались тѣмъ, что онъ шатался по театрамъ и около дома Кукишкина, въ которомъ жилъ Ухорѣзовъ. Дѣло, даже, и въ домѣ Кукишкина, не заходи-

дило далѣе того, что онъ, спросивъ у дворника дома, какова сегодня погода, давалъ ему двугривенный и удалялся. Но, передъ свадебнымъ сезономъ, долженствующимъ начаться съ 7-го января, онъ влюбился серьезно, съ твердымъ намѣреніемъ жениться на предметѣ своей страсти—это была молодая вдова полковница, его квартирная хозяйка, съ которой онъ въ послѣднее время познакомился довольно коротко. Къ сожалѣнію, это была барыня веселая, и какъ только Андрей Петровичъ предложилъ ей руку и сердце, она захохотала и прямо спросила: «А какое вы имѣете состояніе?»

— Имѣю кое-что, застѣнчиво проговорилъ Андрей Петровичъ, вспоминая про свой билетъ внутренняго займа.

— То-есть, что-же: тюфякъ, подушку, одѣяло, да книжки Зряхова и Крестовскаго! посмѣиваясь, ѣдко сказала вдова.

— Нѣтъ-съ, обидчиво сказалъ Андрей Петровичъ: — можетъ быть, я имѣю кое-что и другое... И если не имѣю теперь многаго, то надѣюсь имѣть... А что, на счетъ сочиненій Зряхова и Крестовскаго, такъ я ужъ ихъ давно выбросилъ: очень непріятный запахъ. Будьте увѣрены, что въ будущемъ я надѣюсь...

— Ну, такъ мы съ вами и поговоримъ «въ будущемъ», захохотала вдова.—Не хотите-ли чаю?

Проснувшись въ семь часовъ утра втораго января, и достаточно налюбовавшись своимъ билетомъ, Андрей Петровичъ хотѣлъ его уже спрятать, когда ему припомнилась эта непріятная сцена со вдовой.

— Врешь! Имѣю! Самоувѣренно рѣшилъ онъ, потрясая въ рукѣ билетъ. — Имѣю! И представилась ему *она*.

Вотъ она въ черномъ шелковомъ платьѣ. Талія тоньше эрудиціи г. Лохвицкаго, волосы длиннѣе романа Боборыкина и темнѣе «Задачъ Психологіи» г. Кавелина, губки краснѣе самыхъ красныхъ делибашей изъ «Дѣла», зубки мельче, чѣмъ плаваетъ знаменитый публицистъ *Князь Мещерскій* и острѣе эпиграммъ графа А. К. Толстаго, глазки быстрѣе раззоренія на акціяхъ, взглядъ губительнѣе всякой желѣзной дороги, улыбка очаровательнѣе г. Монахова, ручка миніатюрнѣе пособія изъ литературнаго фонда, ножка короче дѣлопроизводства въ городской думѣ, гдѣ краснорѣчіе гласныхъ, не воспаряетъ дальше слова *согласенъ*. Прелестная женщина! Она обнимаетъ его, цалуетъ, проситъ купить миткалю на юбку. Но, поцѣловавъ ее, онъ объявляетъ ей, что *имѣетъ*, *имѣетъ*, *имѣетъ* достаточно средствъ для того, чтобы купить не то что миткалю, а каленкору, не то что каленкору, а кембрику, не то что кембрику, а даже нансу... Она опять цалуетъ его, и проситъ купить угольныя серьги, но поцаловавъ ее, онъ объявляетъ ей, что *имѣетъ*

имѣетъ, *имѣетъ* достаточно средствъ для того, чтобы купить не то что угольныя, а бронзовыя серьги, не то что бронзовыя, а серебряныя, не то что серебряныя, а даже и золотыя...

Андрей Петровичъ исполняетъ ея скромныя желанія, покупаетъ ей полотна, ситцу, серьги, брошки и проч., тая отъ нея что онъ выигралъ двѣсти тысячъ. Настаетъ день, онъ убѣждается, что она искренно любитъ его, любитъ не за то, что онъ ей покупаетъ ситецъ и нансу на юбки (неопытный человѣкъ!), и объявляетъ ей, что онъ имѣетъ, *имѣетъ двѣсти тысячъ*...

Это была пріятная дремота съ билетомъ внутренняго займа въ рукѣ. Дѣло дошло до того, что Андрей Петровичъ увидѣлъ себя сходящимъ съ великолѣпной парадной лѣстницы, и, не замѣтивъ швейцара, громко крикнулъ: «швейцаръ»!

— Швейцаръ! Заоралъ онъ во всю глотку.

— Господинъ, что вы? Барыня еще спитъ, разбудила Андрея Петровича кухарка.

— А-а! отряхнулся Андрей Петровичъ. — Который часъ?

— Всего еще девятый.

— А-а! самоварчикъ бы, да умыться, проговорилъ онъ, стыдливо пряча свой билетъ.—Пойду, подумалъ онъ, самолично пойду на розыгрышъ, по крайности скорѣе и

вѣрнѣе узнаю, а то еще, пожалуй, выиграешь, да въ таблицѣ «Биржевыхъ Вѣдомостей» прочитаешь другой номеръ, повѣришь, и продашь билетъ, а тамъ все наврано... Прошлый разъ, тоже справился объ лоттереѣ дѣтскихъ пріютовъ — оказывается выигралъ домъ на петербургской сторонѣ, проугощалъ, на радостяхъ, почти пятнадцать рублей, а вышло, что все напрасно.

Напившись чаю, напомадившись и причесавшись, надѣвши новенькій сюртучекъ, Андрей Петровичъ отправился въ комнату вдовы.

— Ѣду, заявилъ онъ, въ банкъ, слушать розыгрышъ.

— Ахъ, батюшка, Андрей Петровичъ возьмите и мой билетъ! взвизгнула прелестная вдова, прыгнувъ къ комоду, и вынимая оттуда билетъ. Ей также хотѣлось показать, что она кое-что имѣетъ. Если выиграетъ, скачите домой на лихачѣ, въ коляскѣ, въ каретѣ, только скорѣе... Если двѣсти тысячъ—я вамъ подарю пятьдесятъ!..

«Ну, братъ, двѣсти-то тысячъ—шутишь, подумалъ Андрей Петровичъ:—двѣсти тысячъ я выиграю, а тебѣ довольно и семидесяти пяти».

— Да зачѣмъ-же мнѣ билетъ? — Я спишу номеръ, почти раздражительно сказалъ онъ, видя уже во вдовѣ нѣкоторымъ образомъ соперницу: что, если она выиграетъ?

— Какіе тутъ списки! такъ вѣрнѣе! Вѣдь я вамъ вѣрю! захохотала вдова.—А у васъ тоже есть билетъ?

— У меня десять билетовъ, равнодушно отвѣтилъ Андрей Петровичъ, засовывая въ карманъ билетъ вдовы, какъ какой-нибудь нумеръ «Сынъ Отечества»,—дескать, вы насъ этимъ не удивите, мы и побольше имѣемъ, да молчимъ.

Въ довольно темномъ корридорѣ банка, около одной двери, толпился народъ.

— Въ Томской губерніи, говоришь, стоялъ? ласково спрашивалъ Андрей Петровичъ солдата, стоявшаго у дверей, спрашивалъ съ очевиднымъ желаніемъ поддѣлаться къ солдату.

— Въ линейномъ батальонѣ.

— Я самъ въ Томской губерніи былъ. Тамъ, кажется, хорошо, лѣсу много.

— Да лѣсъ-то не въ прокъ. Березы, почитай, вовсе нѣту, а ужъ ивняку совсѣмъ не найдешь, потому у этихъ, у сибиряковъ, совсѣмъ нѣтъ заведенія драть розгами, либо палками, а все наровятъ плетюгами, а либо кнутомъ...

— Пусти, братъ. Вотъ цѣлковый, шепнулъ вдругъ на ухо Андрей Петровичъ, чувствуя, что дружба уже достаточно скрѣплена.

— Невозможно.

— Чудакъ! чудакъ! Я сонъ видѣлъ, шепталъ Андрей Петровичъ:—будто двѣсти тысячъ хлѣбовъ...

— Надо справиться съ оракуломъ объ этомъ: разные сны бываютъ.

— Эхъ, братецъ! У меня есть не то что оракулъ, *энциклопедическій*, понимаешь-ли *энциклопедическій! — словарь сновидѣній*, изданіе Глазунова...

— Ну, это вѣрный,—потому они у насъ членомъ.

— Да, братъ, и тамъ сказано! «или бо ты напьешься пьянъ, или бо ты получишь неожиданное превеликое богатство».

— Сонъ знатный! проговорилъ солдатъ, передъ которымъ Андрей Петровичъ извивался, какъ бѣсъ, передъ заутреней.—Сонъ важный!

— Пусти, голубчикъ! Два цѣлковыхъ, шепталъ Андрей Петровичъ.

— Невозможно.

— Депутатъ! депутатъ! Пустите! зашумѣли въ толпѣ.—Членъ! Членъ!

Толпа раздвинулась, двери отворились, и, вслѣдъ за членомъ, въ залу юркнулъ Андрей Петровичъ. Солдатъ схватилъ было его за фалду, но не очень крѣпко, такъ, что Андрей Петровичъ вырвался весьма благополучнымъ, и проскользнулъ въ залу. Мѣстъ для публики было до тридцати. На стульяхъ сидѣли все больше старички, съ бумажкою и съ карандашиками въ рукахъ. Передъ пуб-

ликой стояла рѣшетчатая загородка, за которой помѣщались, прежде всего, машины, т. е. колеса-ящики, съ вдѣланными въ нихъ стеклами, въ которыя вкладываются билеты, и въ которыхъ эти билеты мѣшаются при верченіи колеса. Налѣво сидѣли дѣвочки изъ пріюта, сзади машинъ стоялъ предсѣдательскій столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, за которымъ сидѣлъ г. Ламанскій. Члены расхаживали по комнатѣ. И члены, и дѣвочки изъ пріюта, долженствующія вынимать билеты, и г. Ламанскій были совершенно спокойны, точно они собрались не для того, чтобы рѣшить судьбу Андрея Петровича, а для того, чтобы поговорить о самыхъ обыденныхъ предметахъ, и разойтись. Андрей Петровичъ даже пришелъ въ негодованіе.

«Такой важный моментъ, думалось ему,—судьба людей рѣшается, а они, какъ камни. Неужели ни у кого изъ нихъ нѣтъ билетика? Не можетъ быть: все—богачи».

— Какъ, однакожь, они спокойны, передъ такимъ важнымъ моментомъ, шепнулъ Андрей Петровичъ, своему сосѣду.—Посмотрите, спокойно сидятъ себѣ, ходятъ...

— Что-же имъ плясать, что-ли? брюзгливо спросилъ сосѣдъ, и отвернулся.

Андрей Петровичъ почувствовалъ, что радостное волненіе, которымъ онъ былъ преисполненъ до лихорадки, придаетъ ему видъ маленькаго суетящагося, по пустя-

камъ дурачка,—и началъ успокоиваться. Онъ состроилъ серьезную физіономію и принялъ самую холодно-небрежную позу.

Къ колесамъ подошли дѣвочки, солдаты завертѣли колеса. Андрей Петровичъ затрепеталъ. Въ большомъ колесѣ прыгали и шумѣли бѣлыя трубочки билетовъ, съ нумерами серій. Тутъ и мой нумеръ, думалось Андрею Петровичу. Стоитъ выскочить ему на верхъ, подвернуться подъ руку ребенку — и я счастливецъ. — Вынь его, вынь, голубушка! Десять тысячъ, клянусь честью, десять тысячъ, на приданое пожертвую! прошепталъ Андрей Петровичъ, настолько вслухъ, что сосѣдъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него.

Колесо перестало вертѣться, форточка его отворилась и дѣвочка протянула туда ручку.

Публика перестала дышать.

Депутатъ самымъ спокойнымъ образомъ взялъ отъ ребенка трубочку, снялъ кольцо, и началъ развертывать билетъ.

— Камень, прошепталъ Андрей Петровичъ, ожидавшій, что «въ такой моментъ» должно произойти, что-нибудь необыкновенное, въ родѣ того, напримѣръ, что депутатъ вырветъ у дѣвочки билетъ вмѣстѣ съ рукою.

— Тринадцать тысячъ тридцать первый! громко сказалъ депутатъ.

— Тринадцать тысячъ тридцать первый! повторилъ другой голосъ около предсѣдательскаго стола.

— Мой, крикнулъ Андрей Петровичъ. Къ счастію голосъ его былъ заглушенъ всеобщимъ дружнымъ вздохомъ публики: о-о-охъ!—а то бы вывели.

Дрожь Андрея Петровича превратилась просто въ нервическія вздрагиванья, могущія довести человѣка до истерики. Маленькое колесо, въ которомъ были вложены пятьдесятъ мѣдныхъ пиналовъ, въ родѣ игольниковъ, громыхая и звеня, вертѣлось.

Въ это время, какъ на грѣхъ, пробило часъ.—«Обѣдъ», подумалъ Андрей Петровичъ, «праздничный сонъ долженъ исполниться до обѣда».—Онъ былъ близокъ къ истерикѣ.

Колесо остановилось. Отворилась форточка, дѣвочка протянула внутрь ручку.

— Жертвую двадцать тысячъ на приданое, подумалъ Андрей Петровичъ,—шептать онъ уже не могъ.

Депутатъ преспокойно взялъ изъ рукъ дѣвочки мѣдный игольникъ, и открылъ его.

— Камень! подумалъ Андрей Петровичъ.

— Двадцать третій!

— Двадцать третій!

Депутатъ опять вложилъ билетъ въ игольникъ, и небрежно бросилъ его въ колесо, точно, дѣло шло не о двухстахъ тысячахъ, а о какомъ-нибудь пятіалтынномъ.

Андрей Петровичъ почувствовалъ, что ему дурно, что въ вискахъ у него стучитъ, а въ ушахъ раздается крикъ «двадцать третій».

— Онъ вскочилъ поскорѣе со стула, и вышелъ изъ залы, почти шатаясь.

— Что, господинъ, выиграли? насмѣшливо спросилъ его солдатъ.

— Нѣтъ, убитымъ голосомъ отвѣтилъ Андрей Петровичъ.—У меня двѣнадцатый...

— А сонъ-то у васъ былъ важный... Только, говорятъ, праздничнымъ снамъ вѣрить нельзя, все равно, какъ биржевымъ коммиссіонерамъ.

Совершенно ошеломленный, Андрей Петровичъ разсѣянно смотрѣлъ на солдата.

Нѣтъ, братъ, сказалъ онъ вдругъ:—праздничный сонъ вѣренъ. Онъ исполнился до обѣда. До обѣда я выигралъ, а послѣ обѣда проигралъ. И какой у васъ тутъ глупый порядокъ! сердито воскликнулъ Андрей Петровичъ.— Еслибъ пораньше, съ десяти часовъ начинался тиражъ двѣсти тысячъ были бы мои. И тебѣ бы подарилъ тысячу рублей.

— Не стоитъ благодарности, совсѣмъ засмѣявшись отвѣтилъ солдатъ.

Крайняя ажитація и разстроенный видъ Андрея Пет-

тровича были очень замѣтны, и солдату, конечно, онъ казался смѣшнымъ.

— Дуракъ! подумалъ Андрей Петровичъ, надѣлъ шляпу, и пошелъ вонъ изъ банка.

Пропало сколько надеждъ, разсчетовъ и упованій! Андрей Петровичъ шелъ по улицѣ, понуривъ голову. Онъ былъ человѣкъ честолюбивый, его всегдашней завѣтной мечтой было — гремѣть и блистать. Единственнымъ средствомъ для этого, конечно, могло послужить только богатство. Онъ имѣлъ возможность пріобрѣсть его: одинъ поворотъ колеса, и онъ, можетъ быть, ѣхалъ бы теперь въ каретѣ, былъ бы богатъ и счастливъ, всѣ бы ему кланялись. Но, увы! на повороты колеса плохая надежда!—Почти всѣ свои скудныя средства Андрей Петровичъ издавна уже употреблялъ на покупку лотерейныхъ билетовъ, но поворотъ колеса до сихъ поръ не поблагопріятствовалъ ему ни разу. Купивши билетъ внутренняго займа на наградныя деньги, онъ возымѣлъ не только надежду, но даже увѣренность разбогатѣть съ новаго года. И вдругъ... и въ этотъ разъ какой-нибудь поворотъ колеса испортилъ дѣло. Да! — вотъ теперь надо идти пѣшкомъ къ Карповичу, закладывать свой билетъ, и явиться съ превеликимъ срамомъ ко вдовѣ, опять «ничего не имѣя» и опять влачить свое жалкое существова-

ніе, въ чинѣ губернскаго секретаря, безъ законной супруги... Андрей Петровичъ готовъ былъ плакать.

— Господи, да когда-же я сдѣлаюсь богатымъ! шепталъ онъ!..

Идя по Садовой, Андрей Петровичъ уже почти вслухъ заявилъ, что онъ будетъ благодѣтелемъ, блогодѣтелемъ, благодѣтелемъ!

— Андрей Петровичъ! вдругъ окликнулъ его знакомый купеческій сынъ, исключенный изъ одного коммерческаго учебнаго заведенія за слишкомъ большіе успѣхи въ разныхъ заведеніяхъ, только не въ учебныхъ...

— Благодѣтелемъ буду, пробормоталъ Андрей Петровичъ почти совершенно ничего не видя и не понимая.

— Что такое? спросилъ купеческій сынъ.

— Благодѣтелемъ буду, пробормоталъ опять какъ бы въ забытьи Андрей Петровичъ, стараясь обогнать своего знакомаго.

— Въ родѣ ситцеваго фабриканта Л., о которомъ было напечатано въ газетахъ: дискать «издавна извѣстный своею щедрою благотворительностью, наканунѣ праздниковъ посѣщалъ бѣднѣйшія квартиры на петербургской сторонѣ и одѣлялъ страждущія отъ нищеты семейства по 5 руб.» дискать—благодѣтель! Пришелъ благодѣтель въ первую квартиру, видитъ — голь. «Кто ты, братецъ, такой?»—«Рабочій на фабрикѣ Л., руку оторвало!» Одѣ-

лилъ пятью рублями. Въ другую квартиру, видитъ—голь. «Кто ты, братецъ такой?» — Умираю, рабочій на фабрикѣ Л. чахотку получилъ тамъ». Одѣлилъ пятью рублями. Въ третью квартиру заходитъ, слышитъ дѣти волками воютъ. — «Кто ты, братецъ такой?» — «Главный мастеръ съ фабрики Л., вотъ четвертый мѣсяцъ жалованья отъ его, отъ подлеца, не получаю, — ужь такого вора, какъ Л. свѣтъ не производилъ!—дѣти голодомъ мрутъ, а онъ каналья, на наше жалованье въ благодѣтели выдумалъ себя произвести!» — «Ты, мерзавецъ, забываешься!» сказалъ Л., и, не одѣливъ мастера пятью рублями, ушелъ.— Этакимъ благодѣтелемъ хочешь ты быть?—Этакимъ благодѣтелемъ быть хорошо! Этакимъ благодѣтелемъ хочешь быть? Этакимъ? этакимъ? тормошилъ Андрея Петровича его пріятель.

— Постой! остановился неожиданно Андрей Петровичъ.—Ты учился коммерціи.

— Учился. Охъ, братъ, тяжелая эта наука—не могъ я ее вынести.

— А все-же понялъ?

— Какъ-же, братецъ!—я только самого конца не понялъ: «теорію хороненія концовъ», а то я, братъ, всю коммерцію понимаю: и «теорію нагрѣванія» и «теорію облапошиванія» и «теорію объегориванія»... знаю, братецъ, «практическую надувастику, элементарный грабежъ,

исторію всеобщаго воровства», и даже доходилъ до «анализа высшаго разбоя».

— Какъ это люди богатѣютъ?! съ энтузіазмомъ спросилъ Андрей Петровичъ·

— Это, братецъ, долго разсказывать, глубокомысленно отвѣтилъ ученый.—Тутъ дѣло касается двухъ наукъ: «чистаго мошенничества и прикладнаго мошенничества». Не зайти ли къ Палкину?

— Зайдемъ! рѣшительно проговорилъ Андрей Петровичъ.

Когда пріятели усѣлись въ отдѣльной комнатѣ начался слѣдующій разговоръ.

— Рубашекъ, братецъ, не покупаю, одни сапоги. Обѣдаю въ греческой кухмистерской за пять рублей въ мѣсяцъ, курить бросилъ, чай сталъ пить въ прикуску, съ грустью заявилъ Андрей Петровичъ.

— Что-же братъ, такое? озабоченно спросилъ Николай Силычъ — купеческій сынъ, не имѣющій страсти къ коммерческимъ учебнымъ заведеніямъ.

— Все покупалъ лотерейные билеты, думалъ выиграть. Хоть бы насмѣхъ! хоть бы пепельницу, или спичечницу какую выиграть! — Ничего, никогда! А безъ состоянія я жить не могу. Удавлюсь, либо утоплюсь, рѣшительно объявилъ Андрей Петровичъ.

— Глупо! докторально произнесъ Николай Силычъ.

— Что-же мнѣ теперь дѣлать? Объясни ты мнѣ ради Бога!

— Видишь, какъ я теперь знаю достаточно «теорію нагрѣванія, пространное руководство къ выпусканію въ трубу, теорію объегориванья, теорію облапошиванья и краткое начертаніе исторіи подлоговъ», то я могу тебѣ подать добрый совѣтъ.

— Голубчикъ!—Человѣкъ, большой графинъ водки и бутербродовъ.

— Деньги нажить легко, надобно только имѣть фондъ. Теперь можно сейчасъ основать общество... какое бы общество?—Ну, хоть общество искусственнаго выведенія цыплятъ.

— Что-же самимъ цыплятъ высиживать...

— Нѣ-ѣтъ! глупо! Сидѣть на шеѣ у акціонеровъ и подсиживать ихъ; какъ высидишь у моря погоду, и драло заграницу!

— Чудное дѣло! Не понимаю.

— Я тебѣ разъясню. Напиши проектъ устава, и ходи... ходи, первое дѣло, по редакціямъ: гдѣ поклонись, гдѣ руку поцалуй, а гдѣ и сунь что-нибудь въ руку. Сейчасъ начнется звонъ о необходимости для Россіи искусственнаго вывода цыплятъ. Ну, тутъ ужъ, куй желѣзо... Испросивъ разрѣшеніе, печатай акціи, и угощай въ это время сочинителей до зеленаго змѣя. Заплатилъ, за на-

печатаніе акцій, выпускай ихъ съ надбавкой; номинальная цѣна сто, выпускай за двѣсти. Если никто не покупаетъ, опять валяй къ газетчикамъ. Сейчасъ напишутъ: «чрезвычайно полезное общество для вывода цыплятъ получило заслуженный успѣхъ, всѣ акціи этого общества уже раскуплены почти вдвое выше номинальной цѣны». Сейчасъ пускай свои акціи по полтораста: всѣ раскупятъ: у насъ дураковъ много. Сколько ты нажилъ? Десять тысячъ пятидесятирублевокъ, если основной капиталъ общества всего только въ милліонъ рублей! десять тысячъ пятидесятирублевокъ! Пятьсотъ тысячъ!

— Пятьсотъ тысячъ! какъ эхо повторилъ Андрей Петровичъ.

— Да этого мало! У тебя собранъ милліонъ. Вотъ на этотъ милліонъ-то и кути малина.

— Цыплятъ выводить... да я не знаю, какъ ихъ выводить!

— На цыплятъ плюнь!—Распродалъ всѣ акціи, сейчасъ угощай газетчиковъ до зеленаго змѣя, чтобы они ругали и тебя и твоихъ цыплятъ не на животъ, а на смерть. Напишутъ, что «цыплята для Россіи вредны, и тотъ, кому пришла мысль о разведеніи ихъ — оселъ изъ ословъ, и общество, основанное имъ, видимо приближается къ позорной ликвидаціи». Сейчасъ акціи твоего общества начнутъ падать. Ты молчи и жди. Падутъ они до пяти-

десяти рублей—молчи и жди. Падутъ до двадцати пяти—молчи и жди и угощай газетчиковъ, чтобы они тебя ругали не на животъ, а на смерть: называли бы воромъ, канальей, мошенникомъ, подлецомъ... да уже—что говорить!—они это дѣло сами знаютъ. Какъ падутъ твои акціи до пяти рублей, начинай ихъ скупать. Только не скупай всѣхъ — скупай половину. Когда кончится годъ, сейчасъ печатай въ газетахъ объявленіе:

«Отъ правленія общества
для искуственнаго разведенія цыплятъ».

Тутъ выводи такой балансъ, чтобы оказалось чистаго барыша ровно пятьсотъ тысячъ, назначай день выдачи дивидендовъ и раздавай ихъ, и опять угощай газетчиковъ, до зеленаго змѣя. Сейчасъ напишутъ: «сверхъ всякаго ожиданія, общество для разведенія цыплятъ, повидимому, очень процвѣтаетъ, акціонеры получили въ нынѣшнемъ году неслыханный дивидентъ: 50%». Акціи сейчасъ поднимутся съ пяти рублей опять на полтороста. Ты свои акціи, которыя скупилъ по пяти рублей, сейчасъ продавай... Сколько ты наживаешь? Если ты скупилъ пять тысячъ акцій, ты отъ каждой штуки наживаешь сто сорокъ пять рублей, а всего — милліонъ четыреста пятьдесятъ тысячъ рублей.

— Милліонъ четыреста пятьдесятъ тысячъ руб.! какъ эхо повторилъ Андрей Петровичъ

— Да. И потомъ опять угощай газетчиковъ, чтобы они ругали тебя и твоихъ цыплятъ не на животъ, а на смерть...

— А что если спросятъ, гдѣ у васъ цыплята? вдругъ раздумался Андрей Петровичъ.

— Чудакъ! Двѣ эпидеміи свирѣпствуютъ—оспа и холера: вчера всѣ передохли отъ повальной болѣзни. Отвѣтъ коротокъ.

— Не посадили бы, братъ, за это въ острогъ!

— Ни-и-ни-икогда!

— Что-то эти цыплята-то очень подозрительны.

— Чудакъ? Можно и не цыплятъ. Мало-ли что можно! Вонъ теперь нефть! Въ Архангельскѣ, одинъ ученый изъ вѣнской академіи Гюферъ недавно нефть открылъ. Осмотрѣлъ, говорятъ, работы, грунтъ, журналъ и составленный управляющимъ работами разрѣзной планъ напластованій, встрѣченныхъ при буреніи горныхъ породъ, и отозвался, «что признаки обѣщаютъ хорошій результатъ и что нефть хорошаго качества залегаетъ на 165-ти футовой глубинѣ.»

— Навралъ, вѣрно! сказалъ Андрей Петровичъ.— Какъ онъ могъ знать, что находится въ глубинѣ, въ нѣдрахъ земли?

— Чудакъ! Конечно не могъ знать, но долженъ былъ знать, потому онъ ученый. Навралъ! Эка бѣда, что навралъ! Вонъ моему дядѣ одинъ медицинскій профессоръ,

тридцать лѣтъ назадъ, сказалъ: одну рюмку выпьете— смерть вамъ, а онъ до сихъ поръ пьянствуетъ, да все не издыхаетъ. Какъ-то недавно напился пьянъ, да и явился къ этому профессору: «живъ, говоритъ, я—живъ, а въ тридцать-то лѣтъ можетъ не одну тысячу ведеръ выпилъ; что вы мнѣ врали?» — «На то, говоритъ, мы и врачи, чтобы врать.» Ученые! Ученые! Что ученые! Ты вотъ воспользуйся имъ — его то отзывомъ, да и устрой общество «Ухтенскихъ нефтяныхъ промысловъ,» или— для заманки — можно назвать: «Просвѣтитель,» «Доброе начало,» «Ухта и Меркурій.»

— Меркурій... вѣдь это какое то лекарство.

— Чудакъ! Меркурій — это богъ воровъ. Нынѣ всѣ ему молятся.

— А славно бы этакъ общество-то основать! облизнулся Андрей Петровичъ.

— Фондъ нуженъ.

— Фондъ есть, самоувѣренно проговорилъ Андрей Петровичъ, хлопнувъ себя по карману.

Онъ уже совершенно развеселился.

Николай Силычъ, узнавъ, что у его собесѣдника «есть фондъ,» то-же развеселился, но когда тотъ показалъ ему одинъ билетъ внутренняго займа, онъ состроилъ гримасу.

— Какой-же это фондъ!

— Все же сочинителей можно будетъ угостить, робко замѣтилъ Андрей Петровичъ.

— Сочинителей! презрительно сказалъ Николай Силычъ.—Да знаешь ли ты сколько ѣдятъ да пьютъ сочинители? — На весь этотъ твой фондъ самаго маленькаго фельетониста не напоить!

— Что-же дѣлать? спросилъ Андрей Петровичъ, опять опуская руки.

— Надобно фондъ увеличить.

— А какъ?

— Какъ!—Одно средство остается: рискъ. Или имѣть все, или ничего не имѣть. Вотъ на дняхъ, къ Шуману пришелъ одинъ офицеръ, всего съ двадцатью пятью рублями, а увезъ съ собою цѣлую скатерть, — вотъ узлище ассигнацій: тысячъ полтораста выигралъ въ одинъ вечеръ.

Андрей Петровичъ просвѣтлѣлъ. Надежда разбогатѣть воротилась къ нему, и онъ заегозилъ.

— Ахъ, кабы это!.. А ты можешь меня свезти къ Шуману? спросилъ онъ Николая Силыча.

— Чудакъ! Да хоть сейчасъ...

Въ огромной залѣ, окаймленной по стѣнамъ широкими турецкими диванами, при свѣтѣ двухъ люстръ, совершенно утопавшихъ въ тучахъ табачнаго дыма, толпи-

лись, шумѣли, кричали, пили что-то, говорили, курили и ругались множество людей. Тутъ были и военные и статскіе, и старички и безусые юноши.

За большимъ столомъ сидѣлъ лысый старикъ, и металъ банкъ. Его окружала толпа народа и слышались восклицанія: «на пѐ», «уголъ», «дано!» и проч. Въ сосѣдней залѣ, гдѣ играли въ стуколку, происходила чуть-ли не драка, но любители банка, по видимому, не обращали на это никакого вниманія, ходили, пили и курили совершенно спокойно; на лицахъ лакеевъ, разносившихъ напитки, было тоже безмятежное выраженіе мысли: «эка рѣдкость!»

Андрей Петровичъ, вздыхая, полулежалъ на диванѣ; стаканъ съ сельтерской водой дрожалъ въ его рукѣ. Около него сидѣлъ Николай Силычъ — не то, какъ будто, докторъ, не то, какъ другъ-утѣшитель.

— Выпей еще, нѣжно совѣтовалъ онъ.

Дѣло въ томъ, что на двухъ ставкахъ Андрей Петровичъ проигралъ свой билетъ.

И не то проигрываютъ! утѣшалъ Николай Силычъ.— Вонъ, недавно, офицеръ сюда пришелъ, принесъ цѣлую скатерть ассигнацій — огромный узлище: все проигралъ — пальто проигралъ, мундиръ проигралъ, предлагалъ играть на штаны, да не стали играть... выпей голубчикъ, выпей еще! Освѣжись. Ничего, ничего. Можно и отыграть-

ся. Бываютъ такіе случаи. Одинъ здѣсь проигралъ двадцать тысячъ; денегъ нѣту — онъ на ставку обручальное кольцо въ пять рублей... Что-жъ ты, братецъ, думаешь? Повезло, повезло, повезло,—свои отыгралъ и еще сорокъ тысячъ выигралъ!

— Сорокъ тысячъ!

— Да! Чудакъ! Полно ты, успокойся!

— Нѣтъ. Я хочу отыграться.

Андрей Петровичъ наклонился къ уху своего пріятеля и прошепталъ: «у меня есть чужой билетъ, не рискнуть-ли?»

— Рискъ—благородное дѣло! Что-же.—Разъ проигралъ, два проигралъ, три... Не всегда же будешь проигрывать!—Это неестественно!

Андрей Петровичъ облизнулся, всталъ съ дивана, и подошелъ къ столу.

Дуракъ, думалъ Николай Силычъ, оставшись на диванѣ.

Черезъ пять минутъ онъ увидалъ, какъ «дуракъ», шатаясь, вышелъ изъ толпы, окружавшей столъ, и неровно зашагалъ, къ выходнымъ дверямъ.

— Андрюкъ! крикнулъ Николай Силычъ.

Но тотъ ничего не видѣлъ и не слышалъ.

МЫ ГУЛЯЕМЪ, ГУЛЯЕМЪ, ГУЛЯЕМЪ!

— Ну, городокъ! размышлялъ Сергѣй Сергѣевичъ, проснувшись какъ-то утромъ и осматривая кровавые мозоли на своихъ ногахъ. Пятнадцать верстъ изъ конца въ конецъ!— И нельзя не ходить: праздники, удовольствія: каждый день удовольствія!—Затѣмъ пріѣхалъ, чтобы все осматривать...

Сергѣй Сергѣевичъ спустилъ ноги съ постѣли и началъ разсматривать свои сапоги.

— Всѣ изорвалъ, ходя по гуляньямъ, надо новыя подметки, надо, надо, а говорятъ онѣ восемдесять пять копѣечекъ стоятъ... Го-о-ородокъ!—Удовольствія!

Сергѣй Сергѣевичъ тщательно осмотрѣлъ багровый рубецъ на рукѣ.

— Удовольствіе! Вотъ оно!.. Отъ роду не было, а тутъ около варшавскаго воксала ногайкой хватили, зато, встрѣчалъ... встрѣтилъ!—На парадѣ былъ... вонъ... Охъ-о! весь лѣвый бокъ, какъ у поганой клячи, стерли... Спасъ, Господь,—не задавили! — Да! городокъ! — Коменданта смотрѣть пошли — три рубля выкрали и платокъ фуляровый:

какъ они это табакерку не ощупали! — Брюки теперь новенькія — здѣсь же восемь рублей заплатилъ... На зарѣ съ церемоніей, сунулъ кто-то въ шею, упалъ, — на самомъ колѣнѣ лопнули... Господи! что это будетъ? — Городокъ! На репетиціи зари съ музыкой фалду отъ сюртука хотѣли отрѣзать, да слава Богу, городовой замѣтилъ; пальто поднялъ, и ножницы у него, у подлеца, въ рукахъ... И сегодня опять праздникъ съ гуляньемъ: первое мая, лѣто встрѣчаютъ... Ни одного дня я здѣсь, въ Петербургѣ, не замѣчалъ, чтобы не было праздника. — Первый дождь пошелъ — праздникъ и гулянье, верба поросла — праздникъ и гулянье, береза обутонилась — праздникъ и гулянье... Такъ вотъ каждый день! — ясная погода — гулянье, худая — гулянье, все гулянье! — Счастливые люди здѣсь живутъ! — Все гуляютъ, да празднуютъ, да веселятся... Только — нѣтъ! у насъ въ Перекатанскѣ все лучше, и-и вижу я, что мнѣ надо скорѣй удирать отсюда до дому, покуда еще не раздавили живьемъ, какъ блоху, на какомъ-нибудь гуляньи! Тяжело...

Такъ размышлялъ Сергѣй Сергѣевичъ, сидя въ небольшой комнатѣ мезонина деревяннаго домишка. Домикъ этотъ находился въ Гавани и принадлежалъ племяннику Сергѣя Сергѣевича титулярному совѣтнику Дмитрію Петровичу Сиктранзитъ-Глоріамундіевскому, учившемуся когда-то въ перекатанской семинаріи, и, по глубинѣ премудрости наукъ, не дошедшему дальше философіи. Онъ жилъ тогда у своего

дяди Сергѣя Сергѣевича — консисторскаго архиваріуса. Сергѣй Сергѣевичъ опредѣлилъ племянника на службу, далъ ему, когда понадобилось, средства переѣхать въ Петербургъ, и вотъ встрѣтился съ нимъ здѣсь черезъ пятнадцать лѣтъ. Дмитрій Петровичъ уже женился, взявъ за женой, въ приданое, деревянный домикъ въ Гавани, самоваръ, перину и пятнацать рублей наличными деньгами на покупку себѣ въ апраксиномъ болѣе или менѣе подходящаго костюма для вѣнчанья.

Сергѣй Сергѣевичъ, получивъ въ Перекатанскѣ полную отставку—заскучалъ... Просыпаясь утромъ, онъ вздрагивалъ въ своей постели: незачѣмъ вставать, незачѣмъ одѣваться, некуда идти, нѣтъ службы... и долго онъ лежалъ и маялся подъ одѣяломъ. Тридцать пять лѣтъ неуклонно прослужилъ онъ въ консисторскомъ архивѣ, выслужилъ полную пенсію, нажилъ значительный капитальчикъ, но онъ сталъ несчастливъ съ тѣхъ поръ, какъ потерялъ надобность торопиться около девяти часовъ утра на службу. Сначала онъ обманывалъ себя, что теперь воскресенье, сегодня—воскресенье, завтра — воскресенье, послѣ завтра — воскресенье... дней пять послѣ отставки Сергѣй Сергѣевичъ радостно валялся на постели до одиннадцати часовъ.—Скоро, конечно, это надоѣло... Сталъ онъ вставать по прежнему, въ половинѣ осьмаго, надѣвалъ халатъ, ходилъ по комнатамъ, подбиралъ съ полу пушинку, уносилъ ее въ сѣни, бро-

салъ тамъ, подбиралъ кусочикъ бумажки, уносилъ его въ сѣни, бросалъ тамъ, подбиралъ обожженную спичку, уносилъ ее въ сѣни, бросалъ тамъ... Смотрѣлъ въ окошко, разсуждалъ съ кухаркой—къ чему курица перья топорщитъ—къ дождю, или къ вѣтру... Садился, ходилъ, заводилъ поминутно часы, ложился—нѣтъ! скука не уходила!

Вотъ попался ему попутчикъ въ Петербургъ... Не съѣздить-ли къ племяннику?—Посмотрѣть столицу, подивовать ся всему, а то и остаться тамъ навсегда, если тамъ хорошо такъ, какъ описываетъ племянникъ. А онъ описывалъ все слогомъ возвышеннымъ, надѣясь получить отъ дяденьки тысченокъ тридцать наслѣдства.—«Гуляли сіе число на балаганахъ, мѣсто которымъ нынѣ отведено на Царицыномъ лугу, или Марсовомъ полѣ — отъ Марса, греческаго Бога войны и войскъ. — Черты лица сего балаганщика Малафѣева прекрасны: напоминаютъ льва и Вельзевула; хотя и говорятъ, что онъ бьетъ публику, но я этого не видѣлъ; видѣлъ только, какъ онъ оторвалъ хвостъ у извощичьей лошади, а извощика ударилъ по зубамъ... человѣкъ, конечно, необразованный, но представленія превеликолѣпныя, такъ-что ему все дозволяютъ» и проч. И во всѣхъ письмахъ Сергѣй Сергѣевичъ только и читалъ: гуляли, гуляли, гуляли, гуляли... — «Что за развеселые люди, подумалъ онъ, сіе число гуляли и сіе число гуляли—вѣрно, весело!—Съѣзжу, посмотрю, повеселюсь, погуляю»!

И рѣшился онъ ѣхать. — Главное дѣло попутчикъ его сбивалъ: поѣдемъ, да поѣдемъ; что вамъ здѣсь дѣлать?! Поѣхалъ Сергѣй Сергѣевичъ; въ самомъ дѣлѣ, что ему было дѣлать въ Перекатанскѣ! — Тишина, скука, самоваръ на столѣ, чай полухолодный, трубка, подъ окномъ баба идетъ... куда она идетъ? — и больше ничего. Что это за жизнь? — А *тамъ* все: сего числа гуляютъ и сего числа гуляютъ...

Племянникъ, конечно, принялъ Сергѣя Сергѣевича съ распростертыми объятіями.

— Вы уже съ нами, дяденька, останетесь, говорилъ онъ. Что тамъ у насъ въ Перекатанскѣ! — Здѣсь всѣ удовольствія получить можно, все видѣть... столица!

— И все гуляете? спросилъ почти съ удивленіемъ, глядя на племянника, Сергѣй Сергѣевичъ.

— Почти каждый день гуляемъ.

И вотъ видитъ Сергѣй Сергѣевичъ, что за обѣдомъ подаются ложки деревянныя, что супъ пустой, безъ говядины, что на второе блюдо подается корюшка какая-то дрянная въ плошкѣ съ разбитымъ краемъ, что вилки изогнуты и переломаны, что ручки у ножей вертятся.

— Здѣсь много удовольствіевъ мы вамъ покажемъ, говорила Марья Михайловна, жена племянника Дмитрія Петровича.

— Здѣсь, у насъ каждый день гулянье! посмотрите...

— Все гулянья?

— Каждый день.

Видитъ дальше Сергѣй Сергѣевичъ, что самоваришка нѣту, что заваривать чай въ трактиръ бѣгаютъ, что въ домѣ всего двѣ треснувшихъ чашки и одно блюдечко, что сахаръ подается на газетѣ «Голосъ», въ количествѣ трехъ кусочковъ, только-что купленныхъ въ лавочкѣ на двѣ копѣйки.

— И гуляете? спрашиваетъ Сергѣй Сергѣевичъ.

— У насъ, здѣсь, каждый день почти гулянье...

Видитъ Сергѣй Сергѣевичъ—племянникъ его лодку смолитъ. Какъ провинціалъ, онъ смущенъ нѣсколько при видѣ титулярнаго совѣтника, исполняющаго такую низкую обязанность.

— Смолю, гулять будемъ—кататься, отвѣчаетъ ему племянникъ.—Дровцы тоже будемъ на ней ловить—эта лодка: кормилица, дяденька!

— Стара...

— Вотъ и смолю... Она дрова дастъ на зиму...

— Какъ, то есть?

— Натаскаемъ.... Барку теперь съ дровами разобьетъ,— и натаскаемъ...

Сергѣй Сергѣевичъ былъ смущенъ. Не понимая въ чемъ дѣло, онъ пробормоталъ совершенно не идущій къ дѣлу вопросъ:

— А если не разобьетъ барки съ дровами?

— Мы тихонько такъ съ барокъ стаскиваемъ... багромъ...

Сергѣй Сергѣевичъ еще болѣе смутился...

— А гдѣ-же вы на лодкѣ то гуляете? спросилъ онъ.

— Да въ разныхъ мѣстахъ... почти каждый день гуляемъ. Удовольствій здѣсь много... Вы вотъ поживите, дяденька,—увидите... Здѣсь весело, не то что у насъ, въ Перекатанскѣ!—Мы каждый день гуляемъ!

И думалось Сергѣю Сергѣевичу, что надо идти въ трактиръ закусить, потому что здѣсь только умѣютъ гулять, а кушанья готовить не умѣютъ, да и не изъ чего готовить его: корюшка, да картофель... да все въ разбитой, переколотой провонявшей посудѣ. — Да и стулья, да и столы, да и все поломано: цѣлы только одни сапоги, чтобы ходить на гулянья...

И таскалъ же Дмитрій Петровичъ Сергѣя Сергѣевича на разныя гулянья, твердя, что въ одномъ только Петербургѣ и есть удовольствія! — Сергѣй Сергѣевичъ уже истратилъ на эти удовольствія всѣ свои наличныя деньги, и принужденъ былъ размѣнять одинъ билетъ внутренняго займа... Досадно, а дѣлать нечего... Сегодня выставка художественная, сегодня корабля спускаютъ, сегодня проба орудій на Волковомъ полѣ, сегодня молотъ въ три тысячи пудовъ привезли, сегодня выставка моделей памятника Пушкину, сегодня балъ студенческій...—Все удовольствія. —«Русь есть веселіе питей»—и веселится «Россъ, сей людъ богохранимый и твердокаменная грудь» — и какъ ему воз-

держаться отъ размѣнянія билета внутренняго займа съ выигрышами!

— Все гуляете?

— Все гуляемъ.

— Каждый день?

— Каждый день у насъ гулянья.

Всѣ такъ говорятъ съ Сергѣемъ Сергѣевичемъ, и думается ему, что дѣло плохо: сапожонки у всѣхъ гуляющихъ стоптаны, шляпенки (непремѣнно — цилиндръ, въ Гавани безъ этого нельзя; у татарина цилиндръ стоитъ тридцать копѣекъ, дешево и модно) измятыя шляпенки, воротники у рубахъ черные, руки грязныя, сюртученко засаленный, рукава короткіе... Всѣ какіе-то испитые, щеки опухшія, отвислыя, у всякаго плѣшъ, подъ глазами синяки, носъ красный—рожа какъ будто толстая, а самъ худой, какъ скелетъ. Гуляютъ!

Гуляютъ!

— Завтра гулянье: коровушекъ будемъ выводить... Послѣ-завтра—гулянье: вѣнки завивать. Послѣ, послѣ-завтра—гулянье: дождевой водой мыться...

Гулянья, гулянья, гулянья и гулянья!

И вотъ сидѣлъ на постели и размышлялъ Сергѣй Сергѣевичъ, надо-ли ему еще гулять въ Петербургѣ и не лучше-ли отправиться въ родной Перекатанскъ. Ему казалось лучше отправиться въ Перекатанскъ; онъ съ грустью смот-

рѣлъ на свои сапоги, и думалъ, что лучше и дешевле починить ихъ на родинѣ, чѣмъ здѣсь, когда въ комнату взошелъ его племянникъ.

— Сегодня, дяденька, гулянье.

— Знаю...

— Надо въ Екатерингофъ... я вамъ покажу... Тамъ будетъ лазаніе на шестъ, хожденіе въ мѣшкѣ, бѣгъ подъ ведромъ, музыка... прелесть что такое!—народу премногое множество!

— У-у-ооохъ! невольно вскрикнулъ Сергѣй Сергѣевичъ, натягивая сапоги на свои кровавые мозоли.—Не хочется мнѣ что-то, Петя...

— Помилуй-те дяденька! Да это у насъ первое гулянье: лѣто встрѣчаютъ... музыка, лазаніе на шестъ... Нельзя не посмотрѣть! Очень занимательно. — Теперь, напримѣръ, бѣгъ подъ ведромъ: ведро повѣшено съ водой, и на днѣ у него досочка съ дырочкой: станетъ на телѣгу, въ рукахъ пика, и какъ проѣзжаетъ подъ ведромъ, надобно попасть пикой въ дырочку: не попадете, ударите въ досочку, ведро опрокинется, и всего васъ съ ногъ до головы обольетъ, а попадете, тогда — ничего, и призъ выиграете... Очень забавно!

— Нѣтъ, братъ, ужъ бѣгать подъ ведромъ я не хочу, рѣшительно сказалъ Сергѣй Сергѣевичъ.

— Да вѣдь никто не бѣгаетъ... Вѣдь это для просто-

народія больше сдѣлано, для образованія, нравы смягчить... Ну, и посмѣяться чтобы намъ можно было надъ ихней необразованностью и глупостью...

Когда Сергѣй Сергѣевичъ сошелъ внизъ, Марья Михайловна была уже одѣта къ походу. Не знаю сколько именно фунтовъ крахмала потрачено было на приданіе ея ситцевому платью упругости листоваго желѣза, но только при всякомъ ея движеніи оно шуршало даже съ присвистомъ и призвономъ, а при ходьбѣ это платье въ совершенствѣ воспроизводило шумъ точно на дровяномъ дворѣ, когда тамъ пилятъ дрова пилъ этакъ въ сорокъ или въ пятьдесятъ. — Она уже надѣвала шляпку, зонтикъ лежалъ на столѣ...

— Что же, Маша, чай? спросилъ Дмитрій Петровичъ.

Маша грозно и выразительно взглянула на него глазами, ясно давая понять, что вопросъ о чаѣ возбуждать глупо и безтактно.

— Чайникъ развалился... не въ чемъ заварить... дуракъ! шепнула она мужу.

— Надо-бы новый купить хоть въ лавочкѣ, шепнулъ онъ.

— Купить!.. у меня всего шесть гривенъ—съ чѣмъ мы пойдемъ на гулянье? скрежеща зубами и сверкая глазами, прошипѣла Марья Михайловна.

— А обѣдать что будемъ?

— Дуракъ!

И она отвернулась съ презрѣніемъ отъ мужа.

Погода скверная, пасмурная, дождикъ пробуетъ накрапывать, мелкій, сѣрый, подъ ногами слякоть, холодно, вѣтрено; сырой, мокрый вѣтеръ забивается въ носъ — больно, рѣжетъ глаза... до Екатерингофа осталось еще верстъ пятнадцать, а храбро идутъ по слякоти наши путешественники — труженики петербургскихъ гуляній.

Измученные, усталые, еле держась на ногахъ, достигаютъ они цѣли своего путешествія. Давка, шевелится и жужжитъ пестрая толпа, тысяча человѣкъ щелкаетъ казанскіе орѣхи, двѣ тысячи людей толкаются, топочась на одномъ мѣстѣ, три тысячи двигаются, сами не знаютъ, куда имъ нужно пробраться, остальныя двадцать тысячъ ругаются. — Городовые съ бѣлыми бляхами, наблюдающіе за порядкомъ, чинно расхаживаютъ, и толкаютъ иногда публику неиначе, какъ лѣвой рукой въ бѣлой перчаткѣ. — «Сторонись, старикъ»! — «Эй, ты, мальчишка, куда лезешь?» — «Ты шляпа, не напирай»! — Эки, черти»! — «Куда полезла? эй ты куда полезла—ты, въ желтомъ платьѣ-то»?

— Бее-е-ерегись! Брысь! — Чей-то экипажъ. Толпа загудѣла, всѣ бросились, какъ бараны, падаютъ въ суматохѣ, давятъ другъ друга...

Вотъ и кончается гулянье.

— Охъ, какъ мнѣ мозоль-то отдавили! говоритъ Сергѣй Сергѣевичъ. — Гдѣ же тутъ на шестъ-то лазали, да подъ ведромъ бѣгали?

— А вонъ въ той сторонѣ, дяденька, пощелкивая казанскіе орѣшки, отвѣчаетъ Марья Михайловна.

— Не видалъ. А музыка-то гдѣ-же была?

— А вонъ тамъ...

— А—а!

— Большое нынчѣ гулянье было...

И съ перемятыми боками, съ обступанными ногами, съ отдавленными мозолями, опять плетутся домой по слякоти наши путешественники... Вечеромъ. Не доѣды. Поскорѣй-бы завалиться, да заснуть.

— И для чего мы мучились, переносили эту давку, толкались въ толпѣ? думаетъ Сергѣй Сергѣевичъ. Ну, городокъ!—Нѣтъ, у насъ въ Перекатанскѣ покойнѣе... всѣ мозоли отдавили. О, Господи!

— Ужъ завтра никакого гулянья не будетъ? спрашиваетъ онъ племянника.—Отдохнемъ хоть...

— Какъ, дяденька! Помилуйте, завтра первое гулянье у насъ... Переполовеніе.—Въ крѣпости по валамъ гуляемъ.

— Охъ братецъ!

— Вы никогда не видали, посмотрите сколько тамъ народу бываетъ, денегъ сколько арестантамъ накидываютъ: вотъ какія кучи!?—И преступники...

Дмитрій Петровичъ тщательно оглядѣлся кругомъ, не подслушиваетъ-ли кто, и началъ шептать дядѣ на ухо что-то очень секретное...

— Ужасные, наконецъ вслухъ сказалъ онъ—есть и сочинители.

— И видно ихъ?

— Да какже!

— Ни одного я сочинителя не видалъ отъ роду...

— Страшные... Вотъ увидите!

Заснулъ Сергѣй Сергѣевичъ, какъ убитый, и только передъ утромъ видѣлъ во снѣ родной Перекатанскъ; идетъ онъ, будто, по Дворянской улицѣ, а навстрѣчу ему преогромный черный медвѣдь идетъ на заднихъ лапахъ, кольцо въ норку вдѣто, съ цѣпи сорвался, и оказывается, что это сочинитель... Отъ ужаса, Сергѣй Сергѣевичъ даже закричалъ во снѣ: не такъ онъ боялся медвѣдя, какъ сочинителя...

И вновь шуршитъ накрахмаленное до упругости листоваго желѣза платье, и вновь плетутся они по слякоти. Крѣпость; взбираются на валъ...

Сотни торговцевъ толкутся около лотковъ съ орѣхами, поставленныхъ на землю, около нихъ суетятся пестрыя бабы-покупательницы съ синими мужчинами въ сибиркахъ, съ мужьями. Марья Михайловна тоже покупаетъ на гривенникъ орѣховъ, и начинаютъ гулять. Крѣпостные солдаты стоятъ по бокамъ, сѣрые шинели въ накидку, бѣгаетъ охрипшлый городовой, выставивъ впередъ руку въ бѣлой перчаткѣ; черное пальто въ накидку... Шумитъ и двигается пестрая толпа.

Гулянье по валамъ крѣпости, дѣйствительно, одно изъ замѣчательнѣйшихъ гуляній. — Внутри крѣпости устраивается карусель, играетъ музыка, народъ допускаютъ ходить по стѣнамъ... Прежде было такъ, что изъ сочувствія къ узникамъ, гуляющіе кидали деньги въ трубы, на разосланные подъ стѣнами холсты—и куда попало, можно было видѣть даже самихъ узниковъ. Теперь все это, къ счастію, уничтожено. Надо ждать, что и самое гулянье это когда нибудь уничтожится, чего отъ души бы мы желали... Гуманно-ли съ нашей стороны выражать свое сочувствіе узникамъ бахвальствомъ своей свободой и богачествомъ? У каждаго изъ нихъ, вѣроятно, сжимается сердце при видѣ нашей шумно веселой свободы, нашихъ безпечно бросаемыхъ мѣдяковъ— и вспомнится невольно и мучительно: «и я когда то такъ гулялъ»... Въ этомъ случаѣ мы, санктпетербургскіе гуляки являемся просто дразнителями, обидчиками, конечно, безсознательными, но все таки непріятными для тѣхъ, передъ кѣмъ мы, какъ-будто на показъ выставляемъ свои преимущества: веселость, довольство, свободу и свои мѣдяки.

Нынѣ условія гулянья отчасти измѣнены. Гуляютъ вдали отъ арестантскихъ помѣщеній—тамъ загородка... Арестанты, конечно, знаютъ, что мы гуляемъ, даже, можетъ быть, слышатъ, что мы гуляемъ, но не видятъ насъ: уже и это для нихъ большое облегченіе. Вмѣсто прежнихъ полотенъ подъ стѣнами, куда бросались мѣдяки, теперь разстав-

лено множество кружекъ, около каждой кружки крѣпостной солдатъ.—Словомъ, все стало благообразнѣе: негдѣ кутить малинѣ.

И вотъ ходятъ по стѣнамъ (онѣ въ нѣсколько сажень шириной и на нихъ теперь растетъ зеленая травка: точно по лугу гуляете), по перемосткамъ, по мосткамъ, разные пестрые люди: разноцвѣтные бабьи платки, синія сибирки, шляпы-цилиндръ выступаютъ гордо, кокарды двигаются солидно, болтаются зонтики дамскіе... идутъ, идутъ, идутъ...

— Гдѣ же они? спрашиваетъ Сергѣй Сергѣевичъ.

— Вотъ рогатка, дяденька, надо назадъ... печально отвѣчаетъ Дмитрій Петровичъ.

— О-охъ! какъ я усталъ!..

И опять идутъ въ толпѣ назадъ.

Около мостика, кажется, черезъ Петровскія ворота устроена продувальная труба для сушки хлѣба: внизу солдатская пекарня. Верхъ покрытъ стеклянными рамами, середи которыхъ вставлена желѣзная трубка для воздуху. Сотни человѣкъ толпятся около стеколъ.

— Какъ цѣпью-то, голубчикъ, звѣнитъ! плачетъ старуха.

— Спрятался.

— Несчастный!

— Хлѣбомъ то какъ пахнетъ!.. должно, должно, кромѣ хлѣба ничего не даютъ...

И летятъ въ желѣзную трубу мѣдяки.

— Только и свѣту-то у него, что отсюда сверху!

— Вотъ-тѣ Христосъ! —тамъ никого нѣту... пекарня! одно слово пекарня! клянется передъ публикой крѣпостной солдатъ.

— Что говорить! полно, служивый!

— Вотъ тѣ Богъ!—Пекарня тамъ, пекарня!

Сергѣй Сергѣевичъ, вмѣстѣ съ своей компаніей, тоже пристально смотрѣли въ стекла: ничего не видно: внутри трубы темно...

— Расходитесь, господа, расходитесь! Тамъ пекарня! кричалъ городовой.

— Ей Богу, вотъ тѣ Христосъ! — пекарня, подтверждалъ крѣпостной солдатъ.

— Врутъ... врутъ... знаемъ... Ишъ звѣнитъ...

Не было никакой возможности разогнать толпу, которая увеличивалась съ каждой минутой.— Къ счастію догадался какой-то остроумный околодочный надзиратель. Онъ спустился внизъ, и поставилъ на кучу хлѣбовъ свѣчу; ясно увидавши, что подъ трубой ничего, кромѣ хлѣбовъ, не находится, публика въ смущеніи начала расходиться; иные даже хохотали...

И опять кончилось гулянье... И опять тащатся по слякоти въ Гавань наши мученики петербургскихъ гуляній. Сергѣю Сергѣевичу кажется, что ноги у него не свои, онъ

прямо подымается къ себѣ наверхъ, и, какъ куль, повалившись на кровать, крѣпко на крѣпко засыпаетъ.

Утромъ его будитъ племянникъ.

— Дяденька, сегодня пораньше на гулянье... на заколы поѣдемъ...

— О — нѣтъ! Мнѣ надо собираться... сегодня уѣзжаю... нѣтъ, надо домой...

— Что вы, дяденька, скоро персидскій шахъ пріѣдетъ... погуляемъ...

— Н-нѣтъ, братъ, нѣтъ!.. домой надо... Сегодня я и домой... Ужъ вы тутъ безъ меня гуляйте... Охъ, хоть бы вынесъ Господь меня поскорѣй живымъ изъ этихъ гуляній!.. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!..

ДАМА СТРОГИХЪ ПРАВИЛЪ.

Это былъ маленькій домикъ въ Бармалѣевой улицѣ, но въ немъ жила истинная аристократка Ольга Петровна, и много было у ней денегъ заперто въ желѣзномъ несгараемомъ и невзломаемомъ ящикѣ.— Всѣхъ жильцовъ домика было пять человѣкъ: сама Ольга Петровна, ея сынъ, Иванъ Николаевичъ, жена его, Марья Дмитріевна, кухарка, Ѳедосья и дворникъ (онъ-же и кучеръ) — Николай. Цѣпную собаку Кыштымку мы не ставимъ въ счетъ, равнымъ образомъ, какъ двухъ лошадей, одну корову и кота Брыську.

Чинно и строго въ небольшой гостиной. Обои бѣлыя, на всей мебели чахлы, какъ снѣгъ бѣлые, даже на столовую лампу надѣтъ бѣлый бумажный колпакъ, чтобы не пылился абажуръ. Неумолимый запахъ пачули... Среди бѣлизны рельефно выдается черное шелковое платье хозяйки, сидящей въ креслѣ. Ольга Петровна—высокая, сухощавая женщина, съ сѣдыми волосами, съ строгими морщинами около тонкихъ губъ, съ лицемъ ничѣмъ не уступающимъ въ бѣлизнѣ кружевамъ и блондамъ ея чепца. Она прямо,

будто проглотивъ желѣзный аршинъ, сидитъ въ креслѣ; тонкія, злыя губы сжаты; она закрыла глаза бѣлымъ батистовымъ платкомъ—и среди бѣлизны всей комнаты, только благодаря этой бѣлизнѣ, видно, что на щекахъ ея горитъ легкая краска, золотой браслетъ колышется на ея костлявомъ запястьи, дрожитъ рука, голова клонится къ низу; она плачетъ, плачетъ эта строгая, безпощадная женщина.

— Господи! всхлипываетъ она: Господи! за что ты меня наказываешь!?

И подобно доброму фарисею, она говоритъ въ душѣ своей: «я-ли не бываю каждый праздникъ въ церкви, я-ли не говѣю каждый годъ, я-ли не одѣляю копѣечками нищую братію!»

И вотъ встаетъ передъ ней сцена.— Это онъ, ея любимый сынъ, часть ея души—Аркадій.—Это прекрасный былъ мальчикъ, не то, что нелюдимый Иванъ, его старшій братъ. Рѣзвый и веселый мальчикъ.— Его исключили за дурное поведеніе и малые успѣхи изъ четырехъ частныхъ училищъ и изъ двухъ гимназій.— Вотъ онъ выросъ... Вотъ онъ обокралъ свою мать, бѣжалъ въ Москву... Воротили его, простили, опять обокралъ... выгнали изъ дому, и долго не было о немъ ни слуху, ни духу.—Появился.—Идетъ Ольга Петровна изъ церкви: въ опоркахъ, въ рубищѣ полупьяный оборванецъ догоняетъ ее.

— Шелкъ да бархатъ, мамашенька! съ хохотомъ говоритъ онъ, ударивъ Ольгу Петровну по плечу.

— Аркадій!

— Вашъ-съ! — Хорошъ? — Пожалуйте ручку!

И хохочетъ онъ, дико хохочетъ.

Смущенная, оскорбленная, убитая Ольга Петровна почти бѣгомъ бѣжитъ отъ него. Онъ догоняетъ.

— Малость какую-нибудь, рубликовъ съ пятокъ, говоритъ онъ и опять хохочетъ. Шелкъ, бархатъ!

Суетъ ему въ руки весь свой кошелекъ Ольга Петровна и бѣжитъ. Разсмотрѣвъ деньги, онъ хохочетъ и кричитъ ей вслѣдъ:

— Вотъ это ладно!

«За что меня наказываетъ Господь?» — А вотъ за что... и припомнился Ольгѣ Петровнѣ молодой, вертлявый лекарь, припомнился опять грѣхъ молодости, плодомъ котораго былъ несчастный Аркадій... Она въ отчаянномъ раздумьи опустила голову. Неужели нѣтъ прощенія, нѣтъ искупленія?

— Господи, хоть-бы умеръ онъ! Хоть бы его убили гдѣ-нибудь!

Какъ ни странна молитва о томъ, чтобы убили роднаго сына, но Ольга Петровна твердила ее каждый день, подавала нищимъ копѣечки, чтобы они молились за упокой ду-

ши новопредставленнаго раба Божія Аркадія, въ страстную пятницу, при выносѣ плащаницы, сожгла тихонько въ церкви локонъ его волосъ, перерѣзала портретъ его ножемъ по самому горлу; но не умиралъ Аркадій и никто его не убивалъ, въ безконечномъ путешествіи отъ тюрьмы до больницы, отъ больницы до вертеповъ сѣнной площади, а отъ этихъ вертеповъ опять до тюрьмы — онъ, пожалуй, за приличное вознагражденіе, и самъ готовъ-бы убить себя: такая жизнь, какъ его, дешево стоитъ: ею не дорожатъ. — Но Аркадій жилъ, и материнское сердце обливалось кровью!...

Передъ Николинымъ днемъ старуха произнесла строгій обѣтъ сходить пѣшкомъ въ Колпино со всѣмъ семействомъ. Авось Господь смилуется: проститъ ее и избавитъ отъ этого срама... Идетъ она немного успокоенная въ свою спальню, гдѣ въ великой пропорціи смѣшаны запахи пачули и ладана; тамъ она падаетъ передъ образами на колѣни и надолго замираетъ, какъ статуя; быстро шевелятся одни только губы.

Да не подумаетъ читатель, что мы хотимъ здѣсь издѣваться надъ религіозными чувствами или глумиться надъ священными обрядами! Боже насъ сохрани! — Нѣтъ, мы будемъ имѣть здѣсь дѣло съ ханжествомъ и кощунствомъ, которыя всегда заслуживали и заслуживаютъ бичеванія. Пусть читатель помнитъ это и не смущается, если я нари-

сую ему нѣсколько мрачную картину богомолья 9 мая въ Колпинѣ, куда уходитъ весь благочестивый Петербургъ и гдѣ въ этотъ день выпивается до шестидесяти бочекъ одной водки. Скажу смѣло—есть люди дѣйствительно приходящіе молиться, но большинство приходитъ гулять... Впрочемъ, я все это надѣюсь пояснить гораздо обстоятельнѣе въ теченіе моего разсказа.

Дня за три до Николина дня, Ольга Петровна, за утреннимъ чаемъ, коротко и строго объявила сыну и невѣсткѣ, что они пѣшкомъ пойдутъ въ Колпино.

При этомъ объявленіи Иванъ Николаевичъ печально взглянулъ на жену. Чахоточный румянецъ догоралъ на ея щекахъ, губы ужъ давно поблѣднѣли; бѣлыя, тонкія, точно полотняныя веки сами собой опускались на глаза; пальцы на рукахъ давно вытянулись; при видѣ ихъ чувствуется, что они влажны, что недолго будетъ двигаться эта безсильная рука. Марья Дмитріевна тяжело дышала всей грудью—задыхалась...

— Маша, ты пойдешь? робко спросилъ Иванъ Николаевичъ.

— Мы всѣ пойдемъ, рѣшительно отвѣтила за нее Ольга Петровна.

— Не знаю, ссилю-ли я, едва выговорила Маша, и закашлялась долгимъ малозвучнымъ хриплымъ кашлемъ.

Ольга Петровна съ чего-то озлилась.

— Гдѣ же вамъ! Вы не такъ воспитаны, чтобы ходить пѣшкомъ, ядовито сказала она.

Все бѣдное тѣло Марьи Дмитріевны колыхалось въ кашлѣ, она готова была свалиться со стула; мужъ схватилъ за талію и держалъ ее.

— Мы простонародье, а вы вѣдь аристократія! продолжала Ольга Петровна.

— Маменька! съ робкимъ укоромъ сказалъ Иванъ Николаевичъ.

— Мы еще не перестали вѣрить въ Бога, а вы — аристократія—уже давно забыли его... Кстати ужъ и волосы-бы остричь по нигилистической модѣ, чтобы всѣ видѣли, что мы аристократки...

— Маменька! Ради Бога!...

— Что «маменька!» Что «ради Бога!» — Нѣжности... У меня, слава Богу, никто изъ родныхъ не бывалъ въ каторгѣ... я не нѣжничаю, я иду... а слава Богу, мы въ седьмой книгѣ записаны—я иду...

— И я пойду! пойду! совершенно задыхаясь, проговорила Марья Дмитріевна.

Дѣло въ томъ, что этой несчастной каторгой, куда были сосланы два брата Марьи Дмитріевны—студенты, Ольга Петровна каждый разъ безъ всякой пощады колола глаза несчастной женщинѣ, въ которой она почему-то видѣла

нигилистку и великую притворщицу.—Сама Ольга Петровна могла во всякую минуту притвориться не только отчаянно больной, но даже совсѣмъ мертвой, и находилась въ полномъ убѣжденіи, что продѣлывать такія штуки ничего не стоитъ для всякой женщины.—Поэтому, полагая, что невѣстка продѣлываетъ свою чахотку нарочно, чтобы вооружить противъ нея покорнаго сына, Ольга Петровна не стѣснялась открыто выражать къ ней свою непріязнь и колоть ее несчастной судьбой ея братьевъ.

Само собой разумѣется, что будь Иванъ Николаевичъ не такой робкой, покорной тряпицей, эти укоры о каторгѣ можно было-бы оборвать въ какую угодно минуту, напомнивъ Ольгѣ Петровнѣ, что братья, сосланные въ каторгу, не были ворами, а куда угодитъ Аркадій — еще Господь вѣдаетъ... Но робкій Иванъ Николаевичъ, съ дѣтства привыкшій бояться матери пуще огня, не имѣлъ даже смѣлости подумать когда-нибудь защитить свою бѣдную жену отъ нападокъ свекрови. Онъ самъ былъ угнетенъ. Получая порядочное жалованье въ качествѣ помощника главнаго доктора одной частной больницы, имѣя хорошую практику на сторонѣ—онъ могъ бы жить отдѣльно отъ матери, жить самостоятельно. Но этого ему даже никогда въ голову не приходило. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ студентомъ и получилъ первыя деньги съ какого-то четвертаковаго урочишка, онъ отдавалъ всѣ свои капиталы матери и послѣ

съ великимъ трудомъ выпрашивалъ у нея какіе-нибудь рублишки.

Женился Иванъ Николаевичъ просто по приказанію матери. Понравилась ей скромная дѣвушка въ черномъ платьѣ, какъ слѣдуетъ быть, по французски говоритъ, въ носъ, прилично картавитъ на букву *р*, умѣетъ немного на фортепьяно, приданаго пять тысячъ—и былъ отданъ приказъ жениться. Братья Марьи Дмитріевны въ то время еще не были сосланы.

Приказаніе было исполнено.

Первые мѣсяцы супруги прожили очень холодно. Иванъ Николаевичъ не обращалъ почти никакого вниманія на жену, но потомъ онъ вглядѣлся въ нее, и полюбилъ ее той нѣжной мягкой любовью, какой умѣютъ любить только вялые, тихіе и смирные характеры. Онъ чувствовалъ, что готовъ отдать жизнь для счастья своей бѣдной Маши, онъ жалѣлъ ее, лелеялъ, постоянно, чуть не со слезами, думалъ о ней, но у него не хватало храбрости защищать ее противъ матери — смѣлость его простиралась не больше того, что, полюбивъ свою жену, онъ сталъ утаивать изъ своихъ доходовъ трехрублевки и пятирублевки, скапливалъ ихъ, покупалъ женѣ какую-нибудь бездѣлушку и былъ счастливъ, когда она улыбалась ему, горько улыбалась — въ знакъ благодарности, навсегда запирая въ ящикъ какой нибудь браслетикъ или брошку, хорошо

зная, что надѣть эти вещи нельзя. Она все знала. Чутки умирающіе.

Послѣ рѣшенія идти пѣшкомъ въ Колпино, когда Ольга Петровна уѣхала въ городъ покупать какіе-то ранцы и саки для предстоящаго многотруднаго путешествія, —Иванъ Николаевичъ остался наединѣ съ женой. Она сидѣла въ креслѣ у окошка и грустно смотрѣла на чуть замѣтно распускающіяся деревья; пробивался изъ земли зеленый пухъ травы; по садовымъ дорожкамъ бороздили тихіе мутные ручьи. Мужъ сидѣлъ на скамеечкѣ у ея ногъ; ея длинные бѣлые костяные пальцы лежали въ его волосахъ. Оба угнетенныя злобящія существа молчали. Онъ зналъ, что у нея сердце разрывается, она чувствовала, что онъ тоже страдаетъ.

— Ужъ какъ нибудь, Маша, голубушка, нерѣшительно проговорилъ онъ наконецъ.

— Какъ нибудь, подневольно и покорно проговорила она, слегка двинувъ своими пальцами между его волосъ.

Вотъ привезены ранцы.

Вечеръ. Горитъ свѣча въ кабинетѣ Ивана Николаевича; тщательно укладываетъ онъ въ свою сумку, и нашатырный спиртъ, и распайлеву воду, и пульверизаторъ, и даже пузырекъ съ мускусовыми каплями. Двигается онъ вяло, дышетъ неровно, въ глазахъ у него навертываются слезы... Стукъ въ окошко.

— Въ походъ собираешься? спрашиваетъ рѣзкій, дерзкій и насмѣшливый голосъ.

— По крышѣ пролезъ!! изумленно восклицаетъ Иванъ Николаевичъ, ошарашенный появленіемъ Аркадія. Аркадій сидитъ на крышѣ подъ окномъ, босая нога, красивая голова съ русыми кудрями; шапки нѣтъ.

— Отворяй скорѣе! кричитъ онъ.

Иванъ Николаевичъ, рѣшительно ничего не понимая, отворяетъ окошко. Аркадій вползаетъ въ комнату.

— Откуда ты?—Потише... маменька услышитъ... что ты? Тише! шепталъ Иванъ Николаевичъ.

Это что такое? говоритъ онъ.—Что она мнѣ всучила?—Письмо Фульвіи Клавдіи супруги Пилата!..*) да хоть бы ко мнѣ, а то къ какой то подругѣ Лукреціи Антонинѣ... Что это значитъ? Посмотрѣлъ, вижу два рубля,—думалъ все деньги, а тутъ — на вотъ тебѣ! — письмо Фульвіи Клавдіи!—Гдѣ хочешь бери, а безъ скандала, подай три рубля... А то вѣдь я самъ къ ней пойду и деньги возьму...

— Полно, Аркадій!

— Что „полно“!—Въ полицію отправить не посмѣе-

*) Это апокрифическое письмо жены Пилата, въ которомъ описываются предсмертныя дѣянія Іисуса Христа, распространено во множествѣ списковъ. Въ эпиграфѣ сказано между прочимъ: „кто носитъ это письмо въ мошнѣ своей, злато не выведется“. И носятъ его въ кошелькахъ, вмѣстѣ съ деньгами.

те: я вашъ, я Стружневъ, столбовой дворянинъ нѣкоторымъ образомъ, хоть и босикомъ хожу... а это твои сапоженки то?—Нѣтъ, не годятся, малы... Ну, такъ вотъ ты насчетъ трехъ рублей позаботься!

— Да гдѣ же я возьму?

— О, чортъ бы тебя дурака побралъ!—Да у матери же... Вишь, вмѣсто денегъ письмо Фульвіи-Клавдіи дала...

Аркадій былъ пьянъ и начиналъ покрикивать. Иванъ Николаевичъ чувствовалъ, что дѣло не обойдется безъ скандала, и что весь скандалъ обрушится на него: зачѣмъ онъ его впустилъ?

— Аркаша, ласково заговорилъ Иванъ Николаевичъ. Денегъ ей Богу нѣту... вотъ... Аркаша, возьми вотъ платиновую ступочку, тебѣ за нее сейчасъ дадутъ пять рублей.

— Дай-ко посмотрѣть...

Удостовѣрившись, что ступка дѣйствительно платиновая, Аркадій протянулъ брату руку.

— Благодарю. Это за мной... а вотъ что еще, снабди меня пожалуйста шапочкой... да куда ты собираешься, укладываешься?

— Въ Колпино завтра пойдемъ.

— А! Грѣхи материны замаливать... Прощай, Ваня! Ты извини, ты знаешь—у меня такой характеръ.

И онъ опять выползъ на крышу и исчезъ въ темнотѣ.

Вотъ и восьмое число—канунъ Николина дня. Идутъ они по слякоти вдоль полотна желѣзной дороги въ числѣ множества пестраго народа; ранцы у нихъ за плечами; обрызганы подолы шелковыхъ платьевъ, но бодро, точно знамя, держитъ свой зонтикъ Ольга Петровна и идетъ смѣлыми, твердыми шагами впереди своего семейства. За ней, еле передвигая ноги, тащится Марья Дмитріевна, повиснувъ на рукѣ мужа; ранецъ у ней съѣхалъ на бокъ, зонтикъ болтается въ безсильной рукѣ во всѣ стороны.—Въ сторонѣ на травкѣ сидятъ веселыя группы около полуштофиковъ: привалы, отдыхаютъ.—Отдыхаютъ и наши путешественники чуть не на каждой верстѣ; какъ ни силится, ни натуживается Марья Дмитріевна—она положительно изнемогаетъ, и останавливается... «упаду».

Варили кофе на спирту, ѣли холодныхъ рябчиковъ, отдыхали...

Вотъ и Колпино!

— Самое чистое помѣщеніе!

— Къ намъ-съ! У насъ въ два окна...

— Барыня! барыня! возлѣ самой церкви!

Кричатъ дѣвченки, теребя всѣхъ за рукава, суетятся, толкаются.

— У меня четыре коровы, солидно заявляетъ какой-то мужикъ.

— Проводи насъ, голубчикъ, соглашается Ольга Петровна съ человѣкомъ, имѣющимъ четыре коровы.

И ведетъ ихъ мужикъ черезъ толпу богомольцевъ, мимо всякихъ выставокъ съ ѣдами и питьями, на край свѣта бѣлаго.—Избушка разваленая, вонючая, грязная, шумятъ въ ней и кричатъ... Тамъ уже пущено человѣкъ двадцать.—Все кругомъ пьяно и дымно, и душно, и гадко.

— Кипятку! оретъ какой-то военный. Я тебѣ всю морду расхлещу—кипятку!

— Скоро-ли водку принесутъ! Охъ, вы подлецы!

— Я-те, каналью, въ окошко выброшу... Я три взялъ... всѣ три мои! кричатъ игроки тутъ-же устроившіе стуколку.

Шатаются пьяныя женщины; многія изъ нихъ, уже въ самыхъ неприличныхъ позахъ, полуобнаженныя, спятъ на сѣнѣ. Кавалеры, конечно, не дремлютъ... вотъ мужъ... поймалъ, заушилъ, — свалка... шумъ, гамъ, толкотня... визги, крики, отвратительная брань... платокъ украли, кофейникъ у кого-то пропалъ, кто-то изъ чужаго чайника вылилъ въ свой чайникъ кипятокъ...

И вотъ во всей этой адской суматохѣ, въ углу, на кучѣ сѣна лежитъ умирающая Марья Дмитріевна. Мужъ цѣлуетъ тихонько ея руки, сжимаетъ ихъ въ своихъ рукахъ, дышетъ на нихъ. Ольга Петровна сидитъ въ сторонѣ и пьетъ молоко.

Вотъ звякнулъ колоколъ, вотъ загудѣлъ другой — и

заколоколилъ благовѣстъ ко всенощной. Началось вавилонское столпотвореніе на чердакѣ этого маленькаго домишка: бѣгутъ, давятъ и мнутъ другъ-друга, пьяные тоже толкаются между народомъ, дико ворочая глазами и въ непониманіи разводя руками: что это значитъ. Одни игроки остаются спокойны.

— Алексѣй Алексѣичъ, вашъ ремизъ.

— И Сергѣй Антоныча...

— А я за сдачу...

И звѣнятъ мѣдяки.

— Ну, ко всенощной, говоритъ Ольга Петровна.

— Ваня, не могу, шепчетъ аадыхающаяся Марья Дмитріевна.

— Она не можетъ, умоляющимъ голосомъ говоритъ Иванъ Николаевичъ.

— Гдѣ-же! Это мы—простолюдины, а сибирская аристократія, нерчинская... гдѣ же! Ужь я одна... мы — простолюдины, хоть и въ седьмой книгѣ записаны, а не въ спискахъ каторжниковъ!..

— Маменька!

— О! я пойду! пойду!—Дай мнѣ еще мускусу, Ваня... мнѣ легче отъ него...

И идутъ, и толкаются въ тридцатитысячной толпѣ около церкви, и, само-собой разумѣется, никакой всенощной не слышатъ. Давка ужасная: въ ней не только

просто рвутъ платье, но вырѣзаютъ куски изъ спинокъ верхнихъ костюмовъ. Воровство неизрѣченное... Толкотня такая, что до смерти давятъ другъ друга. Вонъ зонтикомъ глаза кому-то выкололи, вонъ у дамы кто-то серьгу вырвалъ изъ уха: кровь льетъ, вонъ мужикъ лежитъ въ обморокѣ, а по немъ ходятъ ноги... Богомолье! Богу-ли мы молимся только, полно!

Ольга Петровна тоже молилась, но — нѣтъ, она не Богу молилась: Богъ не принимаетъ такихъ молитвъ. Она молила смерти своему родному сыну. Такія молитвы надо направлять въ другую сторону...

Утро... звонъ, большой звонъ, сумятица, ругань, крики и опять давка, давка и давка!...

— Кипятку!

— Молока!

— Что ты толкаешься, скотина!

И драка...

Молебны, обѣдня, опять молебны... давка, воровство и драка.

Но вотъ, слава Богу, начинается крестный ходъ...

Виситъ полумертвая Марья Дмитріевна на рукѣ мужа и едва плетется за нимъ. Шумитъ и гудитъ пестрая толпа, и вѣтеръ вздуваетъ волосы на головахъ мужчинъ, и шлепаютъ въ грязи женскіе подолы... наступилъ кто-то—брань и проклятія...

Идутъ, идутъ, идутъ. Ужъ хоругви у часовни, а хвостъ народа еще въ Колпинѣ: три версты.

Далѣе у меня перо вываливается изъ рукъ. Нѣтъ, пусть человѣкъ болѣе черствый, жестокій и холодный описываетъ эту картину у часовни—эту возмутительную сцену раздачи хлѣба, это ползаніе на колѣняхъ по грязи вокругъ часовни, всѣ эти ругательства, всю эту свалку;— я не могу. Могу спросить только — для чего это привозятъ хлѣбъ и, освятивъ его, предлагаютъ публикѣ на драку. Оффиціально извѣстно, что при этой раздачѣ было много несчастныхъ случаевъ... Чтобы получить пол-ломтя чернаго хлѣба, человѣкъ, имѣющій возможность сейчасъ же купить сто ковригъ такого хлѣба (какого-нибудь обряднаго или священнаго значенія этотъ хлѣбъ не имѣетъ; его привозятъ крестьяне сосѣднихъ деревень чисто съ спекулятивной цѣлью) — готовъ пожертвовать не только своими ребрами, но и жизнью. Богомольцы дерутся жестоко: не на животъ, а на смерть.

У часовни.

Ольга Петровна смиренно опускается въ грязь на колѣни и строго оглядывается назадъ на сына, который волочитъ подъ руку жену. Взглядъ выразителенъ.

— Маша... какъ-нибудь...

— Все равно, шепчетъ она—не шепчетъ, а дышетъ, и тихо опускается на колѣни.

И тысячи народу опускаются на колѣни... Три раза проползываетъ этотъ народъ вокругъ часовни.

Ползетъ на колѣняхъ Марья Дмитріевна и чувствуется ей, что ноги у ней, какъ-будто отстаютъ, сначала отстала ступня, потомъ до колѣнъ она не чувствуетъ ногъ, точно на дорогѣ ихъ оставила; потомъ голова у ней невольно стала клониться на сторону: будто шея размягчилась и ослабѣла. Она свалила голову на плечо ползущаго мужа и едва-едва прошептала:

— Я умираю, Ваня!

— Машенька! Машенька!

— Ну, что такое?

— Надо домой, почти съ энергіей сказалъ Иванъ Николаевичъ.

Ольга Петровна не обратила на это никакого вниманія, и заерзала на колѣнкахъ впередъ, моля Господа о смерти Аркадія.

— Маменька! Ради Бога!

Иванъ Николаевичъ сталъ на ноги и поднялъ жену. Ольга Петровна тоже сердито поднялась съ колѣнъ.

— Ну!

— Маменька, она очень нездорова, дрожащимъ, молящимъ, рыдающимъ голосомъ проговорилъ Иванъ Николаевичъ.

Ольга Петровна посмотрѣла и убѣдилась, что дѣло

не до шутокъ.—Гдѣ-то достали карету (уступилъ какой-то великодушный царскоселецъ)—и поѣхали. Иванъ Петровичъ разорвалъ у жены лифъ, опрыскалъ грудь одеколономъ, теръ ей ноги нашатырнымъ спиртомъ, безъ стыда цаловалъ ихъ при матери, и не замѣчалъ, что у него ручьями льются слезы на эти маленькія, худенькія, костлявыя ноженки.

— Маша! Маша! что ты? что съ тобой?

— Тяжело, голубчикъ...

Всю дорогу Ольга Петровна сидѣла и молчала.

— Пріѣхали. Господи, кто это черезъ заборъ съ узломъ лезетъ!

— Ваня! воръ! — лови его! изступленно закричала Ольга Петровна. Это—онъ!—Это—Аркашка!

Она выскочила изъ кареты, за ней выскочилъ и Иванъ Николаевичъ.

— Ва-аня... не уходи... едва выдыхнула Марья Дмитріевна.

— И склонился къ ея губамъ Иванъ Николаевичъ.

— Это онъ! неистово закричала Ольга Петровна.

— Точно такъ-съ, я самый: Аркадій Николаевичъ Стружневъ: въ седьмой книгѣ записанъ. Не очень кричите, а то полиція придетъ... Успокойтесь: я не много взялъ. Досвиданья покуда!

Все это выкрикнулъ, или, лучше сказать, выплюнулъ

Аркадій самымъ наглымъ тономъ, удаляясь бѣглымъ шагомъ отъ дому...

— Воръ! бѣги за нимъ! кричала Ольга Петровна, тормоша Ивана Николаевича, склонившагося въ карету, къ головѣ жены.—Бѣги! воръ!

— Не побѣгу... Теперь не до него...

Иванъ Николаевичъ крѣпко сжалъ въ рукахъ трупъ жены и лишился чувствъ.

ПОСТЪ И ПОКАЯНІЕ.

Широкая русская масляница кончилась: остались масляницы поуже: въ провинціяхъ, въ чистый понедѣльникъ справляютъ масляницу кучерскую; у насъ, въ Петербургѣ, во вторникъ, справляютъ масляницу нѣмецкую. Повидимому, между кучерами и нѣмцами нѣтъ никакой аналогіи, если не прибѣгать къ натяжкамъ, въ родѣ: кучера, дескать, насъ возятъ, а нѣмцы водятъ... за носъ; но, во всякомъ случаѣ, мы не поступили оплошно, отведя себѣ для всякихъ возліяній цѣлую недѣлю и пожертвовавъ кучерамъ и нѣмцамъ всего по одному дню: щедрость въ этомъ случаѣ очень повредила-бы самимъ намъ; отведи-ка мы недѣлю масляницы (первую недѣлю поста) кучерамъ, потомъ недѣлю — нѣмцамъ; третью недѣлю французамъ, — вѣдь мы, справивъ свою масляницу, не удержались-бы, справить масляницу кучерскую, нѣмецкую или французскую. Чтобы тогда осталось для поста, для заботъ о спасеніи души? И гдѣ-бы мы взяли тогда лекарей для леченія бѣлыхъ горячекъ (delirium tremens)

и желудочныхъ катарровъ (catarrhus ventris)? Въ настоящее время, отведя нѣмцамъ всего одинъ день для праздника, мы, конечно, тайкомъ, справляемъ съ ними этотъ праздникъ,—но вѣдь всего одинъ день... Мы, такъ сказать, опохмѣляемся, поправляемся для предстоящаго подвижничества въ посту. Нельзя-же, въ самомъ дѣлѣ, сразу перейдти отъ водки и блиновъ къ квасу и рѣдькѣ! Мнѣ одинъ пьяница говорилъ, что такой рѣзкій переходъ именно и привелъ царя Навуходоносора къ такому печальному положенію, въ которомъ онъ, обросши шерстью, проходилъ семь лѣтъ на четвереньках, подобно дикому звѣрю, или г. Малафѣеву, у котораго, говорятъ, отъ излишества употребленія блиновъ, голосовые органы усовершенствовались до того, что онъ всю масляницу рявкалъ по медвѣжьи на подъѣздѣ своего балагана, чѣмъ и разгонялъ болѣе робкихъ изъ публики.

Впрочемъ, это—предисловіе. Говоримъ это, для упрежденія читателя, что мы не хотимъ его позабавить умствованіями, въ родѣ умствованій банщиковъ, съѣздъ которыхъ происходилъ недавно и которые передъ грязью своихъ бань умыли руки заявленіемъ о томъ, что вся бѣда происходитъ отъ мытья бѣлья, съ которымъ возятся бѣдняки въ баняхъ, намыливаютъ его и полощутъ, и что изъ-за этого-то и происходитъ то, что банщики «на *своей шеѣ* (Sic) несутъ непосильный грузъ». Надо бы устроить

съѣздъ бѣдняковъ и предложить вопросъ: не намылить-ли эти шеи для облегченія груза? — Впрочемъ, это къ дѣлу не относится: извините: все это—присказка. Мы должны начать сказку.

Въ *прощеное* воскресенье, вѣроятно, названное прощенымъ по случаю восклицанія одного святаго изъ русскихъ: «Господи! прости насъ за сіе превеликое и конечное пьянство и обжорство»! — въ прощеное воскресенье, именитый купецъ Иванъ Петровичъ Телепаевъ никакъ не могъ уснуть послѣ обѣда: животъ его пучили блины, а въ головѣ бунтовала полынная водка. Онъ жестоко раскаявался, что не послалъ въ аптеку Гильзена хоть за касторовымъ масломъ: можетъ быть, отпустили-бы морфія, и онъ спалъ-бы теперь глубокимъ сномъ. Въ легкой и безпокойной дремотѣ, Ивану Петровичу грезились всякія неподобныя глупости: то ему грезилось, что онъ находится на засѣданіи с.-петербургскаго коммерческаго общества, гдѣ предсѣдательствуетъ казначей, не знающій счета, а какой-то директоръ, въ виду неграмотности этого казначея, предлагаетъ выдать ему тысячу рублей въ награду; то грезилось, что онъ находится на засѣданіи общества дешевыхъ квартиръ, считаетъ самъ билеты, присланные г. Симоновымъ на право дароваго леченія сгущеннымъ воздухомъ, а потомъ, ему грезилось будто-бы, его Ивана Петровича приглашаютъ считать желающихъ

воспользоваться этими даровыми билетами: «нѣтъ, покорно благодарю»! всѣ отвѣчаютъ ему: «жизнь намъ еще не надоѣла»! — и, будто-бы, ни одного желающаго лечиться сгущеннымъ воздухомъ онъ такъ и не насчиталъ. Въ дремотѣ, совершенно утомленному ѣдой и питьемъ, Ивану Петровичу грезились и болѣе нелѣпыя вещи. Грезилось ему, напримѣръ, что онъ совсѣмъ нищій, и сидитъ въ долговомъ отдѣленіи, будучи долженъ нѣкоему, Мовшѣ Галприну, пятьдесятъ копѣекъ серебромъ, и что тотъ, не надѣясь никогда получить съ него долга, освобождаетъ его оттуда, надѣясь получить за это медаль, для евреевъ установленную... Нелѣпость грёзъ дошла до того, что Ивану Петровичу почудилось, будто, онъ уже находится въ рукахъ лекаря отъ пьянства, Истомина, и что тотъ ему сыплетъ въ ротъ персидскій порошокъ для истребленія насѣкомыхъ, которыя, яко-бы, ползаютъ въ желудкѣ, и тѣмъ возбуждаютъ охоту къ употребленію водки и другихъ спиртныхъ напитковъ передъ вкушеніемъ блиновъ. Заснуть-же Иванъ Петровичъ никакъ не могъ. Его одолѣвало безпокойство и раскаяніе; онъ неясно вспоминалъ, что передъ обѣдомъ надѣлалъ премного глупостей. Онъ начиналъ молиться, чтобы Господь далъ ему силу воздержанія, и клялся, что не выпьетъ больше ни одной рюмки и не съѣстъ ни одного блина.

— Но тутъ-же—увы!—что-то такъ засосало подъ ложеч-

кой такъ, что Иванъ Петровичъ, вскочивъ съ кровати, накинулъ халатъ и направился въ другую комнату, къ шкафчику, гдѣ хранилась домашняя полыновка, настоянная на спирту, почти равносильная лучшему французскому абсенту. Но на дорогѣ онъ былъ остановленъ своимъ управляющимъ старикомъ Спиридонычемъ. Спиридонычъ стоялъ передъ нимъ хотя и почтительно, даже съ нѣкоторой сосредоточенной застѣнчивостью переминая въ рукахъ красный фуляръ и опустивъ долу свою сѣдую и плѣшивую голову, но стоялъ серьезный и мрачный, какъ злой духъ.

— Что? сердито спросилъ Иванъ Петровичъ.

— Пришли, лаконически проговорилъ Спиридонычъ.

— Кто?

— Нѣсколько, печально сказалъ Спиридонычъ, грустно качнувъ головой.

— Кто именно?

— Да вотъ пришелъ рыбакъ: деньги требуетъ за десять копченыхъ сиговъ, которыхъ вы въ прорубь велѣли опустить, «рыба, сказали, любитъ воду, пусть плаваетъ, я членъ общества покровительства животнымъ, не желаю допускать, чтобы безвинныхъ сиговъ съѣдали». Такъ вы ему и объяснили и приказали опустить сиговъ въ прорубь. Шесть съ полтиной проситъ.

— Отдай, да гони его въ шею! досадливо крикнулъ Иванъ Петровичъ.

— Пришелъ парень изъ трактира «Мелкаго Плаванія», проситъ деньги за восемьдесятъ блиновъ, что вы изволили скормить четыремъ чухонскимъ лошадямъ...

— Отдай сколько проситъ, да гони въ шею.

— Пришли четыре отставныхъ солдата, требуютъ по рублю. Маршировать ихъ заставляли, кричать ура, да дѣлать ружейные пріемы чухонскими оглоблями, а сами изволили командовать ими въ видѣ, какъ-бы генерала. Требуютъ по рублю...

— Выдать и прогнать въ шею.

— Пришелъ сотрудникъ «Петербургской газеты» Касьянъ Ямановъ, говоритъ, что видѣлъ васъ и обличитъ. Онъ, говоритъ, меня не замѣтилъ, меня съ городовымъ изъ Спасской части вели, а я все его безобразіе видѣлъ и опишу, говоритъ, во всѣхъ подробностяхъ: хоть, говоритъ, какъ до дѣла коснется, я хромаю, а обличать купцовъ—лучшая собака...

— Поищи, братъ Спиридонычъ, у меня гдѣ-то есть рваные сапоги подъ кроватью, выдай ему. Больше никого нѣту?

— Слава Богу, никого...

— А гдѣ жена?

— Къ вечернѣ уѣхала.

— Слава Богу!

Иванъ Петровичъ подошелъ къ шкафчику и выпилъ. Выпилъ, и вдругъ его взяло раздумье. — Передъ нимъ воочію представились всѣ масляничныя безобразія, припомнилось, какъ онъ въ среду разбирался съ г. Малафѣевымъ въ полицейскомъ балаганѣ, а потомъ проснулся, окруженный пятью бродячими собаками, приведенными имъ съ улицы; припомнилось, какъ онъ билъ дома посуду, какъ раздѣвшись до нага, заставлялъ молочницу лить себѣ на голову молоко, чтобы нѣжнѣе было тѣло, какъ подкупалъ часоваго около памятника Петра Великаго, чтобы тотъ позволилъ ему взлесть на бронзовую лошадь и посидѣть на ней... и многое гнусное припомнилось тутъ Ивану Петровичу—гнусное и глупое, совершенное имъ по милости масляницы.

— Больше—ни одной рюмки, рѣшительно проговорилъ онъ. И нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ!

Этотъ зарокъ былъ не первымъ и, конечно, не послѣднимъ. Иванъ Петровичъ ежедневно, проходя отъ своей квартиры въ контору своей фабрики, заходилъ въ трактиръ и говорилъ: «фу, какія у васъ большія рюмки! нѣтъ-ли маленькой?—самой маленькой!—Мнѣ самую маленькую!» — Выпивъ «самую маленькую», онъ начиналъ говорить уже совершенно другое: «Какія у васъ дрянныя рюмки—неужели нѣтъ побольше! — Дайте стаканъ! Какой маленькій стаканъ!—дайте побольше!» —Словомъ,

плоть его была немощна, такъ-что духъ бодръ не могъ совладать съ нею...

Стаканъ полыновки подѣйствовалъ очень хорошо: Иванъ Петровичъ легъ и скоро, безъ всякихъ грёзъ, уснулъ сномъ сторожей гостинаго двора, съ одного изъ которыхъ, какъ пишутъ, на дняхъ какіе-то плуты сняли сапоги и брюки, не разбудивши его...

Иванъ Петровичъ проснулся, когда уже собралось много гостей и когда супруга стояла передъ нимъ и, толкая его въ бокъ, говорила:

— Боишься-ли ты Бога! Какіе дни!

— Сейчасъ, матушка, сейчасъ!

— Люди вѣдь пришли!

— То-то, то-то!

Иванъ Петровичъ вскочилъ и началъ одѣваться. — «Больше—ни одной рюмки», клялся онъ въ душѣ. «Вечерня ужъ отошла,—постъ! Кончено!

«Люди», пришедшіе къ Ивану Петровичу—были люди степенные не менѣе, чѣмъ онъ. Тутъ былъ его младшій братъ съ женой и тоже фабрикантъ, былъ деверь—суровскій торговецъ, былъ зять — табачникъ, былъ племянникъ—каретный мастеръ и другіе, все люди почтенные и основательные, если не считать нѣмца Зейденштюккера, главнаго мастера на фабрикѣ Ивана Петровича для котораго даже, въ доказательство его легкомыслія,

была подана на закуску къ водкѣ копченая колбаса, по поводу которой отмѣнно остроумный братъ Ивана Петровича, Сила Петровичъ, успѣлъ уже замѣтить, что теперь, въ сырные дни, колбаса русскому — смерть, а нѣмцу — здорово.

Послѣ обыкновенныхъ привѣтствій и обыденныхъ разговоровъ о томъ, что биржевую залу совсѣмъ не топятъ, о томъ, что ломовикамъ-бы надо дать таксу, о томъ, что оберъ-полиціймейстеръ хорошо сдѣлалъ, запретивъ не экзаменованнымъ фельдшарамъ-цирульникамъ ставить рожки и бросать кровь, такъ какъ у деверя Ивана Петровича уже умерла отъ рожковъ жена—да это-бы еще не бѣда! — сдохли двѣ лошади отъ бросанія крови; — послѣ такихъ разсужденій, разговоръ перешелъ на великій постъ.

— Да, господа, надобно отдать что-нибудь и совѣсти и Богу, докторально проговорилъ Иванъ Петровичъ, котораго опять начинало трясти жестокое похмѣлье.—Надо намъ прекратить будетъ эти выпивки.

И онъ покосился на деверя, Луку Лукича, очень усердно хлопотавшаго около водки и закуски.

— Мы, наконецъ, русскіе, Христіане! толковалъ Иванъ Петровичъ. Вечерни уже отошли: насталъ постъ. Кончено.

— Да, надо кончить, вздыхая заявилъ Сила Петровичъ.

— Да, надо будетъ! Кончимъ и дадимъ заклятіе! патетически воскликнулъ Артемій Иванычъ, зять Ивана Петровича.

— Давно пора. Слава тебѣ Господи! восплясали супруги.

— Прекратимъ! заявилъ и Лука Лукичъ, деверь Ивана Петровича.

— Слава тебѣ Господи! Давно пора! воскликнули супруги.

— Ви прекращайте, а намъ за вашъ здоровье пить могу! весело сказалъ Зейденштюккеръ, наливая себѣ рюмку какого-то вина. Вашъ поста, нашъ масляницъ!

— Закусывай колбасой, Рудольфъ Карлычъ! посмѣивался Сила Петровичъ.

— Можно.

Рудольфъ Карловичъ выпилъ и закусилъ колбасой. Всѣ взоры были обращены на него... Счастливецъ!

Всѣ съ ожесточеніемъ, злобой и завистью посмотрѣли на почтеннаго нѣмецкаго мастера, а Иванъ Петровичъ даже сплюнулъ.

— Въ нынѣшніе дни — что́ нѣмцу здорово, то русскому—смерть, имѣлъ духу сказать только отмѣнно остроумный Сила Петровичъ.

Началось тяжелое и долгое молчаніе. Всѣ чувствовали, что лучше бы всего поскорѣе совершить обрядъ про-

щанія и какъ-нибудь въ одиночку окончить прощеное воскресенье. Воцарилась скука и началась даже зѣвота. Уже порядочно развеселившійся около графиновъ, Лука Лукичъ поправилъ дѣло.

— Господа, братцы! сказалъ онъ. Ну что? Сегодня прощеное воскресенье, больше пить мы не будемъ: простимся, на радостяхъ, хорошенько съ ней, съ голубушкой!

Онъ поднялъ графинъ водки и налилъ себѣ рюмку.

— Точно, братцы, выпьемъ въ послѣдній разъ, согласился Иванъ Петровичъ, которому ужъ рѣшительно становилось не въ моготу.

— Выпьемъ! Зарокъ съ завтрашняго дня.

— Зарокъ съ завтрашняго дня!

— Качнемъ! Только съ зарокомъ: зарокъ не забывать!

— Нахлещемся въ послѣдній разъ въ лучшую и— конецъ!

— Ну, въ послѣдній разъ!

— Пожалуй! Пожалуй!

Столъ съ графинами и закусками былъ осажденъ, и вскорѣ Сила Петровичъ, забывъ, что колбаса—русскому смерть, преспокойно заѣдалъ полыновку нѣмецкой копченой колбасой.

Спустя немного времени, дѣло дошло до того, что заговорили о нѣмцахъ. Первостатейный острякъ Сила Петровичъ увѣрялъ, что нѣмцы родятся слѣпыми; Лука

Лукичъ разсказывалъ, что въ Аршавѣ вовсе нѣтъ лошадей, а потому ѣздятъ на нѣмцахъ; Артемій Иванычъ сообщалъ, что нѣмцы никогда не ходятъ въ баню, дабы не изобличить хвоста...

— Смѣется, смѣется! А нѣмецъ васъ учитъ, твердилъ Зейденштюккеръ.

Черезъ часъ веселость дошла до того, что Иванъ Петровичъ началъ клятвенно увѣрять, будто видѣлъ нѣмца нагишомъ, что нѣмецъ всегда покрытъ шерстью, имѣетъ хвостъ подобный собачьему и копыта, похожіе на копыта козла. Тó, что другіе говорили въ шутку. Иванъ Петровичъ заявилъ съ яростью.

— Смѣется! Смѣется! А нѣмецъ васъ учитъ, проговорилъ было Зейденштюккеръ.

Иванъ Петровичъ, всецѣло находясь подъ вліяніемъ полынной, рябиновой, мамуровки, запеканки, померанцевки, лимонной, разсолки, комисаровки и иныхъ, вскипѣлъ до глубины души.

— А вотъ раздѣнься-ко! крикнулъ онъ. Мы посмотримъ и хвостъ, и копыты, и все...

Иванъ Петровичъ сознавалъ, конечно, нелѣпость своего требованія, но ему хотѣлось показать свою власть и величіе: онъ былъ въ томъ состояніи, когда даже самому маленькому человѣку море по колѣно. Зная характеръ Ивана Петровича, всѣ, было, забунтовали, женщи-

ны засуетились, подносъ съ питіями и закусками, не извѣстно куда, изчезъ.

— Раздѣвайся, нѣмецъ! яростно оралъ Иванъ Петровичъ.

— Смѣется, смѣется! А нѣмецъ васъ учитъ! проговорилъ опять Зейденштюккеръ.

— Ну, такъ мы тебя сами раздѣнемъ! Вали его, ребята! заоралъ Иванъ Петровичъ.

— Смѣется! смѣется! посмѣиваясь говорилъ наивный нѣмецъ; но въ это самое время Иванъ Петровичъ схватилъ его могучею рукою именно за то самое мѣсто, которымъ особенно послужили намъ нѣмцы, засѣдая въ разныхъ коллегіяхъ, коммисіяхъ, совѣтахъ и комитетахъ. Иванъ Петровичъ думалъ поймать нѣмецкій хвостъ.

Говорятъ, нѣтъ ничего оскорбительнѣе для нѣмца прикосновенія къ этой части. Зейденштюккеръ жестоко оскорбился; глаза его засверкали.

— Ну, шутка — шутка, а дѣла конецъ. Мы — разсчетъ, рѣзко сказалъ онъ, и вышелъ.

Долго еще продолжалась оргія...

На другой день, справившись въ шкафчикѣ, Иванъ Петровичъ нашелъ тамъ такое малое количество полыновки, потребляя которое, совершенно истощилъ къ вечеру, конечно, тайкомъ отъ супруги, вполнѣ сохраняя

видъ благочестиваго человѣка, аккуратно соблюдающаго посты. Въ полдень къ нему заходилъ Лука Лукичъ по какому-то дѣлу; онъ былъ замѣтно навеселѣ и спросилъ: помнитъ-ли Иванъ Петровичъ зарокъ?

— Я не въ тебя, братецъ. Слава Богу, я русскій человѣкъ, и всегда могу свято исполнять русскіе обычаи, каковы-бы они ни были, нравоучительно, почти сердито отвѣтилъ Иванъ Петровичъ. Еще сердитѣе отвѣтилъ Иванъ Петровичъ женѣ, когда она спросила передъ обѣдомъ, будетъ-ли онъ пить водку: «кажется, знаешь, какіе нынче дни!» почти крикнулъ онъ, но тутъ же улучивъ минуту, не преминулъ навѣдаться въ шкафчикъ.

Къ вечеру, когда уничтожился весь запасъ водки въ графинѣ, у Ивана Петровича начались такія страшныя мученія похмѣлья, что онъ принужденъ былъ лечь въ постель: безпокойство о чемъ-то, безпричинный страхъ и такія вздрагиванья всего тѣла, что его на полъ-аршина вверхъ подбрасывало отъ кровати. Но онъ крѣпился, по своему характеру, онъ предпочелъ-бы умереть, чѣмъ осрамиться передъ женой, выказать передъ ней свою слабость, спросивъ водки. Еще менѣе онъ расположенъ былъ якшаться своими тайнами и выказывать свои слабости передъ кѣмъ-нибудь изъ прислуги. Мученія Ивана Петровича достигли крайнихъ предѣловъ, когда къ нему пришелъ Зейденштюккеръ за разсчетомъ.

— Ишь ты какъ нализался! сердито сказалъ Иванъ Петровичъ, взявъ отъ него счеты. Какіе теперь дни?

— Нѣмецкая масляница, весело отвѣтилъ Зейденштюккеръ, завтра поѣдемъ за городъ...

У Ивана Петровича блеснула какая-то мысль, и онъ сталъ значительно ласковѣе со своимъ мастеромъ, даже какъ-то невнятно пробормоталъ: «ты братецъ извини... вчера... это пустяки были... оставайся, Рудольфъ Карлычъ, полно!»

Иванъ Петровичъ возвратилъ ему листокъ со счетомъ. Нисколько этому неудивившись, Рудольфъ Карлычъ смялъ листокъ и сунулъ въ карманъ: эту операцію онъ обыкновенно совершалъ послѣ каждаго большаго праздника, и ужъ давно привыкъ къ ней.

— Матушка! крикнулъ Иванъ Петровичъ женѣ. Налей-ка въ графинъ водки—гдѣ у васъ тамъ водка-то — угости Рудольфа Карлыча: у него нѣмецкая масляница.

— Неужли въ графинѣ-то ничего ужъ нѣту?

— Да вѣдь ты видѣла—былъ Лука; ну, конечно, все и выглоталъ, подлецъ!.. Въ этакіе дни-то! Господи! Что подѣлаешь, коли нѣтъ совѣсти у человѣка!

Ударившись въ благочестивыя размышленія, Иванъ Петровичъ такъ ловко успѣлъ подойти къ графину, и, поднявъ его, съ восклицаніемъ: «вотъ она гибель-то наша!» успѣлъ такъ ловко сдѣлать глотковъ пятнадцать че-

резъ горлышко, что ни нѣмецъ, ни жена этого не замѣтили, вполнѣ будучи увѣрены, что Иванъ Петровичъ только пристально разсматриваетъ «гибель нашу», заключающуюся въ графинѣ.

Послѣ такого фокуса, Иванъ Петровичъ, конечно, развеселился.

— А что, Рудольфъ Карлычъ, вѣдь это вышла нѣмецкая масляница, должно быть, вещь прелюбопытная, сказалъ онъ — никогда я не бывалъ на вашей нѣмецкой масляной...

— Кто не велѣлъ! Идитъ на нашъ пикникъ, пригласилъ Зейденштюккеръ.

— Любопытно! Любопытно посмотрѣть...

— Этакіе дни-то! Вѣдь ты не нѣмецъ!..

— Никакое знаніе не лишне. Богъ далъ глаза для того, чтобы видѣть. Посмотрѣть, матушка, не мѣшаетъ, какъ веселятся, да дурачатся нѣмцы... Посмотримъ на вашего брата, Рудольфъ Карлычъ, такъ-ли вы веселитесь, какъ мы православные!

— У насъ мало дерутся, а стеколъ совсѣмъ и не бютъ, осклабясь заявилъ Зейденштюккеръ.

— Ну, братецъ, а вѣдь полиція, я думаю, всетаки приставлена.

— Само такъ, только малб: больше для русскихъ которые себя показуютъ за нѣмцевъ.

— Значитъ, и мнѣ надо показать себя за нѣмца?!— Ну, да хоть-бы и это: я смогу: я вѣдь по нѣмецки тоже вполнѣ все понимаю... Такъ ты мнѣ завтра покажешь нѣмецкую масляницу?—Любопытно, любопытно, какъ веселитесь вы, безбожники, въ этакіе дни!

Въ одномъ изъ загородныхъ трактировъ стоялъ дымъ коромысломъ. Къ подъѣзду, убранному разноцвѣтными фонариками, безпрестанно подъѣзжали упарившіяся и взмыленныя тройки. Въ одной изъ трактирныхъ залъ пилилъ какой-то немудрый нѣмецкій оркестръ и шли немудрые и вялые танцы: кавалеры еще не развеселились. Немногіе-же, успѣвшіе уже развеселиться кавалеры, не умѣли танцовать: они болтались въ толпѣ, какъ будто, что-то обдумывая, и безпрестанно навѣдывались въ буфетъ. На каждую обращенную къ нимъ или не къ нимъ фразу, они отвѣчали: «я, я, я,» и при этомъ съ увѣренностью, энергически качали головой. На вопросы: «васъ истъ дасъ, и во вильсъ ду геенъ, они одинаково отвѣчали: «я, я, я! ихъ ферштее!» и всѣ болтали головами съ самымъ увѣреннымъ и дѣльнымъ видомъ серьезныхъ людей. Одинъ изъ этихъ кавалеровъ, знавшій пѣсню «деръ шнейдеръ вольте рейтенъ», все ходилъ и напѣвалъ: «деръ шнейдеръ вольте рейтенъ, эръ гатъ кейнъ пфердъ»... И,

ко стыду моему, я долженъ признаться, что это былъ именно мой герой Иванъ Петровичъ, въ *такіе дни*, привезенный Зейденштюккеромъ справлять нѣмецкую масляницу и уже успѣвшій до пятнадцати разъ проговорить у буфета: «гебензи миръ нохъ ейнъ шнабсъ».

«Прелестная вещь эта нѣмецкая масляница, думалъ Иванъ Петровичъ, пьешь себѣ, какъ собака, въ этакіе дни, и никто тебя не видитъ. Благодать! Глупый народъ эти нѣмцы: на ихъ мѣстѣ, я бы масляницу-то протянулъ на всѣ семь недѣль—все равно, не спасти имъ душу, а тутъ и намъ бы удовольствіе доставили; никто-бы не зналъ!.. Вонъ Зейденштюккеръ пляшетъ себѣ, шельма, и, я думаю, сейчасъ готовъ присягу принять, что я не выпилъ ни одной рюмочки! Благодать эта нѣмецкая масляница; и благочестіе соблюдаешь и пьянъ напиваешься!»

— «Деръ шнейдеръ вольте рейтенъ!» весело замурлыкалъ Иванъ Петровичъ, расшагивая въ передбуфетной комнатѣ.

— Я, я, я! отвѣтилъ ему какой-то знакомый голосъ.

Иванъ Петровичъ глянулъ и съ ужасомъ узналъ своего зятя Артемія Иваныча. Тотъ, видимо, тоже узналъ его и отвернулся.

— «Деръ шнейдеръ вольте рейтенъ», продолжалъ пѣть хитрый Иванъ Петровичъ, повидимому вовсе не замѣтивъ своего зятя. «Эръ гатъ кейнъ пфердъ».

— Я, я, я! раздалси вдругъ другой знакомый голосъ. Ихъ ферштее...

Глянулъ Иванъ Петровичъ и узналъ своего единокровнаго брата Силу Петровича. Но онъ не подалъ виду...

— «Эръ гатъ кейнъ пфердъ», продолжалъ онъ. «Зонъ амеръ ейне енцигенъ ботъ, ундъ тридъ, феръ керъ»...

— «Я, я, я!» подтвердилъ третій знакомый голосъ.

Иванъ Петровичъ узналъ своего племянника, рука его протянулась уже къ волосамъ... но онъ опомнился, поспѣшно отвернулся и безпечно запѣлъ: «деръ шнейдеръ вольте рейтенъ».

— Иванъ Петровичъ! вдругъ окрикнулъ его Лука Лукичъ.

— Васъ воленъ зи?

— Полно, братъ!

— Ихъ ферштеенъ нихъ.

— Полно!

— Васъ воленъ зи?

— Ихъ виль тринкъ шнабсъ! Угощай-ка, дружище!

— Только ты—молчать, злобно проговорилъ Иванъ Петровичъ, показывая изъ подъ полы кулакъ. Иди къ буфету, какъ нѣмецъ, и подтягивай мнѣ.—«Деръ шнейдеръ вольте рейтенъ»...

— А, братъ, да ты здѣсь!..

— Зятюшка!

— Дяденька!

— А ты какъ сюда попалъ шельмецъ!? крикнулъ Иванъ Петровичъ на племянника.

— На тройкѣ...

— То то. Забыть все! Угощаю всѣхъ... только надо намъ дать другой зарокъ: зарокъ ничего никому не говорить, что мы здѣсь видѣлись...

— Этотъ зарокъ исполнимъ!

— Это—не то, что зарокъ не пить!

Часа черезъ два, когда выносили изъ трактира Ивана Петровича, а за нимъ выводили его компанію, Зейденштюккеръ пришелъ провожать ихъ.

— Смѣется! смѣется, а нѣмецъ васъ учитъ.

СОЦІАЛЬНАЯ КОШКА.

Вы, конечно, уже слышали, что Моисей Моисѣевичъ Фарманъ обанкрутился, на довольно кругленькую сумму, слышали, конечно, вой, вопли и проклятія раззоренныхъ имъ людей. — Мовша! я не участвовалъ въ твоихъ дѣлахъ своими капиталами, ты не раззорилъ меня ни на грошъ, если не считать моего перочиннаго ножа, украденнаго тобою двадцать лѣтъ тому назадъ, но гдѣ-бы ты теперь ни находился — на собственной ли великолѣпной дачѣ, на Крестовскомъ островѣ, въ долговомъ ли отдѣленіи, въ острогѣ ли, въ самомъ ли аду, я не жалѣю тебя, подобно тому какъ жалѣлъ, когда мой дядюшка, Степанъ Тимофѣичъ, лупилъ тебя желѣзнымъ аршиномъ за разныя плутни, или тетушка, Дарья Федотьевна, драла въ банѣ крапивой за похищеніе платинки изъ ея приданаго ларца. — Жалѣть бѣднаго жиденка Мовшу было естественно, но жалѣть великаго банкира и концессіонера Моисея Моисѣевича Фармана, сразу пустившаго по міру тысячи людей — просто богопротивно. — На вора

Мовшу былъ и аршинъ, была и крапива; на вора Моисея Моисѣевича нѣтъ ни того, ни другаго: уворовавъ, онъ хохочетъ, и ѣдетъ поправлять свое здоровье за границу.—Мовша! ты помнишь, что я очень хорошо зналъ, въ какомъ мѣстѣ на чердакѣ ты прячешь ворованное изъ выручки серебро, но я никому не говорилъ объ этомъ; теперь я всѣмъ разскажу твои похожденія.—Ты купилъ фельетониста одной большой газеты, чтобы тотъ написалъ, что ты, какъ волъ, трудился съ утра до ночи, наживая свой капиталъ; я разскажу, какъ ты трудился, но разскажу по подробнѣе, разскажу все, что́ знаю.

Лѣтъ тридцать пять тому назадъ, дядюшка Степанъ Тимофѣевичъ былъ по своимъ торговымъ дѣламъ въ маленькомъ и грязномъ пограничномъ еврейскомъ городишкѣ, и наткнулся на ужасный жидовскій гвалтъ около одной лачуги; множество евреевъ махали руками, кричали, вертѣлись, какъ будто отходили отъ толпы, но сдѣлавъ два шага, опять возвращались и начинали еще громче кричать и еще энергичнѣе махать руками. Оказалось, что въ лачугѣ умерла нищая еврейка, оставивъ сынишку, лѣтъ десяти, который и былъ предметомъ словопреній. Въ одной рубашонкѣ, обвивъ руками свои голыя колѣнки, мальчикъ сидѣлъ на землѣ и въ изнеможеніи, прислонившись спиной къ стѣнѣ лачуги, горько плакалъ.—Мальчикъ понравился дядѣ и ему стало жаль его.—На-

до замѣтить, что дядя былъ простодушный, добрый, немного съумасбродный человѣкъ, издавна привыкшій всякую пришедшую въ голову мысль исполнять немедленно и—чѣмъ страннѣе была мысль, тѣмъ при приведеніи ея въ исполненіе былъ настойчивѣе; онъ считалъ себя мудрецомъ, любилъ вмѣшиваться въ чужія дѣла и подавать мудрые совѣты, и готовъ былъ раззориться, чтобы только дѣлали по его совѣтамъ. Евреи его, впрочемъ, очень уважали и снимали передъ нимъ картузы.

— Въ чемъ дѣло? спросилъ дядя, когда гвалтъ немного умолкъ при его приближеніи.

— Въ очередь, въ солдаты!

— Не кормить его! На талмудъ-тора у насъ и такъ четверо!

— Десяти-то лѣтъ, да въ солдаты!—Кто его возьметъ!

— У насъ возьмутъ!

— Онъ и ружья не подыметъ!

— Палка заставитъ—подыметъ!

Дядя сейчасъ сообразилъ, что ему нуженъ расторопный конторщикъ и что нѣтъ на свѣтѣ народа расторопнѣе евреевъ, что облагодѣтельствованный и выученный жиденокъ, черезъ пять лѣтъ, превратится въ золотаго дѣловаго малаго.—Давай его сюда! Кормить вамъ его нечѣмъ, я прокормлю!—И вотъ, послѣ клятвеннаго обѣщанія, что не будетъ неволить мальчика къ перемѣнѣ вѣ-

ры отцевъ, послѣ взноса въ кагалъ довольно изрядной для того времени суммы и исполненія еще нѣкоторыхъ формальностей,—дядя привезъ къ намъ, въ Перекатанскъ, будущаго великаго банкира. Дѣло было поздней осенью; его вытащили изъ тарантаса крѣпко завернутымъ въ медвѣжье одѣяло. Когда развернули одѣяло, то мы увидѣли маленькаго, худенькаго слабаго мальчика, съ красивымъ жалкимъ смуглымъ личикомъ, съ большими глазами, какъ будто плачущими, ищущими чего-то, умоляющими о чемъ-то: такъ смотрятъ безпомощныя, попавшія въ плѣнъ звѣрьки. Голова его блестѣла черными кудрями превосходныхъ жесткихъ волосъ.

Тетка ровно часъ ругала дядю за его богопротивный поступокъ, за оскверненіе дома привозомъ жида, потомъ, когда сердце ея примирилось нѣсколько съ этимъ жалкимъ существомъ, стоявшимъ прижавшись въ углу, въ одной рубашенкѣ, съ ногами голыми до колѣнъ, она два часа ругала дядю за то, что онъ чуть не уморилъ бѣднаго ребенка: неужели не хватило смысла купить ему штанишки да сапожишки какіе нибудь!—Выкидано было изъ ящиковъ и комодовъ всякое старье, и къ вечеру Мовша былъ одѣтъ, если не совсѣмъ изящно, то тепло и сносно.

И зажилъ у насъ маленькій еврей.—Онъ былъ дикъ; ни съ кѣмъ не говорилъ, но всегда съ готовностью ис-

полнялъ всѣ приказанія. Въ свободное время онъ любилъ сидѣть на корточкахъ, обнявъ руками свои колѣна и качаться, зажмуривъ глаза, точно онъ дремалъ: и не снилась-ли ему въ это время зала городской думы и толпа барановъ-акціонеровъ, передъ которыми онъ читаетъ отчетъ прибережнаго банка, изъ котораго ясно, что, по милости ошибокъ правленія, чистый убытокъ простирается до полутора милліоновъ рублей, но что по милости и ловкости правленія, акціонерамъ будетъ выдано 30% дивиденда, и при этомъ никто не хохочетъ, а всѣ аплодируютъ...

Желая сдѣлать изъ Мовши расторопнаго конторщика, дядя отдалъ его въ то-же училище, гдѣ учился и я. Изъ меня дядя хотѣлъ сдѣлать непремѣнно сочинителя (онъ и самъ сочинялъ немного), въ надеждѣ, что я буду писать басни нисколько не хуже Крылова; по этому случаю, не желая губить мой предполагаемый талантъ, онъ рѣшительно не допускалъ меня къ торговлѣ, и при немъ въ его большемъ магазинѣ галантерейныхъ и панскихъ товаровъ я не могъ пробыть больше пяти минутъ: онъ меня сейчасъ выпроваживалъ: «учись: Крыловъ въ пятьдесятъ лѣтъ греческій языкъ выучилъ, вѣкъ свой учился, и ты учись!»—Зато Мовша, готовившійся въ конторщики, прямо изъ школы долженъ былъ приходить въ магазинъ и торчать тамъ до самаго запора. И онъ съ ра-

достью торчалъ тамъ! Кошку никто не учитъ ловить мышей. Надо было удивляться, какъ этотъ робкій запуганный еврейчикъ, взойдя за выручку, превращался въ настоящаго бѣсенка, какъ онъ скакалъ по полкамъ и ошарашивалъ васъ, выбрасывая передъ вами въ одну секунду сотню разнородныхъ образцовъ требуемаго товара. Въ училище онъ шелъ тихо, чуть не плача, въ лавку бѣжалъ бѣгомъ. Моисей, говорилъ иногда дядя, за часъ передъ запоромъ, шелъ бы ты домой, уроками позанялся. Успѣю-съ, утречкомъ пораньше встану, изготовлю, отвѣчаетъ Мовша, и смотритъ на дядю своимъ разбѣгающимся пугливо-заячьимъ взглядомъ, какъ будто умоляя о пощадѣ. Этотъ взглядъ сохранилъ банкиръ и до сегодня. Въ послѣдній разъ я видѣлъ его на дачѣ, на Крестовскомъ: между рѣдкими тропическими растеніями, въ кіоскѣ съ позолоченными и эмальированными витыми колонками древне-русскаго вкуса (вся дача великолѣпно построена въ русско-византійскомъ вкусѣ пятнадцатаго и шестнадцатаго столѣтій) стоялъ онъ въ легкомъ голубомъ шелковомъ пиджачкѣ, въ жилетѣ и брюкахъ небеснаго цвѣта, и смотрѣлъ на куртинки, на цвѣты и на статуэтки въ своемъ саду такъ-же умоляюще, какъ смотрѣлъ тогда, когда кучеръ Михѣй несъ его въ баню драть крапивой. Признаюсь, у меня и теперь шевелится какое-то смутное неразъяснимое сомнѣніе: можетъ-ли человѣкъ,

имѣющій такой взглядъ, быть такимъ великимъ разбойникомъ. Дѣло въ томъ, что я не вѣрю въ сиренъ...

Въ первое время Мовша, какъ жиденокъ очень много вытерпѣлъ въ школѣ: напакостить жиду считалось подвигомъ: у него портили тетрадки, жаловались на него безъ всякой причины, а о побояхъ ужъ и говорить нечего... Онъ все переносилъ съ изумительнымъ терпѣніемъ. Разъ кто-то ударилъ его такъ сильно, что разбилъ ему до крови носъ; въ это время первый силачъ въ училищѣ, Голобоковъ, вытиралъ классную доску мокрой губкой; Мовша подошелъ къ нему и попросилъ губки вытереть кровь, чтобы не увидѣлъ учитель. Эта добродѣтель такъ разжалобила честнаго Голобокова, что тотъ тутъже заявилъ, что переломаетъ ребра всякому, кто осмѣлится обидѣть жида. Попавъ подъ защиту Голобокова и начавъ ссужать товарищей деньгами, Мовша скоро сдѣлался важнымъ лицомъ между нами, тѣмъ болѣе, что благодаря изумительно блестящимъ способностямъ, онъ всегда шелъ первымъ. Въ видѣ фокуса, онъ, къ великому удивленію учителя не задумываясь, сразу объявлялъ произведеніе трехъ цифръ умноженныхъ на двѣ (напр. 969 на 68). Память его была изумительна. Тетка, желая обратить его въ христіанскую вѣру, какъ-то вслухъ прочитала ему, когда онъ еще нетвердо зналъ грамоту, всѣ главныя молитвы, и онъ запомнилъ ихъ сразу отъ слова

до слова. Каждое утро и каждый вечеръ онъ становился на колѣни передъ образами и, къ великому удовольствію тетки, съ благоговѣніемъ шепталъ эти молитвы. Ему было всего двѣнадцать лѣтъ, когда тетка заладила окрестить его; но онъ, со своимъ умоляюще пугливымъ взглядомъ, такъ серьезно и ловко отвѣчалъ ей: «Я долго, долго, тетенька, думалъ объ этомъ; это дѣло серьезное— святое; надо подождать мнѣ и приготовиться»—такъ отвѣтилъ, что тетка готова была заплакать, и положила ему въ чашку два куска сахару.

Черезъ два года, дядя убѣдился, что невозможно найдти прикащика смѣтливѣе и расторопнѣе Мовши; даже на воровство его сталъ смотрѣть хладнокровно, взялъ изъ училища и засадилъ за выручку. И точно—никто по всей панской линіи не съумѣлъ-бы такъ ловко, какъ Мовша, подсунуть вамъ московскій набивной ситецъ за настоящій французскій, а петербургскія аляповатыя серьги за настоящія парижскія артикли. Если товаръ приносили назадъ, на умоляющихъ глазахъ Мовши появлялись слезы, и никто не могъ его увѣрить, что этотъ товаръ купленъ у него, въ этомъ магазинѣ: «такую гадость въ первый разъ вижу, мы такой гадости не держимъ, обыщите хоть весь магазинъ»...

Въ пятнадцать лѣтъ Мовша пересталъ воровать, началъ усердно читать теткѣ по вечерамъ евангеліе, и не

смущался ея сладкими надеждами сдѣлаться вскорѣ его крестной матерью. Каждая новая, часто диковатая выдумка дяди приводила его въ удивленіе и восхищеніе, въ восторгъ, доходившій до ужаса, и онъ по цѣлымъ часамъ болтая головой, восклицалъ: «ай, ай, ай, ай, ай!»—Вообще онъ скоро сдѣлался замѣтнымъ членомъ въ семействѣ, дядя сталъ отличать его отъ другихъ прикащиковъ и служащихъ, надъ нимъ перестали издѣваться и насмѣхаться; Мовша не только не пилъ водки, какъ пили всѣ прочіе прикащики, но даже нервно вздрагивалъ, нечаянно услышавъ близкій водочный запахъ; онъ не якшался съ другими прикащиками, не уходилъ тайкомъ на ночь изъ дому, устроивъ изъ всякаго хлама такъ называемую куклу подъ своимъ одѣяломъ, чтобы на первый взглядъ его отсутствіе не было замѣчено... нѣтъ!—онъ былъ вѣрнымъ слугой, обо всемъ доносилъ дядѣ, и скоро былъ объявленъ главнымъ прикащикомъ. — «Правая моя рука!» не могъ нахвалиться дядя. Я очень былъ радъ успѣхамъ Мовши, и когда онъ показалъ мнѣ свое прикащицкое свидѣтельство перваго разряда, я отъ души пожалъ ему руку. Признаюсь, я любилъ его, и любилъ изъ дурныхъ побужденій. Его лесть была непобѣдима, онъ завидовалъ моимъ дряннымъ каштановымъ волосамъ, называя свои чудныя черныя кудри вороньими перьями; онъ восторгался до удивленія моими успѣхами въ гимназіи; когда я го-

ворилъ, онъ сидѣлъ разинувъ ротъ, пораженный, какъ громомъ, моимъ краснорѣчіемъ.—Я былъ въ седьмомъ классѣ гимназіи и однажды сказалъ Мовшѣ, что подло быть ренегатомъ, и что лучше умереть за вѣру своихъ предковъ, чѣмъ перемѣнить ее.

— А вы думаете, я перемѣню?! съ невыразимой усмѣшкой сказалъ Мовша. Усмѣшка эта говорила: «ахъ, вы дураки! я всѣхъ васъ проведу и выведу!»—И въ тотъ-же вечеръ онъ съ благоговѣніемъ читалъ теткѣ какую-то духовную книгу.

Разъ я ему, обиженному чѣмъ-то дядей, началъ объяснять вредное значеніе торговли и паразитство купца, становящагося посредникомъ между потребителемъ и производителемъ. Онъ вдругъ какъ-бы воспрянулъ, выпрямился, фамиліарно взялъ мою руку и тономъ старшаго сказалъ мнѣ: «Я все это давно самъ обдумулъ, но... Вы русскій, вы можете не дѣлать того, что дѣлать совѣстно, а я—проклятый жидъ. Еслибъ купель смыла съ меня мое жидовство, я давно-бы сдѣлался христіаниномъ. Нѣтъ! я жидъ на вѣки...Вы—левъ, я—комаръ... Ну, комаръ для льва бываетъ чувствителенъ только тогда, когда залезетъ въ ухо!»—Онъ весь дрожалъ, руки его дрожали, онъ говорилъ, стуча зубами. Потомъ онъ взялъ свѣчку и книгу и шатаясь вышелъ. — Мовша читалъ по цѣлымъ ночамъ и запоминалъ почти все прочитанное наизустъ. Я думаю

и теперь онъ можетъ продекламировать отъ слова до слова всего Евгенія Онѣгина.

Скоро я навсегда разстался съ дядей и теткой: уѣхалъ въ Петербургъ—писать басни, какъ полагалъ дядя. Ужъ теперь не помню, черезъ сколько именно лѣтъ, но во всякомъ случаѣ не больше какъ черезъ четыре года, я получилъ отъ дяди письмо за черной печатью.—Вотъ оно: «Любезный мой племянникъ и крестникъ, Иванъ Афанасьевичъ!—Наша дорогая—моя супруга, а твоя родная по отцу твоему тетка Дарья Ѳедотьевна приказала тебѣ долго жить. Умерла весьма тихо, жуя изюмину, мною ей въ ротъ всунутую. Скажу о себѣ. Прости дорогой племянникъ, что долго не писалъ. Теперь я, братъ и сынъ мой крестный, живу у почтеннаго Евграфа Ивановича въ банѣ, помнишь, онъ у насъ былъ мальчикомъ, еще его звали Грашкой-гунявымъ за то, что волосъ на головѣ росло у него мало. И въ превеликой я, любезный крестникъ, бѣдности нахожусь, такъ что иной разъ и поѣсть бываетъ нечего, а по добрымъ людямъ мнѣ ходить совѣстно. И все это я терплю по милости подлеца Мошки-жида; ты его, я думаю, не забылъ. Богъ его суди!—Кто у меня выкралъ въ Нижнемъ больше восьмидесяти тысячъ въ чемоданѣ, не знаю. Онъ спалъ въ номерѣ, да не онъ-ли самъ и разломалъ окошко, чтобы оправдать себя. Въ суматохѣ тогда я и не подумалъ на него.

Послалъ еще въ Коротконосовъ, гдѣ жиды. А онъ съ жидами сошелся, взялъ у нихъ деньги; всѣ жиды-то теперь воютъ. Взялъ деньги онъ, а ужъ ко мнѣ пріѣхалъ, говоритъ, хлѣбомъ торговать желаю, нуженъ разсчетъ.— Стали лавку считать, и настоящимъ я банкротомъ оказался: по его подлеца милости сразу четыре векселя мои объявили. Все отобрали. А Мошка нашъ теперь въ ужасной фортунѣ. Десять у него барокъ ходитъ и двѣ коноводки. И могу тебѣ сказать, любезный племянникъ Иванъ Афанасьевичъ, что мошенникъ онъ подобный кащею безсмертному. Въ первыхъ числахъ сего мѣсяца, при извѣстномъ тебѣ быкѣ—Нѣмая Сопка, случилось, что разбилося восемьдесятъ баржъ съ хлѣбомъ и Мошкины семь барокъ и, онъ самъ за молебномъ, какъ и всѣ хозяева шелъ по берегу. И что же ты думаешь!—въ пользу это разбитіе ему послужило! Покуда другіе плакали и роптали на Господа, онъ успѣлъ, загнавъ двѣ лошади, прибыть въ деревню Кудрину, гдѣ ничего о случившемся не знали, и скупилъ сорокъ барокъ съ хлѣбомъ. И на хлѣбъ теперь вдвое цѣну возвысилъ, и большіе барыши получаетъ, и плевать не хочетъ на семь-то своихъ потонувшихъ баржъ да вмѣстѣ и съ коноводками.—Все у насъ, любезный мой племянникъ и крестникъ, теперь очень дорого. Если дѣла твои благополучны, то помоги чѣмъ можешь мнѣ, престарѣлому старику, и Господь не забудетъ тебя»... и проч. — далѣе

сообщенія о родныхъ и знакомыхъ, не имѣющія надобности входить въ составъ этого разсказа.

Въ то время я получилъ за какую то повѣстушку двѣсти рублей и немедленно рѣшился посѣтить родной Перекатанскъ: сто рублей нужно было на проѣздъ туда и обратно, сто рублей я рѣшилъ вручить дядѣ. Но, увы!— я засталъ его уже въ гробу. Евграфъ Ивановичъ встрѣтилъ меня смущенный и какъ въ чемъ-то виноватый: у него и самовары, и кострюли, и ложки все было позаложено, чтобы похоронить дядю...

Дня черезъ три послѣ похоронъ Евграфъ получилъ письмо: «Завтрашняго числа, 10-го іюля, покорнѣйше проситъ васъ пожаловать къ себѣ на чай, готовый къ услугамъ Моисей Моисеевичъ Фарманъ».

— Пропали мои двѣсти рубликовъ! вскричалъ Евграфъ. Не говорите женѣ. Какъ было не повѣрить ему! Послѣ этой штуки съ хлѣбомъ, ему каждый нищій несъ свой послѣдній грошъ: ловкій, дескать, человѣкъ — изъ гроша рубль, а то и два сдѣлаетъ!—Ахъ, какъ онъ гремѣлъ! — Вѣдь онъ въ одинъ мѣсяцъ десять рублей на рубль, Иванъ Афанасьевичъ, батюшка, на этомъ хлѣбѣ нажилъ—поймите: какъ такого человѣка не уважать!!!

Убѣдительно и вмѣстѣ съ тѣмъ печально говорилъ Евграфъ.

Я былъ молодъ и отваженъ; я хотѣлъ отъ всей души

помочь честному Евграфу, и видѣлъ уже два раза, какъ Мовша, мчась въ коляскѣ мимо меня, не кланялся мнѣ...

— Ты получишь завтра свои двѣсти рублей, Граша, рѣшительно сказалъ я. Давай вексель, и пиши передачу на меня, безъ оборота. Ты вѣришь мнѣ?

— Господи!..

И вотъ съ передаточнымъ векселемъ я въ великолѣпной квартирѣ Мовши. Какіе цвѣты, какая мебель, какая бронза!—На огромномъ столѣ, среди комнаты, стоитъ до двадцати блюдъ съ разной закуской, до тридцати графиновъ съ разными водками и настойками, до сорока бутылокъ съ разными винами.

Вхожу. — Я пріѣхалъ рано. На сценѣ еще первый посѣтитель, сѣдой, толстобрюхій купецъ.

— Что же ты думаешь, жидовская твоя рожа! говоритъ онъ.

— Несчастіе!

— Подлецъ ты этакій! Знаемъ мы это несчастіе!

Является другой посѣтитель.

— Ахъ, ты разбойникъ, жидъ ты пархатый!

Являются еще и еще. Одинъ изъ нихъ доходитъ въ брани до такого азарта, что плюетъ даже Мовшѣ въ лицо. Тотъ покойно утирается и жалобно бормочетъ слово: «несчастіе».—Шумъ и гвалтъ ужасный.—«Меньше вось-

ми гривенъ нельзя.» — «Чортъ съ нимъ, съ жидовской мордой, пусть заплатитъ по полтинѣ!»

— Больше четвертака не могу...

— Ахъ, ты жидовская, подлая твоя морда!..

Послѣ долгихъ споровъ и криковъ, соглашаются взять по три гривны за рубль. — Какъ только воспослѣдовало это соглашеніе, Мовша превратился въ добраго хозяина, а его ругатели въ почтительныхъ гостей. — Закуска, — Моисѣй Моисѣевичъ выноситъ кучу денегъ, ему съ заискивающимъ видомъ подаетъ вексель тотъ человѣкъ, который недавно плюнулъ ему въ лицо, и Мовша важно и презрительно отсчитываетъ ему рубли и копѣйки, рветъ вексель и клочья прячетъ въ карманъ...

Когда мы остались одни, прежде чѣмъ я заговорилъ, Мовша вытащилъ изъ своей огромной пачки четыре пятидесяти рублевки, и подалъ ихъ мнѣ: «вы у Граши остановились, отдайте ему. А не правда-ли—вы видѣли сегодня, теперь, образцовыхъ болвановъ! Знаете ли, сколько я получилъ за это представленіе? — Пятьдесятъ двѣ тысячи чистаго барыша!—И завтра эти ругатели будутъ кланяться мнѣ до земли! О о-о-о! — Я жидъ проклятый, и не прошу извиненія въ этомъ... поступкѣ... Подумайте, Ваня, вы его сами извините—станьте на жидовскую точку-ли, ногу-ли, какъ-ли тамъ... вы извините!.. Надоже и жиду какъ нибудь избавиться отъ своихъ парховъ!..»

И съ этихъ поръ началъ онъ энергически избавляться отъ своихъ «парховъ!»—Господи! чего онъ не дѣлалъ для этого?

Знаете-ли вы, читатель, что такая-же простая бумага, на которой напечатанъ этотъ мой фельетонъ, можетъ, точно живой человѣкъ, падать, подниматься, садиться, опускаться и проч.? Знаете-ли вы, что въ рукахъ съ пучкомъ такой бумаги, вы можете разбогатѣть черезъ минуту, или сдѣлаться черезъ минуту нищимъ? — Кто зналъ, что значатъ билеты внутренняго займа?—Одинъ баронъ, самъ ихъ выдумавшій, купилъ ихъ на три милліона, и въ какихъ-нибудь три часа нажилъ шесть сотъ тысячъ рублей. — Г. Ронъ, скупивъ чуть-ли не по пятаку упавшія акціи общества водопроводовъ, внесъ въ дѣло свой напитокъ, и когда всѣ увидѣли, что дѣло идетъ хорошо, продавалъ пятаковыя акціи по 80 руб. и больше. Это называется биржевой игрой.—Тутъ широкое поле для мошенника, подобнаго Мовшѣ. Если вы, читатель, не умѣете играть въ карты, ну хоть въ стуколку, то держа въ рукахъ козырнаго короля и понимая, что это важная карта, но что тѣмъ не менѣе ее можетъ побить козырной тузъ, не зная, что значитъ ремизъ, вы не можете сообразить свой рискъ съ количествомъ ставки: вы пасуете съ козырнымъ королемъ, а опытный человѣкъ идетъ на простыхъ девяткахъ и выигрываетъ. Имѣя въ рукахъ

акцію, варрантъ, вексель, объявленіе или какую другую биржевую бумажку, вы не знаете, что съ ней случится завтра: если она упадетъ въ цѣнѣ, ее выгоднѣй сбыть сегодня; если она завтра возвысится въ цѣнѣ, ее выгоднѣй придержать до завтра. Главное искусство биржеваго игрока заключается именно въ дальновидности и быстротѣ соображенія, въ искусствѣ, по разнымъ, повидимому, ничего незначущимъ примѣтамъ, предугадать перемѣну погоды.—Но такъ-какъ предвидѣть все трудно, то употребляются разные фокусы для возвышенія и пониженія бумагъ: прямое шулерство, игра на вѣрняка. Напримѣръ, вдругъ вы читаете въ газетѣ телеграмму: «Екатеринбургъ. Уже третьи сутки горитъ огромное зданіе чугунно литейнаго завода общества «уралъ и купидонъ». Зарево пожара превращаетъ ночь въ день». — Вы вѣрите этому; половина вашего состоянія заключается въ акціяхъ общества «уралъ и купидонъ» и вы бѣжите скорѣе продавать ихъ, чтобы спасти хоть что-нибудь.—Акціи уже упали, и Мовша сторублевую акцію покупаетъ у васъ всего за тридцать рублей.—Дня черезъ два вы читаете въ «Прав. Вѣстн.» коротенькое сообщеніе: «слухъ сообщенный «Биржевыми Новостями» о пожарѣ завода, принадлежащаго обществу «уралъ и купидонъ» не имѣетъ никакихъ основаній».—Тутъ-же на послѣдней страничкѣ, вы читаете, что акціи «уралъ и купидонъ» поднялись до семиде-

сяти-пяти рублей.—«Пожалуй еще подымутся; лучше купить теперь: акціи превыгодныя!» Вы бѣжите и покупаете свои акціи у Мовши по семидесяти-пяти рублей.—Сколько онъ нажилъ по милости этого фокуса? Этотъ труженикъ въ теченіе двухъ дней увеличилъ свой капиталъ въ полтора раза: вознагражденіе хорошее, но гдѣ же плоды его труда?!—Раззореніе множества людей ради ненасытной утробы одного.—И этихъ ловчаковъ патентованные, но не подкупные либералы осмѣливаются называть печатно тружениками!

Сначала Мовша повелъ свои дѣла очень осторожно: игралъ только на козырныхъ картахъ, безъ риску, навѣрняка, а—самое главное—благоразумно привязалъ свой голосъ къ кормѣ большаго корабля: Соломона Соломоновича Кулькова, котораго тоже, впрочемъ, очень недавно всѣ звали Шлемкой.—Въ это время я какъ-то встрѣтился съ Мовшей у Доминика; я подпилъ; онъ пилъ лимонадъ съ какимъ-то сиропомъ, но тоже какъ-будто охмѣлѣлъ, вдохновился и началъ меня посвящать во всѣ биржевыя плутни: «доходнѣе нѣту профессіи» почти кричалъ онъ, хотя глаза его по всегдашнему смотрѣли молитвенно и жалобно.

— А воръ, братъ ты, безцеремонно сказалъ я ему...

Онъ нисколько не оскорбился, только помолчалъ съ секунду.

— Нѣтъ, я не воръ, тихо, плавно и увѣренно отвѣтилъ онъ. Кто у лѣнивца воруетъ, кто лѣнивца наказываетъ, тотъ не воръ. Кто эти люди—эти акціонеры, желающіе ни за что, ни про что получать деньги, за то, что носятъ въ карманахъ разноцвѣтныя бумажки и ничего больше не дѣлаютъ! Я былъ-бы воръ если-бы воровалъ заработанныя деньги, а теперь я только бичъ лѣнтяевъ. Я казню ихъ... я отнимаю отъ нихъ безчестную добычу...

— Голубчикъ, хорошо было-бы, кабы ты возвращалъ эту добычу по принадлежности... а то...

— О, Господи! Мышь воруетъ вашъ хлѣбъ, кошка давитъ мышь; возвращаетъ она вамъ хлѣбъ? Нѣтъ. А вы къ ней признательны, вы кормите ее. Будьте-же хоть немножко снисходительны и къ намъ, такъ сказать, соціальнымъ кошкамъ!...

Вообще, Моисей Моисѣевичъ — великій софистъ, діалектикъ и ораторъ. При удивительной быстротѣ соображенія, онъ поставитъ передъ вами свое дѣло такъ, что всегда окажется правъ. Въ душѣ вы, можетъ быть, и будете сознавать, что онъ неправъ, но сразу рѣшительно не съумѣете возразить ему. Такъ и въ этотъ разъ я, какъ дуракъ, ничего не могъ возразить противъ полезности соціальныхъ кошекъ.

Вскорѣ послѣ этого, Мовша счелъ нужнымъ отцѣпить свой чолнъ отъ большаго корабля. Но разстаться со сво-

имъ покровителемъ, не отблагодаривъ его, онъ счелъ-бы за великій грѣхъ. На прощаньи онъ вырвалъ у Кулькова кусочекъ около ста тысячъ рублей. Случилось это очень просто. Какъ-то заперевъ осторожно двери кабинета, Соломонъ Соломоновичъ сообщилъ Мовшѣ великій секретъ.

— По скольку теперь ходятъ наши акціи проселочно-неторной желѣзной дороги? Спросилъ Кульковъ.

— Меньше трехъ съ полтиной.

— Разрѣшена ссуда въ полтора милліона... Скупите всѣ, всѣ сколько найдете. — Черезъ три дня, когда это огласится, акціи поднимутся на пятьдесятъ, а то и больше...

Узнавъ великій секретъ, Мовша точно скупилъ акціи, но только на свои деньги, продалъ ихъ потомъ по сорока рублей, и барыши цѣликомъ положилъ въ свой карманъ... Надъ его ловкой продѣлкой долго хохотали и всѣ называли его молодцомъ.

И вотъ онъ — тузъ. — Что ни возьмешь газету, смотришь: «с.-петербургское общество истребленія клоповъ, основной капиталъ 700,000 р., который впослѣдствіи можетъ быть увеличенъ до 3.000,000 рублей, утвержденное 30 мая сего года; учредители общества честь имѣютъ довести до всеобщаго свѣдѣнія, что на основаніи § 14 устава, на вышеозначенную сумму 700,000 р., за вычетомъ оставленныхъ учредителями, на основаніи § 35 устава, за собою 220,000 р., будетъ открыта подписка на акціи,

на предъявителя, по 100 р. с. каждая. Подписка на акціи будетъ открыта въ банкирской конторѣ г. Фармана, который, въ интересѣ предпріятія, изъявилъ на это согласіе и проч. и проч. Учредители: «М. Фарманъ, Д. Дворкинъ, С. Витебскій и проч.»

Выдумаетъ Мовша какое-нибудь «Общество с.-петербургскаго ипподрома,» и ѣздитъ по домовладѣльцамъ — скупаетъ мѣста для ипподрома.—Сколько возьмете?—Пять тысячъ.—Что вы, батюшка! Вѣдь это дешевле пареной рѣпы! Хотите десять тысячъ, сейчасъ деньги, сейчасъ къ нотаріусу, вы распишетесь въ полученіи сорока пяти тысячъ.—Сдѣлайте милость, хоть въ пятидесяти!—И Мовшины отчеты всегда вѣрны!

Въ послѣднее время, сверхъ всѣхъ своихъ плутенъ, онъ дошелъ до того, что не только выпрашивалъ ссуды, но ужъ просто началъ вымогать ихъ: «вы ссудили милліонъ, вашъ милліонъ пропадетъ, если вы не ссудите еще пятьсотъ тысячъ».

Съ полгода назадъ я зашелъ въ редакцію одной большой газеты. Вмѣсто секретаря, за столомъ сидѣлъ Мовша и что-то бойко писалъ.

— Обличительнымъ сотрудникомъ сталъ, застѣнчиво засмѣялся онъ, здороваясь со мной.

— Кого же обличаешь?

— Самого себя. Послушайте, и поправьте, если что

неладно: «Имя господина Фармана уже давно пользовалось и пользуется между всѣмъ торговымъ людомъ самой подозрительной извѣстностью. Его продѣлки съ разными каменноугольными копями всѣмъ извѣстны. Онъ безпрестанно создаетъ новыя и новыя общества, чтобы брать деньги на выдачу дивидендовъ по акціямъ старыхъ обществъ: онъ никогда не платилъ процентовъ иначе, какъ изъ капитала. Недавно состроенная этимъ великимъ фокусникомъ картонно-надрованегодная желѣзная дорога...»

Но въ это время вошелъ редакторъ. Мовша вынулъ бумажникъ, бросилъ на свою рукопись три радужныхъ и презрительно толкнулъ лѣвой рукой свое сочиненіе къ редактору, даже не взглянувъ, какъ тотъ почтительно принималъ листъ бумаги обѣими руками.—Я скромно подалъ пузатому редактору маленькое письмо, онъ пробѣжалъ его, сказалъ, что будетъ напечатано, и началъ кланяться Мовшѣ, который уже въ комнатѣ надѣлъ шляпу.

— Скажи пожалуйста – что это такое значитъ? въ рѣшительномъ недоумѣніи спросилъ я Мовшу, когда мы вышли. — Онъ кротко усмѣхался, приближаясь къ своей коляскѣ.

— Садитесь, подвеземъ. — Значитъ это... что акціи картонно-надрованегодной желѣзной дороги падутъ послѣ завтра на половину, а еще черезъ денекъ, когда ме-

ня осмѣютъ въ фельетонѣ, фельетонистъ ужъ нанятъ—еще падутъ...

— Да для чего-жъ это? вѣдь ты учредитель!

— А вы никому не скажете!

— Ну!

— Мы продали дорогу за двѣнадцать милліоновъ; на акцію приходится почти по пятидесяти рублей при ликвидаціи—мы ликвидируемъ... Поняли!... Только это на цѣлую недѣлю великій секретъ!

Въ сегодняшнихъ газетахъ есть извѣстіе, что М. Фарманъ вовсе не обанкрутился, что онъ очень пострадалъ, но все-таки сошелся со своими кредиторами. — Вѣрно, опять заплатилъ по три гривны за рубль...

Нѣтъ, Мовша, ты настоящій воръ, а не соціальная кошка!

НАЧИНАЮЩІЙ ПАРАЗИТЪ.

Родъ Горбатыхъ, если и не происходилъ отъ «тѣхъ вождей, чей во вѣки древни парусъ дерзкій поработилъ брега морей», то это былъ родъ все-таки знаменитый, и въ моемъ героѣ текла несомнѣнно благородная кровь. Уже самая фамилія Горбатыхъ указываетъ на то, что они долго и усердно, такъ сказать, *горбомъ* служили отечеству. Они были и опричниками, и думными дьяками, и архимандритами и воеводами; они съ одинаковымъ усердіемъ служили и Борису Годунову, и Самозванцу и Шуйскому. Во времена менѣе отдаленныя, напримѣръ при царевнѣ Софьѣ, они были старовѣрами, а при Петрѣ Горбатые одни изъ первыхъ обрили себѣ бороду, о чемъ свидѣтельствуетъ письмо Лефорта... Впрочемъ, я совершенно напрасно распространяюсь о родословіи моего героя: интересующіеся этимъ предметомъ могутъ почерпнуть всѣ нужныя свѣдѣнія въ особой, довольно объемистой книгѣ: «Родословная Горбатыхъ-Косыхъ и Горбатыхъ-Сладкихъ съ присовокупленіемъ родословнаго дерева, наклееннаго на каленкорѣ». Тамъ, въ

приложеніяхъ, помѣщено и письмо Лефорта относительно бороды.

Мнѣ остается только сказать, что всѣ Горбатые (Косые и Сладкіе), несмотря на древность своего рода, восходящую чуть-ли не къ первымъ временамъ удѣльной системы, умирали, безъ исключеній своею смертью: ни одинъ изъ нихъ не былъ убитъ на полѣ битвы, ни одинъ не былъ казненъ на площади; они не только никогда не были биты кнутомъ, но даже никогда не бывали въ опалѣ. Словомъ, родъ Горбатыхъ знаменитъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Послѣ такого введенія читатель не можетъ сомнѣваться, что и мой герой Владиміръ Николаевичъ Горбатый-Сладкій, будетъ знаменитъ...

Лѣтъ двадцать тому назадъ фамилія Горбатыхъ-Сладкихъ (вѣроятно, происшедшая оттого, что ея представители, служа горбомъ отечеству, любили въ тоже время сладко попить и поѣсть, вслѣдствіе чего неминуемо должны были когда-нибудь пропить, проѣсть всѣ свои родовыя и благопріобрѣтенныя имущества), начала бѣднѣть и упадать. 1861 годъ подкузьмилъ представителя этой фамиліи, Николая Владиміровича Горбато-Сладкаго до того, что онъ, годный править министерствомъ, принужденъ былъ поступить на службу всего только совѣтникомъ губернскаго правленія.

Всѣ знали, что у него ничего нѣтъ, а онъ самъ, конечно,

зналъ это лучше другихъ, но, пріѣхавъ въ губернскій городъ, какъ представитель благородной русской фамиліи, онъ, само собою разумѣется, не могъ не жить открыто. Сначала, по утрамъ, къ нему приходили какія-то, почтительно садившіяся на кончикахъ стульевъ сибирки, съ которыми онъ иногда имѣлъ продолжительныя таинственныя совѣщанія; за обѣдомъ всегда бывало нѣсколько постороннихъ, только ужь не въ сибиркахъ, а въ элегантныхъ сюртукахъ и фракахъ; къ вечеру собиралось еще больше народу, и открывались картежные столы. Счастье, впрочемъ, совсѣмъ не благопріятствовало Горбатому: онъ постоянно проигрывалъ. Долгополыя сибирки, являвшіяся по утрамъ, начали садиться уже не на кончики стульевъ, а на все сидѣнье; одинъ разъ пришлось даже пригласить какого-то бородача на обѣдъ.

Остатки имѣнія (увы, таковыхъ было немного!) продали съ молотка; вдова съ сыномъ переселилась въ какой-то домишко, на краю города, и начала ежедневно отправлять горы писемъ къ разнымъ «отцамъ и благодѣтелямъ» изъ богатыхъ родственниковъ.

Въ это время герою моего разсказа было тринадцать лѣтъ. Бѣдность, какъ извѣстно, еще болѣе, чѣмъ богатство, раздуваетъ благородную гордость дворянина, и мать воспитывала Володю въ самыхъ благородныхъ правилахъ. Онъ съ пеленокъ зналъ, что родъ его знаменитъ, что Горбатые-

Сладкіе владѣли когда-то огромными помѣстьями съ тысячами крестьянъ, но онъ ни какъ не постигалъ значенія того обстоятельства, что теперь у нихъ «ничего нѣтъ». Это «ничего нѣтъ» должно было казаться ему, конечно, чѣмъ-то неестественнымъ, ненормальнымъ. О людяхъ, имѣющихъ «кое-что», онъ безпрестанно слышалъ: «алтынники награбили» да «аршинники наворовали», — и, само собою разумѣется, чувствовалъ себя неизмѣримо выше этихъ презрѣнныхъ «алтынниковъ» и «аршинниковъ».

«Ничего нѣтъ» дало себя нѣсколько почувствовать Володѣ только въ то время, когда онъ, по милости богатаго троюроднаго дяди, очутился въ лучшемъ петербургскомъ пансіонѣ, въ кругу франтоватыхъ веселыхъ мальчиковъ. На немъ былъ потертый сюртучекъ, на локтѣ котораго никакъ нельзя было скрыть маленькой заплатки; сапоги были чуть-чуть стоптаны, а изъ брюкъ онъ давно выросъ. Все это очень не гармонировало съ окружающей обстановкой, и Володя очень смутился, глядя на фрачки, вышитые снурками, безо всякихъ заплатокъ на локтяхъ, на синіе панталоны, которые были у всѣхъ впору, и на безукоризненные сапоги своихъ будущихъ товарищей. Но онъ смутился не надолго.

— Вы—помѣщикъ? спросилъ его кто-то.

— Да, помѣщикъ.

— Это не ваше имѣніе Горбатово-Загорное, въ м—ской губерніи?

— Наше.

— Богатое имѣніе... Я знаю.

— Много у васъ было крестьянъ?

— Двѣ тысячи, безъ запинки отвѣчалъ Володя.

— Все въ м—ской губерніи?

— Нѣтъ, въ разныхъ губерніяхъ.

— У васъ, вѣрно, опекунъ? спросилъ кто-то сочувственно, очевидно желая разъяснить причину печальнаго состоянія костюма на владѣльцѣ многочисленныхъ имѣній въ разныхъ губерніяхъ.

Володя слыхалъ, что опекуны очень часто имѣютъ непохвальное обыкновеніе держать опекаемыхъ сиротъ въ черномъ тѣлѣ, а потому сразу сообразилъ, что у него есть опекунъ. Вообще онъ обладалъ очень живой фантазіей. Образъ злостнаго опекуна создался въ его воображеніи со всѣми необходимыми качествами жестокаго человѣка, и онъ, глубоко вѣря, что этотъ беззаконникъ расхищаетъ его имѣнія въ разныхъ губерніяхъ, всегда съ большимъ негодованіемъ разсказывалъ своимъ товарищамъ о томъ, что его дубовые лѣса безжалостно вырубаются, богатыя стада мериносовъ проданы за безцѣнокъ, и даже галлерея фамильныхъ портретовъ находится теперь неизвѣстно гдѣ.

Вообще Володя скоро обжился. Надѣвши такой-же костюмъ, какой былъ и у другихъ, разсказывая про свои богатства и про плутни своего фантастическаго опекуна, онъ

никогда и никому не повѣрилъ бы, что у него «ничего нѣтъ». Родившись поэтомъ, онъ былъ совершенно счастливъ. Съ пансіонскими дортуарами, столовой и классными онъ скоро сроднился, а потому его нисколько не печалило то обстоятельство, что его никто не бралъ на праздники. Онъ даже въ эти дни развеселялся какъ-то болѣе обыкновеннаго и развеселялъ скорбящихъ, оставленныхъ безъ отпуска. Въ разсказахъ Володя былъ неистощимъ. Съ нимъ и съ его близкими родственниками бывали всякіе случаи. Стоило ему во французскихъ анекдотахъ прочитать о томъ, какъ une demoiselle спасла собачку, а собаченка потомъ спасла ее, открывши подъ кроватью вора,— онъ сейчасъ-же припоминалъ, что подобный случай былъ съ его матерью, съ той только разницей, что при этомъ была открыта цѣлая шайка разбойниковъ. Трудолюбивый Вася изъ «Друга Дѣтей» самъ сдѣлалъ въ саду бесѣдку,— Володя этому не удивлялся: онъ самъ дома въ короткое время построилъ для себя избушку, конечно, небольшую, но очень уютную, такъ что тамъ были даже кабинетъ и спальня, весьма удобные для хорошаго человѣка его возраста. Одинъ разъ онъ спасъ свою маленькую сестру, безстрашно засунувъ свою правую руку въ пасть бѣшеному волку; въ другой разъ его вытащила изъ воды ньюфаундлендская собака; однажды онъ заблудился въ лѣсу и жилъ цѣлую недѣлю, какъ Робинзонъ; пріятно было жить! Когда попечительные родители

его отъискали, онъ уже жилъ въ землянкѣ и понадѣлалъ себѣ множество горшковъ изъ глины.

Сочиняя и разсказывая по нѣскольку разъ свои сочиненія, Володя, какъ истинный художникъ, входилъ въ смакъ своихъ твореній и принималъ ихъ подъ конецъ за настоящую дѣйствительность. Твердо вѣря въ свои земли, разбросанныя по разнымъ губерніямъ, онъ, какъ человѣкъ богатый, началъ кредитоваться, подобно другимъ мальчикамъ, у булочника и въ непродолжительное время забралъ у него всякихъ сладкихъ пирожковъ на нѣсколько десятковъ рублей, не имѣя ни тѣни сомнѣнія, что онъ уплатитъ свой долгъ. — Какъ? — Какъ-нибудь, ужь какъ-нибудь да уплатитъ. Ну, выйдетъ, наконецъ, изъ пансіона, тамъ отдастъ. «Тамъ» гусарскій мундиръ, рысаки, содержанки, «тамъ» денегъ не будутъ куры клевать; что-же значатъ какихъ-нибудь сорокъ, пятьдесятъ рублей, когда онъ «тамъ» будетъ считать тысячами, нѣтъ — десятками тысячъ!

Его товарищи были по большей части люди богатые. Ихъ «тамъ» по выходѣ изъ пансіона, дѣйствительно, ожидала блестящая розовая жизнь: всѣ готовились гремѣть и блестѣть. А онъ, Владиміръ Горбатый-Сладкій, неужели онъ не будетъ гремѣть и блестѣть? Чѣмъ онъ, потомокъ знаменитой фамиліи, хуже ихъ? — Ничѣмъ не хуже, слѣдовательно, онъ долженъ тоже гремѣть и блестѣть.

Мать Володи умерла вскорѣ послѣ его поступленія въ

пансіонъ компаньонкой у какой-то богатой родственницы. Володя всѣ пять лѣтъ провелъ въ пансіонскихъ стѣнахъ почти безвыходно. Эти стѣны ему только и мѣшали кататься на рысакахъ, кричать на ливрейныхъ лакеевъ, кутить у Дюссо и у Бореля. Стоитъ только развязаться съ пансіономъ, и все это явится само собой. Квартира будетъ въ Морской—великолѣпная; мебель отъ Тура; по стѣнамъ—картины Айвазовскаго; на лѣстницѣ—цвѣты; швейцаръ съ гербомъ: красная рука на зеленомъ полѣ, разсѣкающая полумѣсяцъ... лошади; у кучера борода рыжая съ бѣлымъ отливомъ, а лучше, если сѣдая, только длинная и окладистая...

Все это такъ живо и такъ просто рисовалось воображенію Володи, что онъ былъ истинно счастливъ, когда, въ сопровожденіи ливрейнаго пансіонскаго слуги, садился въ карету, чтобы отправиться къ благодѣтельному троюродному дядѣ и никогда уже больше не возвращаться въ пансіонъ.

Это было въ шестьдесятъ седьмомъ году; къ этому времени даже самые богатые изъ Горбатыхъ опустили крылья, и дядя принялъ моего девятнадцатилѣтняго героя далеко не съ распростертыми объятіями.

— Надѣюсь, вы учились прилежно, сумрачно сказалъ онъ, не приглашая племянника сѣсть и даже не протянувъ ему руки.

Володя, какъ всякій порядочный человѣкъ, не могъ похвалиться прилежаніемъ, но все-таки въ знакъ того, что надежды не обманываютъ дядюшку, онъ сдѣлалъ утвердительный поклонъ.

— Теперь трудъ... всѣ трудятся, въ особенности молодые люди вашихъ лѣтъ. Сколько вамъ лѣтъ?

— Девятнадцать.

— Да. Въ ваши года молодые люди не только сами себя содержатъ,—содержатъ семейства, да еще учатся. Теперь вездѣ трудъ.

Назидательный тонъ этихъ словъ нѣсколько офраппировалъ молодого Горбатаго, и онъ слегка покраснѣлъ.

— Вы получили, насколько можно, достаточное воспитаніе; теперь вы — на дорогѣ. Отъ васъ зависитъ продолжать образованіе, или... или... Во всякомъ случаѣ вы должны трудиться. Мы-всѣ трудимся. Подождите.

Старикъ повернулся и пошелъ въ другую комнату. Смутился ли этимъ пріемомъ Володя? — Нѣтъ: онъ стоялъ совершенно счастливый и свободный, съ самыми блестящими упованіями на будущее.

Дядя вынесъ пятидесятирублевую бумажку.

— Вотъ,—что могу. Я, къ сожалѣнію, долженъ предупредить васъ, что на мою, даже слабую помощь, вы не можете разсчитывать. До свиданья. Человѣкъ, помоги...

Человѣкъ помогъ надѣть Владиміру Николаевичу тальму,

и онъ сбѣжалъ внизъ по лѣстницѣ. Внизу, на скамейкѣ, сидѣлъ пансіонскій слуга, дожидавшійся, пока баринъ переодѣнется въ свое платье и возвратитъ пансіонскій костюмъ—для доставленія по принадлежности. Сладкій зналъ, чего онъ дожидается, и нѣсколько смутился.

— Подожди, братъ! крикнулъ онъ ему на-лету и выбѣжалъ изъ швейцарской на подъѣздъ.

Онъ, конечно, не думалъ воротиться и отъ души хохоталъ, соображая, сколько, приблизительно, часовъ будетъ ждать его этотъ дуралей. Володя не придавалъ никакой цѣны глупому пансіонскому костюму, а потому задержалъ его у себя вовсе не изъ корысти. Черезъ нѣсколько дней онъ подъѣдетъ въ коляскѣ къ пансіонскому подъѣзду и, не безъ юмора, сдастъ весь этотъ хламъ швейцару.

Соображая эту картину своего торжества, Володя быстро шелъ по панели, мялъ въ рукѣ пятидесятирублевку и отъ души похихикивалъ. Считая деньги тысячами и десятками тысячъ, онъ никогда еще не имѣлъ въ рукахъ даже десятирублевой бумажки. Теперь у него не въ мечтахъ, а на практикѣ, въ его собственной рукѣ, была цѣлая сумма, цѣлый капиталъ. Но на него вѣдь мебели у Тура не купишь, и рысаковъ не заведешь, и квартиры не будетъ...

— «Какъ-нибудь, ужъ какъ-нибудь» да будетъ. Нельзяже вдругъ! Хоть что-нибудь есть. Могу зайти!

Володя повернулъ и бѣгомъ побѣжалъ на лѣстницу какого-то трактира.

— Chambre à part есть? крикнулъ онъ.

Володя слыхалъ, что въ такихъ помѣщеніяхъ происходитъ что-то таинственно-прелестное, и прежде всего хотѣлъ побывать тамъ.

Отдѣльныхъ комнатъ, однако, не оказалось, даже и шампанскаго, а потому Володя удовольствовался полпорціей глинтвейну, изъ которой, впрочемъ, не могъ выпить больше полустакана, расплатился и убѣжалъ.

«Надо къ портному», сообразилъ онъ; крикнулъ извощика и гдѣ-то на Невскомъ, у портного съ зеркальными стеклами заказалъ себѣ разнаго платья рублей на полтораста. — «Какъ-нибудь», подумалъ онъ, сбѣгая съ чугунной лѣстницы на панель. Онъ былъ счастливъ, доволенъ: безпрестанно потиралъ руки и восторженно бормоталъ: «чортъ возьми!»

Онъ чувствовалъ себя рыбой, долго лежавшей въ грязи и вдругъ выпущенной въ свѣжую ключевую воду.

Послѣ этого онъ купилъ себѣ лорнетъ и сдѣлалъ изъ него очень счастливое употребленіе: прочиталъ билетикъ: «отдается комната съ роскошною мебелью, со столомъ или безъ онаго». Я говорю «счастливое», потому что не прочитай онъ этого билетика и измотай оставшіеся пятнадцать рублей — весеннюю петербургскую ночь, а, мо-

жетъ быть, и много такихъ прекрасныхъ ночей пришлось-бы проводить подъ открытымъ небомъ. Комната оказалась, дѣйствительно, хорошо меблированной и, ничего себѣ, понравилась Сладкому, тѣмъ болѣе, что цѣна была очень сходная—всего сорокъ рублей въ мѣсяцъ.

«Покуда», подумалъ онъ и далъ пять рублей задатку.

— Я сегодня только вышелъ изъ пансіона: еще ничѣмъ не успѣлъ обзавестись; вы понимаете? (Володя почему-то разразился громкимъ хохотомъ).—Вы пока поставите постель и все такое... Можетъ быть я сегодня буду ночевать дома. Вотъ мой видъ. Вотъ дворянская грамота... Ахъ, я вамъ сейчасъ покажу мой гербъ. Мнѣ можно будетъ прибить тутъ, на дверяхъ билетикъ: «Горбатый-Сладкій?»

Получивъ удовлетворительное разрѣшеніе вопроса относительно билетика, показавъ свой гербъ и назвавъ нѣсколько губерній, въ которыхъ имѣются его родовыя владѣнія, Сладкій отправился заказывать мѣдную доску къ дверямъ, а черезъ часъ воротился домой безъ копѣйки денегъ.

«Какъ нибудь, чортъ возьми»! почти въ слухъ говорилъ онъ, бѣгалъ по комнатѣ, смѣялся и съ азартомъ потиралъ себѣ руки. Неиспытанная новость положенія одуряла его. Онъ былъ свободенъ, и это сознаніе заставляло отрадно дрожать всѣ его внутренности: онъ готовъ былъ смѣяться тому, что на стѣнѣ наклеены обои.

Блаженъ человѣкъ, разъ навсегда рѣшившійся прожить «какъ нибудь:» онъ проживетъ и проживетъ безъ печали и безъ воздыханія. Молодой Сладкій, бѣгая по комнатѣ, находился, повидимому въ очень затруднительномъ положеніи. Впереди не было никакихъ основательныхъ надеждъ, и всякій другой изломалъ бы голову надъ унылымъ вопросомъ: какъ жить и чѣмъ жить? Но Владиміръ Николаевичъ не задумывался, и не унывалъ и дѣлалъ хорошо. Веселый и счастливый, онъ на другой же день устроился и устроился не «какъ-нибудь», а съ комфортомъ какъ подобаетъ хорошему человѣку. Сама судьба позаботилась о немъ.

Въ сосѣдяхъ у него жилъ юноша студентъ, розовый, какъ херувимъ, и невинный, какъ двѣнадцать спящихъ дѣвъ,—сынъ какого-то богатаго сибирскаго золотопромышленника. Володя познакомился съ нимъ вечеромъ-же и немедленно сообщилъ ему про свои имѣнія и про злокозненность своего опекуна. Разсказъ былъ довольно длиненъ и подробенъ. Вы думаете Сладкій нахально лгалъ, чтобы пустить пыль въ глаза молодому человѣку? Никакъ: онъ разсказывалъ то, что достовѣрно зналъ. Своего опекуна онъ зналъ, какъ свои пять пальцевъ: нетолько до тонкости зналъ, насколько этотъ опекунъ безсовѣстенъ, но, едвали не могъ съ точностью сказать, сколько у него волосковъ «въ черныхъ, какъ смоль, бакенбардахъ». Поясняя, какъ его безчестно грабятъ и нарочно оставляютъ безо вся-

кихъ средствъ — для поддержанія своего благороднаго достоинства, Владиміръ Николаевичъ входилъ въ искренній неподдѣльный паѳосъ.

— Какъ же вы теперь? съ почтительнымъ сочувствіемъ спросилъ юноша.

Надо замѣтить, что Владиміръ Николаевичъ отличался очень мужественнымъ тѣлосложеніемъ; въ девятнадцать лѣтъ у него уже были довольно изрядные усики, и, со своими небрежными самоувѣренными манерами, онъ казался на первый взглядъ вполнѣ взрослымъ мужчиной, такъ что неопытный молодой человѣкъ не могъ не чувствовать къ нему нѣкоторой доли почтенія.

— Какъ нибудь! Помилуйте! Вѣдь это, чортъ возьми, наконецъ возмутительно! отвѣтилъ Сладкій, съ хохотомъ махнувъ своими длинными руками. Надо ждать, серьезнѣе добавилъ онъ черезъ нѣсколько времени.

Чего именно *надо ждать*, Владиміръ Николаевичъ не объяснилъ. Тѣмъ не менѣе надо думать, что онъ ждалъ близкаго полученія значительныхъ капиталовъ, такъ какъ немедленно занялъ у своего новаго знакомаго небольшую сумму съ самымъ твердымъ намѣреніемъ возвратить ее изъ первой получки. На другой день утромъ, явившись запросто къ утреннему чаю, онъ весьма небрежно попросилъ у студента надѣть его пару платья и чистую рубашку, всего только на часъ, чтобы съѣздить къ адвокату.

— Знаете, нельзя же, душечка, явиться въ этомъ тряпьѣ: онъ—человѣкъ извѣстный. Завтра—послѣ завтра, мнѣ будетъ готово платье... Помилуйте! ха, ха, ха!

Владиміръ Николаевичъ схватилъ студента подъ бока и, хохоча во все горло, покусился сдѣлать съ нимъ маленькій туръ вальса.

Объ адвокатѣ онъ лгалъ съ предумышленіемъ (онъ рѣдко лгалъ съ предумышленіемъ, сознавая, что онъ лжетъ) ему просто хотѣлось заглянуть къ Борелю, или вообще куда-нибудь, гдѣ бываютъ порядочные люди. Деньги, занятыя у студента, шевелились въ его карманѣ, точно живыя, и причиняли ему значительное безпокойство, почему онъ, понятно, торопился, какъ можно скорѣй избавиться отъ нихъ...

Какъ онъ былъ счастливъ, облекшись въ чужой костюмъ и важно идя по Невскому съ мотающейся лорнеткой! Тутъ онъ встрѣтилъ одного бывшаго товарища и сказалъ ему, что поступаетъ въ адвокаты: «нынче, душечка, все краснорѣчіе. Comprenez?» Черезъ нѣсколько шаговъ ему попался знакомый гвардейскій офицеръ, ходившій въ пансіонъ къ брату. Онъ сказалъ ему, что поступилъ въ присяжные повѣренные. «Много хлопотъ, но за то—карьера... ха, ха, ха!» Онъ былъ такъ счастливъ, какъ не могъ бы быть счастливъ, еслибъ, дѣйствительно, поступилъ въ присяжные повѣренные.

Домой онъ пріѣхалъ поздно вечеромъ. Можетъ быть онъ возвратилъ бы въ этотъ день студенту его платье, но тотъ уже спалъ, а утромъ... «Неужели опять надѣвать пансіонскій фрачикъ fi donc! Сочтемся когда нибудь!»

Владиміръ Николаевичъ захохоталъ, потеръ руки и отправился къ студенту попросить чистую рубашку. Поправляя передъ зеркаломъ воротничекъ и приглаживая галстукъ, онъ неожиданно оживился чрезвычайно счастливой мыслью, и бросился трясти за плечи своего невиннаго собесѣдника.

— Вотъ идея-то! Душечка, пупочка, голубчикъ!... Дайте, я васъ поцѣлую—ей Богу, я васъ люблю!... Давайте жить вмѣстѣ: чтобы все было пополамъ — всѣ расходы. А? Какова мысль! Мы отворимъ эту дверь — у насъ будутъ двѣ комнаты... Мы не будемъ стѣснять другъ друга. Да? ха, ха, ха! Пом-милуйте!—да это прелесть!

Восторгъ Владиміра Николаевича былъ совершенно неподдѣленъ: у него не было мысли, ни даже тѣни мысли, что онъ устраиваетъ жизнь на чужой счетъ. Онъ не зналъ, правда, когда придетъ къ нему богатство, но онъ твердо, непреложно вѣрилъ, что не только никогда не останется въ долгу, но даже осчастливитъ, озолотитъ всякаго своего кредитора.

У студента явилась, во время восторженныхъ восклицаній Сладкаго, какая-то сомнительная мысль, но, при

первомъ ея проблескѣ, онъ покраснѣлъ краснѣе всякой красной дѣвушки и немедленно изъявилъ свое согласіе на купное сожительство съ расходами пополамъ. Владиміръ Николаевичъ отодвинулъ комодъ, вышибъ ногой дверь и немедленно принялся устанавливать мебель соотвѣтственно своему плану—чтобы одна комната была чистая, другая спальня.

— На новоселье идетъ пополамъ полбутылки шампанскаго? ха, ха, ха! Да вѣдь это—прелесть! En êtes-vous fâche?! О, да, да, да!

Владиміръ Николаевичъ бросился обнимать и трепать студента, который въ то время прибиралъ разсыпанныя по дивану книжки и тетрадки. Его нѣсколько и стѣсняло это знакомство и, съ другой стороны, казалось ему оригинальнымъ. Онъ улыбался, краснѣлъ и молчалъ.

И поселился Владиміръ Николаевичъ въ двухъ роскошныхъ комнатахъ на законномъ основаніи; была заведена даже приходорасходная книжка, чтобы не сбиться въ разсчетахъ, и чтобы каждый изъ компаніоновъ могъ знать, когда угодно, сколько онъ долженъ, или сколько ему должны. Владиміръ Николаевичъ пилъ тонкія вина (больше всего онъ любилъ ванильный ликеръ со сливками), хорошо кушалъ, гулялъ, игралъ на билліярдѣ, спалъ на пружинномъ матрацѣ и былъ здоровъ и счастливъ. Спалъ онъ спокойно, потому что былъ увѣренъ, что «когда нибудь» рас-

плотится и вознаградитъ—озолотитъ просто—своего сожителя, котораго онъ, надо отдать ему справедливость, искренно любилъ и цѣнилъ его стыдливую деликатность.

Такъ какъ Владиміръ Николаевичъ не могъ же ходить пѣшкомъ, да и вообще странно бы было не имѣть карманныхъ денегъ на всякій случай,—онъ безпрестанно перехватывалъ небольшія суммы у своего сожителя и у его товарищей; которые побѣднѣе, съ тѣхъ онъ не брезгалъ брать даже по рублю и по полтиннику: съ худого барана хоть шерсти клокъ. И странно, между этими баранами, съ которыхъ онъ меньше всего пользовался, прежде всего нашлись недовольные. Впрочемъ, всѣ ихъ насмѣшки и колкости, очень похожія на ругательства, по счастію, не производили на Сладкаго никакого впечатлѣнія.

— И не стыдно вамъ, ничего не дѣлая, жить проживалкой на чужой счетъ? спрашивали его бывало.

— Помилуйте! У меня дѣла, по горло дѣла! потирая руки, отсмѣивался Владиміръ Николаевичъ.

— Хоть-бы вы чѣмъ-нибудь занялись, наставительно говорили ему.—Вотъ возьмите лекціи переписывать...

— О—о! я тамъ все перевру! Давайте лучше о чемъ-нибудь другомъ говорить: это, право, скучно! Да?

— Паразитъ вы.

— Ш—ш! Полноте, полноте, душечка,—полноте! Это слово не русское; вы его никогда не говорите... ха, ха, ха!

Владиміръ Николаевичъ восторженно кидался къ своему ругателю и весело начиналъ трясти его за плечи.

— Говорятъ: лбомъ стѣны не прошибешь, а про вашъ лобъ можно, право, сказать, что его и стѣнкой не прошибешь, говорилъ тотъ, совершенно выведенный изъ терпѣнія, не совсѣмъ вѣжливо отстраняя отъ себя нѣжности Сладкаго.

— Остроумно! радовался Владиміръ Николаевичъ. Ха, ха, ха! Остроумно!

Несмотря, однакожъ, на свой веселый характеръ и на всѣ другія качества, Владиміръ Николаевичъ черезъ четыре мѣсяца просто опротивѣлъ всему студенческому кружку, и не мудрено: гусь свиньѣ не товарищъ, а онъ былъ гусь... Злые люди сбили даже съ толку его херувимо-подобнаго сожителя, и онъ началъ, краснѣя и заминаясь, отказывать Владиміру Николаевичу даже въ выдачѣ самыхъ пустяшныхъ денегъ—отъ трехъ до пяти рублей. Подъ конецъ дѣло дошло до того, что онъ пересталъ платить извощикамъ Владиміра Николаевича уже и въ тѣхъ экстренныхъ случаяхъ, когда они съ ругательствами являлись въ комнату.

— Помилуйте! да вѣдь это чортъ знаетъ, что такое! серьезно и убѣдительно восклицалъ Владиміръ Николаевичъ.

— То, что лучше намъ разойтись... Поищите себѣ другую квартиру, съ дрожью въ голосѣ, весь покраснѣвъ, отвѣчалъ студентъ.

— Помилуйте, съ какой же стати! Отдайте ему, душечка, два рубля сорокъ, ну, ну! Отдайте.

Владиміръ Николаевичъ начиналъ его ласкать, тормошить, гладить по бокамъ, хохотать, но ничто не помогало...

— Душечка, ты завтра придешь, я тебѣ отдамъ три рубля, успокоивалъ онъ извощика.

«Завтра дамъ ему даже три съ полтиной, или четыре: онъ бѣдный человѣкъ» думалъ Владиміръ Николаевичъ. «Завтра» онъ бралъ на цѣлый день другаго извощика, и съ этимъ повторялась та же исторія... По утрамъ собиралось нѣсколько человѣкъ такихъ кредиторовъ.

— Подождите немножко — вотъ получу, отдамъ. Неужели я не могу отдать этихъ пустяковъ! съ паѳосомъ говорилъ извощикамъ Владиміръ Николаевичъ, отчаянно жестикулируя своими длинными руками.

— Возьми ты ихъ себѣ на гробъ! А еще благородный человѣкъ называется — тьфу! говорилъ какой нибудь старикъ-извощикъ.

— Ну! ты, скотина, не ругайся! Пошелъ вонъ! Твои два рубля не пропадутъ, а ты не смѣй ругаться, болванъ! пылилъ Владиміръ Николаевичъ.

Такія сцены, конечно, были непріятны, но нельзя же было ходить пѣшкомъ. Съ другой стороны, нанимая утромъ извощика, Владиміръ Николаевичъ всегда былъ глубоко увѣренъ, что къ вечеру онъ какъ-нибудь добудетъ денегъ и

расплатится не только съ извощикомъ, но—со всѣми своими кредиторами. Я сказалъ уже, что онъ былъ поэтъ, а потому, естественно, жилъ больше въ возможномъ, нежели въ дѣйствительномъ.

Однажды, воротившись къ обѣду домой, Владиміръ Николаевичъ засталъ своего сожителя надъ чемоданомъ, въ который онъ укладывалъ свои вещи.

— Что это? куда вы? спросилъ онъ его.

— Переѣзжаю на другую квартиру, едва выговорилъ студентъ, который въ то время очень походилъ на преступника, пойманнаго съ поличнымъ.

— И я съ вами въ такомъ случаѣ! Вы вѣдь, душечка, не сердитесь на меня? Да? да?

— Я хочу жить одинъ...

— О, полноте! Помилуйте! Вы одну комнату наняли или двѣ? Намъ и въ одной можно помѣститься. Да? Consentez vous? О, да, да, да!

Владиміръ Николаевичъ потресъ студента за плечи, но тотъ смотрѣлъ что-то очень скучно и нелюбезно. Впрочемъ, нѣтъ сомнѣнія, Владиміръ Николаевичъ увязался бы съ нимъ на новую квартиру, и всѣ сладкія надежды херувимскаго юноши избавиться отъ него пошли бы прахомъ, еслибы въ это время не зашелъ одинъ изъ ненавистниковъ Владиміра Николаевича — какой то голышъ, обѣдавшій чуть-ли не черезъ два дня въ третій.

— Онъ переѣзжаетъ со мной, шепнулъ ему юноша.

— Гоните вы его, крикнулъ студентъ-голышъ, которому Владиміръ Николаевичъ долженъ былъ всего какихъ-нибудь полтора рубля.

— Какже?

— Запросто, по шеѣ гоните! Хотите, я вамъ помогу?

Ненавистникъ Владиміра Николаевича (за что онъ его ненавидѣлъ?) былъ въ это время совсѣмъ разозленъ, разозленъ до несправедливости, и въ умѣ его вертѣлась мысль, что «этакихъ канальевъ слѣдуетъ вѣшать на первыхъ осинахъ».

— Что, вамъ на роду что ли написано жить на чужой счетъ? крикнулъ онъ Владиміру Николаевичу.

— Personne a-t-il jamais conçu une telle idée? ха, ха, ха! Это просто прелесть, отозвался Владиміръ Николаевичъ. Никто! Никто! Никто! запѣлъ онъ на мотивъ: «сюда, сюда, сюда»!

— Вообще — вотъ вамъ: вы уходите отъ него... онъ и такъ, относительно васъ, былъ черезчуръ великодушенъ...

— Полноте! Вѣдь это скучно! Будемте говорить о чемъ-нибудь другомъ.

— Забирайте свои курточки и уходите отсюда. Больше ни онъ, ни я, не желаемъ съ вами видѣться.

— Вы это серьезно говорите? ха, ха, ха!

— Серьезно.

— Помилуйте, куда же я пойду? Вѣдь это смѣшно!

— Ужь куда хотите!

— Иванъ Семеновичъ! обратился Сладкій къ своему сожителю.

— Что вамъ?

— Вѣдь мы будемъ жить вмѣстѣ? да? En etes-vous fâché? О, да, да, да! ха, ха, ха! Вѣдь это смѣшно!

— Я хочу жить одинъ...

— Полноте! Какже я останусь? Душечка! Позвольте, я васъ поцѣлую...

— Вы не будете жить на его счетъ: онъ хочетъ завести, вмѣсто васъ, лягавую собаку—та гораздо умнѣе и деликатнѣе, сказалъ ненавистникъ.

Слово «деликатнѣе» почему-то въ глазахъ Владиміра Николаевича придало всей фразѣ оскорбительный характеръ. Онъ, какъ порядочный человѣкъ, считалъ себя деликатнымъ изъ деликатныхъ.

— Ха, ха, ха! Только вы, кажется, не изъ лягавыхъ, а изъ дворныхъ! Заводиться такимъ животнымъ не стоитъ! обидчиво расхохотался Владиміръ Николаевичъ.

— Далъ бы я вамъ пощечину, да такое животное, какъ вы, не стоитъ ея... Давайте вытаскиваться. А если вы пойдете за нами, такъ вотъ...

Обидчикъ показалъ кулакъ.

— Я останусь здѣсь, рѣшилъ Владиміръ Николаевичъ. «Какъ нибудь.»

Покуда вытаскивали чемоданы и ящики, Сладкій пошелъ къ хозяйкѣ, чтобы условиться на счетъ квартиры; но хозяйка давно знала, что онъ за птица (гусь!), и квартира для него оказалась занятой.

— Куда же я пойду? спросилъ онъ. Вѣдь это, наконецъ, смѣшно!

— У насъ ужъ занято, занято...

Владиміръ Николаевичъ воротился въ пустыя комнаты. Его какъ будто въ это время даже брало раздумье.

— Какъ быть, чортъ возьми? «Какъ нибудь». Обойдется!

— Уходите, господинъ: скоро жильцы пріѣдутъ.

— А-а! Charmé!

— Владиміръ Николаевичъ, отъ души смѣясь, взялъ какую-то брошенную на полъ картонку, натолкалъ туда разбросанныхъ по полу бумагъ и, завязавъ ее шнуркомъ, надѣлъ шляпу и пошелъ съ этой картонкой подъ мышкой.

— Я переѣхалъ. Adieu!

«Куда же идти? Надо въ номерѣ ночевать. Задача. А-а!» Владиміръ Николаевичъ сообразилъ и завернулъ въ табачную лавку.

Я не берусь разсказывать, какъ онъ купилъ тамъ на три рубля почтовыхъ марокъ, какъ просилъ тамъ побе-

речь свою картонку и какъ выбѣжалъ на улицу, чтобы размѣнять въ ближайшей парикмахерской сторублевую бумажку.

Онъ отъ души хохоталъ, соображая всѣ послѣдствія своей невинной мистификаціи. Какъ удивится лавочникъ, открывъ пустую картонку, и какъ онъ будетъ ругаться? Впрочемъ, «когда нибудь» Владиміръ Николаевичъ подъѣдетъ въ коляскѣ и расплотится съ нимъ за все—озолотивъ его за три рубля.

Онъ пошолъ въ мелочную лавку, продалъ марки за два съ полтиной и взялъ номеръ въ гостинницѣ.

— Вотъ такъ комбинація! комбинація! хохоталъ онъ, валяясь на двуспальномъ матрацѣ.

Мужики, люди необразованные, «пришиваютъ бороду», образованные люди «подводятъ комбинаціи.» Мужики «пришиваютъ бороду» бѣлыми нитками и почти всегда сидятъ за это въ острогахъ. Образованные люди, «подводя комбинаціи», почти никогда не сидятъ въ острогахъ. Науки не только юношей питаютъ и въ счастливой жизни украшаютъ, но и въ несчастный случай берегутъ...

Владиміръ Николаевичъ подвелъ въ табачной лавкѣ свою «первую комбинацію». Послѣ этого онъ началъ творить чудеса...

КТО ИЗЪ НИХЪ ДУРАКЪ?

Въ посту какъ-то все тускнѣетъ и хмурится. Лица у всѣхъ постныя, даже у тѣхъ, у которыхъ мы привыкли всегда видѣть масляные глаза: если они маслянятся и теперь, то маслянятся уже постнымъ масломъ, запахъ котораго не выносимъ даже для такихъ строго-благочестивыхъ людей, какъ Петръ Петровичъ, который въ одно долговое отдѣленіе ежемѣсячно вноситъ болѣе полусотни рублей на содержаніе тамъ своихъ неисправныхъ должниковъ—даже такой богобоязненный человѣкъ не можетъ терпѣть постнаго масла.

— Пирожокъ, густымъ басомъ говоритъ онъ, подходя къ буфетчику въ трактирѣ.

— Съ чѣмъ прикажете, Петръ Петровичъ?

— Съ грибками, братецъ, съ грибками. Слава Богу, я православный, братецъ,—не забылъ, что у насъ постъ: какой постъ-то! Въ этакій постъ однимъ собакамъ, а либо кошкамъ можно позволить скоромиться... Ну, такъ-то...

И тутъ-же Петръ Петровичъ, съ ловкостью почти военнаго человѣка, успѣетъ шепнуть, незамѣтно для другихъ,

на ухо буфетчику: «пирожокъ-то на коровьемъ маслицѣ». — Какой благочестивый человѣкъ! даже рыбы не ѣстъ! думаютъ присутствующіе.

Конечно, всѣ мы благочестивые, и любимъ казаться благочестивыми не менѣе, чѣмъ любимъ коровье маслицо: не одинъ Петръ Петровичъ грѣшенъ. Въ передовой статьѣ мы-бы могли доказать цифрами,—въ фельетонномъ разсказѣ—это скучно, — что въ великомъ посту, когда каждый православный всякое утро читаетъ: «остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашихъ», болѣе чѣмъ во всякое другое время года бываетъ долговыхъ взысканій, разныхъ жалобъ, процессовъ, аукціонныхъ продажъ имущества за долги, отправокъ должниковъ въ долговое отдѣленіе и проч. и проч. И все это дѣлается съ подобающимъ смиреніемъ. Петръ Петровичъ и Семенъ Семенычъ, съ кучами исполнительныхъ листовъ въ карманахъ, встрѣчаются у дверей камеры судебнаго пристава.

— Со взысканіями? коварно спрашиваетъ благочестивый Петръ Петровичъ.

— Нѣтъ-съ. Съ самого взыскиваютъ, со вздохомъ отвѣчаетъ Семенъ Семенычъ. Пришелъ деньги вносить... А вы со взысканіями?

— Какое! Ограбили! Присудили! Опись! Пришелъ деньги вносить. Вотъ какое, батюшка, время-то! Жизни не радъ со своей простотой! сокрушается Петръ Петровичъ.

— Просты мы...

И толкутся оба въ камерѣ судебнаго пристава часа четыре. Петръ Петровичъ выжидаетъ ухода Семена Семеныча, а Семенъ Семенычъ выжидаетъ ухода Петра Петровича.

— Что вамъ угодно? спрашиваетъ судебный приставъ.

— Не безпокойтесь, подожду-съ.

— А вамъ?

— Не безпокойтесь, подожду-съ.

И ждутъ.

— Не подать-ли на аппелляцію? — не вносить теперь денегъ.

— Я тоже думаю, не подать-ли на кассацію?—не вносить теперь денегъ.

Это значитъ, что Петру Петровичу грезится стерляжья уха, а Семену Семенычу сигъ съ хрѣномъ въ гостинницѣ «Фениксъ», гдѣ стоитъ только сказать половому: «сигъ съ хрѣномъ». *Понимаешь?*—Непремѣнно случится такъ, что пока *понятливый* половой несетъ этого сига изъ кухни, сигъ превратится въ поросенка и при немъ—откуда не появится сметана; одинъ только хрѣнъ такъ останется хрѣномъ, безъ всякаго превращенія, что весьма пріятно.

Когда эти грезы о стерлядяхъ, да о сигахъ съ превращеніями вызываютъ обильные потоки слюнь по бородѣ, тогда дѣло кончается очень просто.

— Ну, да вѣдь... да вѣдь... да вѣдь я со взысканіями,

вдругъ съ отчаянной рѣшимостью объявляетъ Петръ Петровичъ.

— Признаться и я... немного... вы—въ долговое?

Да, троихъ... Выкупятъ къ празднику.

Дѣло обдѣлывается у обоихъ въ одну минуту, и оба идутъ въ «Фениксъ» заказывать себѣ разныя кушанья: «уха-то стерляжья съ ершами, *ты понимаешь?*»—«Сигъ-то съ хрѣномъ, *ты понимаешь?*» — Само собой разумѣется, понимаютъ...

— Которыя животныя съ чувствомъ, разсуждаютъ пріятели — коровы и лошади, и тѣ въ эти дни не ѣдятъ скоромнаго: одни псы да свиньи только...

И Петръ Петровичъ совершенно не замѣчаетъ, что Семену Семенычу, по непростительной ошибкѣ повара, поданъ поросенокъ вмѣсто сига, а Семенъ Семенычъ тоже совершенно не слышитъ запаха дичи изъ стерляжьей ухи Петра Петровича. Блюда этакъ послѣ четвертаго, Семенъ Семенычъ, томно разглаживая свое брюхо, умиленно говоритъ.

— Хоть постненькое, а душа чувствуетъ!

— Богъ напиталъ—никто не видалъ, бормочетъ Петръ Петровичъ, вытирая салфеткой гусиный жиръ съ усовъ и бороды. Онъ еще жуетъ что-то.

Какъ видите, благочестіе возбуждено до послѣдней степени, а между тѣмъ, какъ мы уже сказали, несостоя-

тельнымъ должникамъ, въ великопостные дни, чаще приходится корчить постныя рожи, чѣмъ во всякое другое время года. Отчего это происходитъ: «какія въ семъ причиною планеты»—мы не беремся объяснять: можетъ быть, подкузмили рождество, новый годъ, масляница — можетъ быть, и такъ ужъ это, — отъ «планетъ» — мы можемъ здѣсь объяснить только, что многимъ — охъ, многимъ! — во снѣ съ самаго чистаго понедѣльника до сихъ поръ снится домъ Тарасова, будка около него, часовой, смотритель долговаго отдѣленія, такъ недавно заведшій новые порядки и принявшій самыя радикальныя мѣры по устройству вспышекъ между несостоятельными должниками.

И бѣгутъ они изъ Петербурга... Вы слышали, что бѣжалъ уже баронъ Шмандкухенъ, бѣжалъ корнетъ Оглымурза-Темябряковъ, бѣжалъ графъ Голодаевъ, бѣжалъ князь Дымогаро-Половодовъ... Куда они бѣжали, отчего и зачѣмъ бѣгутъ? На этотъ вопросъ не могъ-бы въ точности отвѣтить даже самъ остроумный князь Дымогаро-Половодовъ, еще такъ недавно надувшій одного колбасника, взявъ у него подъ вексель сорокъ пудовъ углицкой колбасы, которая, будто-бы, понадобилась для освѣщенія улицъ вновь изобрѣтеннымъ княземъ какимъ-то колбасно-электрическимъ свѣтомъ. Едва-ли кого-нибудь удовлетворилъ-бы даже такой резонный отвѣтъ: бѣжимъ отъ долговъ, сами не зная куда, для того, чтобы надѣ-

лать новыхъ: не знаемъ гдѣ и какъ, но знаемъ навѣрно, что надѣлаемъ.

Наконецъ, бѣжалъ знаменитый князь Федя Передрягинъ, столь прославившійся своими фокусами съ серебряными ложками. Наберетъ въ магазинѣ серебряныхъ ложекъ, осмотритъ ихъ внимательно на дому и потомъ, при подачѣ счета, возвращаетъ; ложки оказываются мельхіоровыми съ фальшивой пробой; да еще набунтуетъ при этомъ на весь свѣтъ возмущенный и потрясенный фальшивыми пробами Федя: «ихъ суду! въ трибуналъ! я покажу, что со мной нельзя шутить какому-нибудь ку-упцу-у-у! у у у!».

Извѣстіе о побѣгѣ Феди привело всѣхъ великихъ с.-петербургскихъ шалопутовъ въ нѣкоторое сомнѣніе: не бѣжать-ли имъ всѣмъ изъ сѣверной Пальмиры? Многіе даже запаслись въ казенной палатѣ вексельной бумагой разнаго достоинства, въ надеждѣ существовать писаніемъ на этой бумагѣ краткихъ и ясныхъ сочиненій, вознаграждаемыхъ очень хорошо: иногда болѣе ста рублей за строку; потомъ, набивъ карманы бумажными воротничками и манжетами англійскаго изобрѣтенія, а чемоданы швырковыми дровами и булыжникомъ, совсѣмъ были готовы отправиться въ бѣга.— Но скоро явилось болѣе успокоительное извѣстіе относительно побѣга Феди. Оказалось, что онъ бѣжалъ не по какой-нибудь другой причинѣ, а про-

сто по случаю глубокаго оскорбленія, нанесеннаго его чести.

Дѣло было такъ. Онъ былъ долженъ Семену Семенычу, по векселю, пятьсотъ рублей (само собою разумѣется, вексель этотъ былъ выданъ всего за пятьдесятъ рублей); Семенъ Семеновичъ грозилъ упрятать его въ долговое и притѣснялъ до тѣхъ поръ, пока Федя не выдумалъ средства отдать ему пятьсотъ рублей: для этого стоило только сообща надуть Петра Петровича ни болѣе, ни менѣе, какъ на двѣ тысячи. Федя сообщилъ подробный планъ компаніи Семену Семенычу и рекъ въ сердцѣ своемъ: «пятьсотъ рублей я тебѣ не отдамъ, а въ долговое меня не посадишь, ибо я сказалъ: меня не сразу поймаешь».

Черезъ нѣсколько дней Семенъ Семенычъ и Петръ Петровичъ встрѣтились у дверей одной знакомой конторы.

— Векселекъ иду продисконтировать! сразу, съ веселымъ и радостнымъ видомъ, объявилъ Семенъ Семенычъ. Вотъ, подумаешь, Богъ-то невидимо подаетъ! Три года векселишко валялся, а вотъ... Князь Передрягинъ-то четыре-ре-ре! четыре милліона въ наслѣдство получаетъ.

— Это ужъ давно; онъ, подлецъ, меня съ этимъ наслѣдствомъ-то рублей на четыреста опуталъ. Такого канальи свѣтъ не производилъ!.. заругался Петръ Петровичъ.

Заругался, но когда они вошли въ контору къ Ивану Аристарховичу, Петръ Петровичъ обомлѣлъ. Старикъ Иванъ Аристарховичъ, пользовавшійся репутаціей человѣка солиднаго, свѣдущаго, смѣтливаго и ловкаго («воръ изъ воровъ», говорили всѣ про него), надѣлъ на носъ свои громадные очки, которые тотчасъ-же закрыли ему половину лба и щекъ такъ, что еслибъ онъ и могъ когда-нибудь покраснѣть, то этого никто-бы не замѣтилъ, — надѣлъ очки, и началъ разсматривать вексель.

— Кажется, несомнительный, рѣшилъ, наконецъ, Иванъ Аристарховичъ.

— Ну-у-у! протянулъ Семенъ Семенычъ.

— Да! вотъ этакимъ, можно сказать — прости меня Господи за осужденіе брата моего!—этакимъ, можно сказать, протоканальямъ фортуна какъ-бы нарочито приходитъ... Что онъ теперь со своими милліонами-то будетъ дѣлать? Мнѣ-бы ихъ...

— Мнѣ-бы ихъ!.. заявилъ Петръ Петровичъ.

— Мнѣ-бы ихъ!.. заявилъ Семенъ Семенычъ.

— Восемьдесять пять, объявилъ Иванъ Аристарховичъ.

— Батюшка! да я за девяносто гдѣ угодно дисконтирую: но къ вамъ по ближнему знакомству пришелъ, завылъ Семенъ Семенычъ.

— Восемьдесять пять—больше ни гроша.

— Ну, ужъ для васъ только. Вексель, благо, де-

шевле достался: онъ мнѣ выдалъ его всего за пятьдесятъ рублей.

— Неужели! изумился Иванъ Аристарховичъ. Вѣдь это ты Бога не боишься — съ меня четыреста-то двадцать пять рублей берешь...

— Ну! ну! полно! семьдесятъ-то пять рублей тоже не баранья рожа!

Четыре радужныхъ и двадцатипятирублевка блеснули въ глазахъ Петра Петровича... у него потекли слюнки.

— Дуракъ я! подлецъ! ругался онъ. Четыре его векселя было у меня, кажется!

— Не знаю... онъ, говорятъ, и теперь векселя выдаетъ, безшабашный? какъ-бы нехотя проговорилъ Семенъ Семенычъ.

Обольщенный всей этой комедіей (само собою разумѣется, Иванъ Аристарховичъ былъ въ долѣ съ Семеномъ Семенычемъ), Петръ Петровичъ воспылалъ. Немного дней спустя, онъ тонко и аккуратно довелъ дѣло до того, что князь Передрягинъ попросилъ у него въ займы двѣ тысячи рублей и согласился, принимая во вниманіе прежніе убытки Петра Петровича, написать ему вексель въ десять тысячъ рублей. Бѣдный Федя былъ обманутъ кругомъ до такой степени, что выдалъ даже вексель *до предъявленія:* Петръ Петровичъ разсудилъ, что дѣло темное, и устроилъ такъ, чтобъ въ случаѣ надобности, долж-

ника можно было въ великомъ посту посадить въ долговое: каковъ-бы ни былъ, а князь; выкупятъ передъ пасхой! Конечно не за десять тысячъ, но все-таки можно слупить три тысячи и больше даже, смотря по персонѣ...

Послѣ всѣхъ формальностей у нотаріуса, въ трактирѣ «Фениксъ» Федѣ были вручены сорокъ пятидесятирублевокъ. Давно не видавши въ глаза такого куша, Федя неблагоразумно взыгралъ радостью: не взглянувши на пачку ассигнацій, онъ поспѣшно сунулъ ихъ себѣ въ карманъ и даже засвисталъ что-то изъ «Прекрасной Елены». Словомъ, радость его была видима.

— Вотъ дуракъ-то! чему радуется! его обманули, а онъ радуется! подумалъ Петръ Петровичъ.

Какъ-будто угадавъ эту мысль, князь взглянулъ на него и неожиданно расхохотался именно тѣмъ смѣхомъ, какимъ хохочутъ надъ одураченными людьми.

— Уху на шампанскомъ! весело командовалъ Федя, щупая капиталы въ своемъ карманѣ.

— Безъ ершей, ужъ, безъ ершей коли такъ: на рыбѣ, на стерлядкѣ, на одной, наставлялъ половаго Петръ Петровичъ, ворочаясь какъ на угольяхъ. Отъ его вниманія не ускользнуло то, что Семенъ Семенычъ дѣлаетъ какія-то энергическія пантомины князю (достать поскорѣе пятьсотъ-то рублей... Что-ли? — Ну!), а князь притворяется незамѣчающимъ этихъ пантоминъ, разговариваетъ о по-

стороннихъ предметахъ, да только хохочетъ... Поразмавши, Петръ Петровичъ—тертый калачъ—понялъ все. Понялъ — и тутъ-же нанесъ князю Федѣ Передрягину оскорбленіе чести. Вотъ въ чемъ заключалось это оскорбленіе:

— Боже мой, я и забылъ! воскликнулъ вдругъ Петръ Петровичъ. Человѣкъ, гдѣ у васъ тутъ телеграфъ?—съѣзди на телеграфъ.

Онъ спѣшно вынулъ свой бумажникъ и началъ считать деньги. Вдругъ задумался.

— Князь, нехорошо: вы получили лишнихъ пятьдесятъ рублей, да и молчите! съ укоризной проговорилъ Петръ Петровичъ.

— А я не считалъ.

Начали считать. Пересчиталъ князь—вѣрно; пересчиталъ Семенъ Семенычъ—тоже вѣрно...

— Позвольте — но я...

Петръ Петровичъ спокойно засунулъ пачку въ бумажникъ, а князю протянулъ его вексель...

— Я въ судъ! Я въ трибуналъ! Это безчестно! забунтовалъ князь.

— Это ни на что не похоже! возмутился Семенъ Семенычъ. Что это вы дѣлаете!

— А ты что́ дѣлаешь? форшмакъ жрешь?! Въ этакіе дни!.. Развѣ форшмакъ постный?

Семенъ Семенычъ скрылся; князь понялъ зачѣмъ онъ пошелъ, и тоже стушевался, такъ что, когда Семенъ Семенычъ явился съ городовымъ, Федя уже связывалъ листки вексельной бумаги; сакъ-вояжъ съ бумажными воротничками былъ уже готовъ, а восемь чемодановъ съ лучшимъ булыжникомъ были уже почти всѣ уложены на ломоваго извощика.

— Меня! меня! почти вслухъ разсуждалъ онъ — надули! меня! И я, какъ дуракъ, выпустилъ изъ рукъ двѣ тысячи рублей!.. Подлецы! Воръ здѣсь народъ! Въ Москву—тамъ народъ благочестивѣе... Надо собираться скорѣе, а то этотъ Сенька усадитъ меня въ тарасовку! Постовъ не почитаютъ даже, канальи! — Форшмакъ жрутъ, людей въ тюрьму сажаютъ... Да чортъ ихъ — жрали-бы форшмакъ, только ужъ это... это... садить... это чортъ знаетъ что такое! — Нѣтъ, въ Москвѣ народъ благочестивѣе!

И дѣйствительно, въ Москвѣ оказался народъ благочестивѣе. Остановившись со своими восьмью чемоданами, наполненными лучшимъ булыжникомъ, въ лучшей московской гостинницѣ «Эрмитажъ», Федя сразу замѣтилъ, что никто тамъ не ѣстъ не только форшмака, но всѣ даже чай пьютъ съ какими-то плитками, называемыми постнымъ сахаромъ. И возрадовалось Федино сердце!

Немедленно онъ объѣздилъ всѣхъ коммисіонеровъ, и

пошелъ по Москвѣ слухъ, что пріѣхалъ изъ Петербурга дуракъ, примѣрный дуракъ, надуть котораго только что родившемуся москвичу ничего не стоитъ. И взыграли всѣ благочестивые люди на Москвѣ. Распивая чай съ плитками, а то съ виноградомъ—плодомъ лознымъ, чтобы не забывать о лозахъ, они разсуждали.

— Вотъ дуракъ-то!

— Да-а... четыре милліона! да-а! Говорятъ, до того глупъ, что за пятьсотъ рублей выдаетъ вексель въ полторы тысячи!

— Дуракъ! Вѣдь надуть его ничего не стоитъ...

— О-о-у! Поле!

И оба про себя думаютъ: «простъ ты, братъ, не можешь воспользоваться такимъ случаемъ, а я не дуракъ: сдѣлаю съ этимъ княземъ дѣло.

И начинаютъ надувать бѣднаго Федю: кто ему, простяку—дураку дастъ пятьсотъ рублей, онъ пишетъ тому вексель въ тысячу, кто дастъ тысячу рублей, тому пишетъ вексель въ двѣ тысячи. Дуракъ-дуракомъ! А между тѣмъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» ежедневно печатается объявленіе въ черной рамкѣ: «Его сіятельство, князь Федоръ Андреевичъ Передрягинъ, извѣщая съ глубокимъ прискорбіемъ о кончинѣ своего дяди дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Петра Ильича Передрягина, проситъ и проч. и проч.». Въ текстѣ-же газеты было на-

печатано, что носятся слухи, будто «недавно умершій дѣйствительный тайный совѣтникъ князь Передрягинъ оставилъ громадное наслѣдство въ четыре милліона рублей своему племяннику, просвѣщенному князю Ф. А. Передрягину, который рѣшился значительную часть своего наслѣдства употребить на усовершенствованіе и возвышеніе колоколенъ во всѣхъ тѣхъ городахъ, мимо которыхъ онъ проѣзжалъ. Это благое намѣреніе, конечно... и проч. и проч.».

И дуракъ-же былъ Федя. Онъ съ ранняго утра до поздней ночи писалъ векселя — писалъ и пріобрѣлъ по всей Москвѣ славу отъявленнаго дурака.

Братья — писатели, въ нашей судьбѣ
Что-то лежитъ роковое.

— Вотъ дуракъ-то! Вотъ оселъ-то! И какъ я его ловко пришпилилъ! говорили мужья.

— Бѣдненькій! молодой! сожалѣли жены. И какъ у васъ это совѣсти хватаетъ обманывать!..

— Не обманешь — не проживешь: наше дѣло такое!

— И въ постные-то, въ великопостные-то дни!

— Обманъ — дѣло не скоромное.

И ужъ обманывали-же бѣднаго Федю не на животъ, а на смерть! До того обманывали, что онъ какъ-то ночью повыкидалъ изъ всѣхъ чемодановъ булыжникъ въ окно, на мостовую, въ полной увѣренности, что горы куплен-

наго имъ за это время бѣлья и платья едва-ли помѣстятся въ восьми чемоданахъ, даже освобожденныхъ отъ булыжника.

Онъ купилъ себѣ тройку лошадей и завелъ четыре содержанки, которымъ все объяснялъ, что въ Москвѣ народъ благочестивый: сахару по постамъ даже не ѣдятъ, а грызутъ тоненькія путиловскія плитки. Когда-же онъ появлялся на улицѣ на парѣ рысаковъ, чуть не всѣ встрѣчные твердили:

— Вотъ дуракъ-то!

— Вотъ дуракъ-то! Я ему триста целковыхъ далъ, а онъ мнѣ вексель въ семьсотъ...

— Дурачище! Я его побольше поднадулъ: далъ ему пятьсотъ, а онъ мнѣ вексель въ тысячу триста. Дуракъ!

— Дуракъ! Кто его не надуваетъ!

— Всѣ надули, кому не лѣнь...

— Бѣдный! Плохо быть дуракомъ...

Въ одинъ прекрасный день, когда дураку, послѣ свиданія съ полицейскимъ чиновникомъ, дѣйствительно показалось плохо въ Москвѣ, онъ неожиданно исчезъ.

— Вѣдь этакій подлецъ! говорили по этому случаю мужья. Ну дураки-же мы!

— А потому не жадничай въ постные дни! поучали жены.

НАШИ ГЛАСНЫЕ.

Незадолго передъ выборами гласныхъ въ городскую думу, только-что проснувшись рано утромъ, достопочтеннѣйшій (выражаясь слогомъ г. Бурнашева), Петръ Степановичъ Бурцовъ, мыловаръ и кожевенникъ, лежалъ на двуспальной перинѣ, со своей полновѣснѣйшей половиной, Анной Ивановной, и разсуждалъ:

— Теперь хвалятъ кіевскую думу, что налоги и доходы она увеличила! Да выбери меня гласнымъ, я, сейчасъ бы, весь городъ обложилъ!... То-есть, хуже сарацинскаго войска обложилъ бы!

— Начинай, съ утра, говорить глупости-то! проговорила супруга.

— Много ты понимаешь! «глупости!».—Тутъ дѣло общественное, государственное—тутъ налоги...

— Какіе налоги?

— Какіе налоги?—Всякіе налоги. Сходи, вонъ, въ экономическое общество, тамъ и узнаешь...

— Очень мнѣ нужно!

— Тебѣ не нужно, а намъ нужно.

— Кому это *намъ*?

— Намъ, гласнымъ. Намъ нужно знать всю политическую экономію, чтобы чувствовать, съ кого сколько содрать можно: съ какого вола двѣ шкуры, съ какого—три, съ какого—четыре...

— А ты, знаешь?

— Знаю. Выбери меня гласнымъ, я сейчасъ сдѣлаю, что въ думѣ будетъ сто милліоновъ доходу, тысячу милліоновъ, двѣ тысячи милліоновъ, три тысячи...

— Ври, съ утра-то!

— Нѣтъ не «ври». Я бы все сейчасъ налогами обложилъ. Первое дѣло обложилъ бы адвокатовъ — ихъ считается у насъ до семи милліоновъ—если по рублю съ адвоката, вотъ тебѣ семь милліоновъ...

— Кто-то тебѣ и позволилъ бы сдѣлать налогъ на адвокатовъ, когда на собакъ налогъ сдѣлать не дозволили!

— Отъ того и не дозволили что не стóитъ: много ли у насъ собакъ-то? Столько-ли, сколько адвокатовъ?—Второе, ввелъ бы налогъ на сквернословіе: сочти-ка сколько милліоновъ заплатили бы одни крюшники съ калашниковской биржи, да сотрудники «Биржевыхъ Вѣдомостей». — Третье, ввелъ бы налогъ на вранье: сосчитай-ко, сколько бы милліоновъ заплатили одни торговцы подержаннымъ платьемъ, да актеры александринскаго театра, не говоря уже про

торговцевъ голландскими полотнами! Теперь, дальше!.. Ввелъ бы налогъ на безобразіе: сколько бы милліоновъ заплатили нашъ безносый дворникъ, да фендрикъ Всеволодъ Крестовскій?! А что, еслибъ ввести налоги на грязь, на сало, на глупость, на подлость?—Милліоны милліоновъ!

— Ну, тебя! Кто тебѣ эти налоги позволитъ вводить!

— Позволятъ! Это — по правиламъ политической экономіи: надо облагать предметы роскоши: развѣ грязь въ залахъ городской думы, или грязь въ «Русскомъ Мірѣ», не суть предметы роскоши? Развѣ толстый слой сала на адвокатѣ и сало въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», не суть предметы роскоши, развѣ глупость въ пріютѣ для умалишенныхъ и въ «Гражданинѣ», не суть для насъ тоже предметы роскоши?

— Петръ Степановичъ впалъ въ тонъ доктора правъ Лохвицкаго.

— Ну и что-же?

— То-же, что обложилъ бы весь городъ, и собралъ бы двѣсти тысячъ милліоновъ доходу...

— Куда-же бы ты его дѣвалъ?

— Главное дѣло, надо собрать больше, выдумать побольше разныхъ налоговъ—на то и гласные выбираются—а ужъ какъ истратить деньги—это всякій дуракъ съумѣетъ. Вонъ, въ Москвѣ, колоколъ вылили, да не для себя, а для Праги... Колоколъ льется, а вода изъ самотековъ не льется,

москвичи безъ воды сидятъ. Колоколъ поэтому и назвали «Краснымъ звономъ», отъ пословицы, что плохо молъ, коль, красна изба углами, да не красна пирогами. Ну, и отправили «Красный звонъ» въ Прагу; москвичи только и видѣли «звонъ», а не знаютъ гдѣ онъ... Мы тоже можемъ слить колоколъ хоть для биржи, чтобы звонили въ него погребальный звонъ разнымъ акціонернымъ компаніямъ. Впрочемъ, — нѣтъ! — Этотъ колоколъ будетъ очень дорого стоить: его надо сдѣлать отмѣнно прочнымъ, ибо будутъ звонить часто, сейчасъ расколютъ. Да и кромѣ колокола, можно измыслить расходы! Можно дѣлать поднесенія. Напримѣръ, можно было бы князю Мещерскому поднести сто рублей, чтобы онъ вручилъ одному своему сотруднику, не доходя до камеры мироваго судьи и не заявляя тамъ, какое бремя ругательствъ тяготѣетъ на его имени, что его, даже по воскресеньямъ ругаютъ, а по буднимъ днямъ — всплошную.

— То-то, вотъ!

— То-то вотъ! Нынѣ вѣрить не надо не то что американскому гражданину Шандору, который объявилъ, что заплатитъ 500 рублей награды тому, кто изобрѣтетъ лампу лучше его, а потомъ и не заплатилъ — пришлось судиться! не то что американскому гражданину на пятьсотъ рублей, а русскому «Гражданину» вѣрить нельзя на пять копѣекъ: самъ объявлялъ, что будетъ платить по семи копѣекъ за строку, а потомъ предлагаетъ по двѣ: пятакъ и

схитилъ у какого-то дворянина Сальникова—ну, и разбирательство у мироваго судьи! Вызывали экспертами какихъ-то двухъ редакторовъ, да они отозвались, что за неграмотностью, этого дѣла разсудить не могутъ... Одинъ говоритъ: «Я въ солдатской бесѣдѣ время провожу», а другой—«я, говоритъ, стою на биржѣ». Извощикомъ что-ли онъ, неизвѣстно. Вотъ, будь налогъ на вранье, сколько бы съ этихъ разныхъ американскихъ и русскихъ гражданъ собрали! Триста тысячъ милліоновъ!

— Ну-у! Куда бы тратить-то стали? Все только на одни на поднесенія?

— Зачѣмъ! Балы, маскарады, собранія, иллюминаціи въ честь пріѣзжихъ гостей, напримѣръ, воложанъ, олончанъ, архангельцевъ, — вотъ теперь пріѣхали на оленяхъ, на Невѣ стоятъ въ юртѣ, костромичей: всѣ, говорятъ, въ волосахъ какъ гориллы... Ну, а какъ, напримѣръ, подъѣдутъ американскіе или прусскіе, или какіе-нибудь друзья, можно будетъ воду изъ Ладожскаго озера выкачать въ какой-нибудь новый романъ Боборыкина и налить это озеро шампанскимъ, чтобы Нева текла виномъ, а закуски бы сверху, въ лодкахъ плавали.

— Кто-же бы сталъ пить и закусывать?

— Все мы-же, сами. А то кто-же?

— А прочій народъ?

— А прочему народу мы устроили бы ипподромъ: пусть

смотритъ, да утѣшается. Всѣ бы денежки тутъ ухлопали,— шикнули бы! Пусть знаютъ нашихъ американскіе, какіе-нибудь тамъ друзья, или нѣмецкіе гости! А что касается лазанія на шестъ, бѣга подъ ведромъ, хожденія въ мѣшкахъ, такъ у насъ бы это, не то-что въ праздники, а повседневно производилось... Ужъ ухлопали бы денежки!

— Баринъ, дѣдушко пришелъ, доложила горничная изъ-за занавѣски.

— О, будь онъ неладенъ! пробормоталъ Петръ Степановичъ, готовый провалиться сквозь землю или, по крайней мѣрѣ, спрятаться подъ кровать.

— Вставай, вставай, прожектеръ! нечего! почти закричала Анна Ивановна.

— О, будь онъ неладенъ! сердито повторилъ Петръ Степановичъ, накинулъ халатъ, всунулъ ноги въ туфли, и вышелъ.

Дѣдушко былъ дальній родственникъ Анны Ивановны. Сначала онъ жилъ у Петра Степановича на кухнѣ, но до такой степени надоѣлъ всѣмъ, что его, по необходимости, опредѣлили въ богадѣльню. Старикъ встрѣтилъ Петра Степановича съ подвязанной рукой, и прямо бухнулся ему въ ноги.

— Защити, отецъ!

— Ну, что такое?

— Зубищи-то, вострые-превострые, что твои торцы на

невскомъ проспектѣ! Язычище красный, какъ у адвоката, а лаетъ точно Буренинъ...

— Ну, что такое?

— Лапищи-то тяжелыя-претяжелыя, точно слогъ князя Мещерскаго, а хвостомъ-то виляетъ точно учредитель акціонернаго общества.

— Ну, что такое?—Разсказывай по порядку.

— Вотъ, батюшка, что: это самая подлая тварь...

— Какая тварь?

— Да собака-то.

— Ну!

— Ну, батюшка, что грѣхъ таить!—Уворовалъ: голодъ не свой братъ.

— Собаку-то и уворовалъ?

— Какое-съ! — у собаки. Собакѣ-то съ кухни даютъ, видите; ей много. — У собаки излишекъ, она и зарываетъ его въ землю, на прокъ. Грѣшный человѣкъ, я запримѣтилъ это; съ голоду-то, и началъ вырывать, да кушать... а вонъ она, проклятая, разъ меня подкараулила, да, вонъ, руку-то какъ искалечила...

— Зачѣмъ же ты воруешь, братецъ, да еще у такого низкаго животнаго какъ собака?

— Батюшка! голодъ! Защитите, отецъ! Говорятъ, вы гласнымъ будете! взмолился старикъ, валяясь въ ногахъ.

— Можетъ быть, можетъ быть. Тогда посмотрю.

— Баринъ, Андронъ пришелъ, доложилъ лакей.

— Какой это Андронъ?

— Который на шестъ лазилъ, да упалъ; теперь только вышелъ изъ больницы.

— А-а! Зови. Ну, дѣдушко, иди себѣ на кухню; тамъ тебя накормятъ и все такое...

Взошелъ Андронъ. Это былъ когда-то сильный мужикъ, но теперь еле-двигавшійся скелетъ; онъ былъ помощникомъ перваго мастера на мыловарнѣ, но легонько ушибившись при лазаніи на шестъ, противъ своего желанія, былъ отправленъ въ больницу, и вылежалъ тамъ восемь лѣтъ и девять мѣсяцевъ.

— Соблаговолите! проговорилъ онъ, останавливаясь въ дверяхъ.

— Ну, что тамъ?— Я, братецъ, тебя всегда возьму: ты мастеръ хорошій, проговорилъ Петръ Степановичъ.

— Соблаговолите выслушать, резонно, заговорилъ Андронъ: поступилъ я въ больницу. Тутъ лекаря велѣли мнѣ стоять, а стоять я не могу. Что тутъ дѣлать?—Дай Богъ здоровья, нашелся одинъ докторъ: да повѣсить, говоритъ, его. Повѣсили. И стало мнѣ сразу легче, чѣмъ въ больницѣ...

— Ну, и что-же?

— Провисѣлъ вотъ девять мѣсяцевъ, и, слава Богу, поправился немного. Какъ бы зналъ, лучше бы мнѣ са-

мому повѣситься передъ уходомъ въ больницу. Такъ соблаговолите насчетъ этихъ больницъ... говорятъ, вы гласнымъ будете!

— Можетъ быть, можетъ быть. Тогда посмотрю!

— Господинъ Акведуновъ, доложилъ лакей.

— Зови. Ступай, братъ, Андронъ, въ сборную, тамъ тебя покормятъ и все такое...

Взошелъ блѣдный молодой человѣкъ, съ впалою грудью, взошелъ еле движась, и немедленно опустился на первый попавшійся стулъ. Это былъ архитекторъ, строившій Петру Степановичу его кожевенный заводъ.

— Что съ вами? спросилъ изумленный Петръ Степановичъ.

— Ночь въ части ночевалъ, хрипло проговорилъ архитекторъ.

— Батюшка, да я васъ третьяго дня видѣлъ: вы цвѣли здоровьемъ!

— Да! А теперь... Одинъ писатель, захрипѣлъ архитекторъ: — пригласилъ меня освидѣтельствовать *натуру* нашихъ мѣстъ тюремнаго заключенія.

— Что-жъ такое!

— Вы, говорятъ, будете гласнымъ. Обратите вниманіе на тюремныя помѣщенія.

— Можетъ быть, можетъ быть; тогда я посмотрю.

— Госпожа Тараканова, доложилъ лакей.

— Экъ, ихъ носитъ! подумалъ Петръ Степановичъ. Ужь не точно-ли я буду гласнымъ?—Зови, сказалъ онъ:— а вы, батенька, извините, я теперь очень занятъ: обдумываю усовершенствованіе игры лазанія на шестъ. Предметъ серьезный.

— До свиданья-съ.

— До свиданья-съ.

Взошла пожилая женщина, таща подъ руку ползущаго мальчика лѣтъ пяти, или шести.

— Защитите, отецъ! кинулась она въ ноги Петру Степанычу.

— Ну, что такое?

— Батюшка! Ужъ грамотѣ умѣлъ, отдала я его, дура, въ думскую школу, и пробылъ онъ тамъ всего два мѣсяца. Взяла на праздникъ, а онъ не то что читать да писать не умѣетъ, а въ ихней школѣ говорить разучился: ходить пересталъ, едва ползаетъ, и ужь опять къ груди сталъ лезти, а какой былъ хорошій мальчикъ! выла старуха.

— Ну, и что-жъ такое!

— Пришла просить! Защитите, отецъ! Вы, говорятъ, будете гласнымъ. Посмотрите на школы!

— Можетъ быть, можетъ быть. Тогда я посмотрю.

— Ефимъ Петровичъ Кузькинъ, доложилъ лакей.

— Ефимко! Зови скорѣй! Извините, матушка, я те-

перь очень занятъ вопросомъ, какія качели удобнѣе — вертикальныя, или горизонтальныя, а также я кое-что подумываю о хожденіи въ мѣшкѣ.

Въ комнату влетѣлъ толстый-претолстый, опухшій и оплывшій отъ пьянства Ефимко, франтъ и джентльменъ перваго сорта, бывшій директоръ компаніи «Основательныхъ мыльныхъ пузырей», «Трубовыпускающаго общества», «Сѣверной нищенской сумы для акціонеровъ» и «Общества южнаго кукиша для вкладчиковъ».

— Другъ!

— Другъ! — Что съ тобой?

— Обстоятельства, братецъ,— проворовался. Въ долговомъ. Говорятъ, ты будешь гласнымъ: уничтожь ты это долговое, или уничтожь, покрайности въ немъ пьянство. Помилуй, душа моя, какая непріятность: видишь, съ одной стороны опухъ... да, впрочемъ, и съ другой пожалуй...

— Съ обѣихъ.

— Да. Но это — пустяки. Представь, какая непріятность: шесть разъ страдалъ бѣлой горячкой—delirium tremens—шесть разъ. И все въ больницу возили!

— Ефимко! Зачѣмъ-же ты пьешь до такой степени?! съ укоризной, качая головой сказалъ Петръ Степановичъ.

— Чудакъ! въ долговомъ,—да не пить!

— Отчего-же именно пить?

— Оттого, что нельзя быть трезвымъ.

— Отчего-же, наконецъ, не пригласятъ какого-нибудь лекаря?

— Приглашали, братецъ, да и тотъ лечилъ насъ всего одинъ день, а на другой день кругомъ самъ пропился, и пьянствовалъ у насъ ровно двѣ недѣли. Хотѣлъ, даже, чтобы продолжать это занятіе, объявиться несостоятельнымъ должникомъ, и попасть въ долговое. Вотъ, братецъ, ты, говорятъ, будешь гласнымъ, прекрати пожалуста это безобразіе въ долговомъ отдѣленіи.

— Можетъ быть, душечка. Тогда я посмотрю.

— Петръ Степанычъ, быка назадъ привели, котораго вы послали на бойню, доложилъ лакей.

— Ну, что такое?

— Желаетъ лично объясниться съ вами.

— Пойдемъ, братецъ, обратился Петръ Степановичъ къ господину Кузькину: — посмотримъ.

Кузькинъ накинулъ на носъ пенсне, и они вышли на дворъ. Быка держали за рога.

— Ну что такое? спросилъ Петръ Степановичъ.

— Нѣтъ, ужъ какъ угодно, Петръ Степановичъ, сказалъ быкъ: извините, я на этой скотобойнѣ убитымъ быть не желаю. И всѣ тамошніе быки поручили мнѣ просить васъ, чтобы вы ходатайствовали въ думѣ... вотъ ужъ пятьдесятъ два года толкуютъ о скотобойнѣ-то, а все

толку нѣту! Посмотрите, грязь по колѣно, срамъ передъ смертью-то взойдти! Полъ проваливается, настоящихъ инструментовъ нѣту. Просимъ васъ покорнѣйше! — Говорятъ, вы будете гласнымъ — не забудьте насъ, грѣшныхъ.

— Можетъ быть, можетъ быть. Тогда я посмотрю. А, впрочемъ, братецъ, не врешь-ли ты?

— Я, батюшка, быкъ, а не членъ статистическаго конгресса, что бы мнѣ врать.

Петръ Степановичъ этимъ оскорбился.

— Запречь гнѣдка въ сани! крикнулъ онъ. Я сейчасъ все провѣрю.

— Не запрягается. Отказался. Желаетъ лично переговорить съ вами.

— Что тамъ такое?

— Какъ угодно, Петръ Степановичъ, сказалъ гнѣдко,—а я не запрягусь. Потому по этимъ мостовымъ ѣздить нельзя, у меня всѣ копыты отмучились. Я съ другими лошадьми говорилъ—и жеребцы и кобылы въ одинъ голосъ просятъ васъ... говорятъ, вы будете гласнымъ, похлопочите, чтобы лучше были мостовые!!

— Можетъ быть, можетъ быть. Тогда я посмотрю.

Въ это время подъ самыми ногами Петра Степановича залаяла цѣпная собака.

— Отчего собака не привязана? крикнулъ Петръ Степановичъ.

— Не хочетъ. Я, говоритъ, такъ къ хозяину привязана, что хочу сама съ нимъ лично объясниться.

— Да, Петръ Степановичъ, сказала собака:—теперь улицы у насъ не освѣщаются; извольте-ко полаять на всякаго прохожаго: воръ ли, нѣтъ-ли онъ—не видать, а изволь лаять. Я ночи не сплю. Прошу васъ возвышенно, стоя на заднихъ лапахъ, устройте какъ-нибудь освѣщеніе въ городѣ. Говорятъ, вы будете гласнымъ — не забудьте и про насъ грѣшныхъ!

Оглянувшись, Петръ Степановичъ замѣтилъ, что вокругъ него стоитъ цѣлая толпа: и дѣдушка, и Андронъ, и старуха съ мальчикомъ, и архитекторъ Акведуновъ, и Ефимко, и быкъ, и гнѣдко, и собака Арапко.

Онъ почувствовалъ въ себѣ ораторскій талантъ, и, не смотря на то, что дѣло было въ конюшнѣ, произнесъ слѣдующую рѣчь:

— Господа люди, быки, лошади и собаки! будьте увѣрены, что если я когда-нибудь сдѣлаюсь представителемъ вашихъ интересовъ въ городской думѣ, я съумѣю защитить ваши интересы! Я похлопочу обо всемъ: и объ освѣщеніи, и объ отопленіи; но, будьте увѣрены, не забуду также и полезно-развлекающія васъ празднества, какъ-то: плеваніе въ потолокъ, остервененіе другъ друга

по гривѣ и даже искусаніе другъ друга при важныхъ случаяхъ. Будьте увѣрены, друзья, что я, во всякомъ случаѣ, за васъ похлопочу.

— Урррарррааррa!

Петръ Степановичъ возвращался къ своей супругѣ весьма довольнымъ.

Та уже была совершенно одѣта, и опохмѣлялась около шкапчика.

— Да-а-съ! самодовольно сказалъ Петръ Степановичъ. Было дѣло, а еще больше дѣла дѣлать надо. Теперь, если гласнымъ выберутъ, я отъ людей, и отъ собакъ, и отъ быковъ и отъ лошадей представитель!

Анна Ивановна подозрительно посмотрѣла въ графинъ: не выпилъ-ли супругъ лишняго.

— Слышала я всѣ твои разбирательства! презрительно сказала она, удостовѣрившись, что водки истреблено не особенно много.

— Какія разбирательства?!! Какія разбирательства?!!

— Да, ужъ, я знаю. Калуцкія.

— Какія такія, калуцкія?

— Такія, что здѣсь городъ Петербургъ: «привози хоть десять рублевъ, всѣ въ полгода прогуляшъ». А ты бы это чувствовалъ, да съ калуцкими бы и не знался! И калуцкихъ бы разбирательствъ не принималъ.

— Ну, однако, мнѣ пора собираться, сердито отвѣ-

тилъ Петръ Степановичъ на эту выходку жены, начиная снимать халатъ, и приготовляясь одѣваться.

Вы думаете, у насъ нѣтъ керльтонскаго клуба!—Не знаю, есть-ли, а — былъ. Въ верхней комнатѣ, у Палкина—не въ комнатѣ, а скорѣе—въ залѣ собрались претенденты на избраніе и немного избирателей. Между прочими былъ, конечно, и Петръ Степановичъ. Всѣ засѣдали. Одинъ изъ компаніи держалъ рѣчь:

— Нельзя не выбрать того, который выдумалъ карты для извощиковъ.

— Въ подкаретную? спросилъ кто-то изъ собесѣдниковъ.—Для вящаго удовольствія, карты потолще, чтобы носу было чувствительнѣй при игрѣ въ носки!

При этомъ заявленіи ораторъ пріостановился, но, не обративъ на него никакого вниманія, продолжалъ свою рѣчь:

— Нельзя не выбрать того, который первымъ предложилъ испросить разрѣшеніе на развѣваніе флага города С.-Петербурга.

— По вѣтру! крикнулъ кто-то.

Ораторъ не обратилъ на это вниманія.

— Какъ намъ не выбрать того, который былъ мировымъ судьей, и объявлялъ, что мировой участокъ есть дыра? Объявлялъ въ думѣ!

— Отчего-же не заткнули?! вопросительно крикнулъ кто-то.

— Какъ намъ, господа, не выбрать того, который заявлялъ, что заемъ есть самоубійство? толковалъ ораторъ.

— Ну, братъ, ужъ этого, пожалуй-бы, можно было и забраковать, загалдилъ клубъ.

— Ну, далѣе, господа, — вотъ списокъ людей, которыхъ мы должны непремѣнно отстаивать.

— Не хотимъ ихъ! не хотимъ!

— Господа! Больше нѣтъ кандидатовъ, заявилъ ораторъ.

— Неправда!

— Позвольте предложить себя кандидатомъ?! вдругъ надменно выступилъ Петръ Степановичъ.

— Извольте. Вы русскій?

— Русскій.

— То-то.

— А что-съ?

— А то-съ, что мы лучше русскую свинью выберемъ, чѣмъ самаго умнаго еврея...

— Покорно благодарю.

— Не примите за комплементъ, а есть тутъ одинъ банкиръ, преполезнѣйшій бы для думы человѣкъ, вотъ одно—еврей. А насъ, знаете-ли, больше сюда изъ киргизскихъ степей привозятъ, а то изъ Туруханска, а либо

изъ Камчатки, такъ мы къ нимъ терпѣнія имѣть не можемъ, ужъ очень далеко насъ везутъ! пояснилъ ораторъ у Палкина.

— Такъ, значитъ, меня не выберутъ? почти дерзко и заносчиво спросилъ Петръ Степановичъ.

— Напротивъ, душа моя, на васъ имѣются виды: всѣ знаютъ, что вы либералъ.

— Конечно, съ апломбомъ подтвердилъ Петръ Степановичъ.—Еслибъ вы знали сколько я выдумалъ налоговъ! Налогъ на дыханіе, на кашляніе, на рвоту, — я на все выдумалъ налоги. Кромѣ того, занимаюсь усовершенствованіемъ лазанія на шестъ, бѣга подъ ведромъ, хожденія въ мѣшкѣ и другихъ полезныхъ упражненій...

— Васъ навѣрное выберутъ...

— Уррарарараааауа!

Веселый и довольный возвращался Петръ Степановичъ домой на извощикѣ.

— А что, братъ, извощикъ, ты служилъ когда-нибудь по выборамъ?

— По какимъ это выборамъ?

— Ну, напримѣръ, — какъ тамъ у васъ? — сотскимъ, десятскимъ, старостой. Служилъ?

— Три раза служилъ.

— Ну, а вообще, какъ служба-то, понравилась тебѣ?

— Понравилась.

— Такъ, такъ, задумчиво проговорилъ Петръ Степанычъ.

— Да такъ. Служба трудная: перевернулся — бьютъ, и недовернулся—бьютъ. Такъ и вышло. Я былъ старостой, а наши и порѣшили продать общественнаго жеребца: дискать онъ, за старостію его лѣтъ, негоденъ. Я всячески отговаривалъ. Жеребецъ, какъ жеребецъ.—Орутъ пьяницы: старъ да старъ жеребецъ — продать его! — Что дѣлать?—И продали. А деньги тутъ-же пропили... А пріѣхалъ посредственникъ:—меня. Какъ ты могъ дозволить?— Трудно нынѣ служить обществу!...

— Да-а, раздумчиво проговорилъ Петръ Степановичъ.

— Все обдѣлано, самоувѣренно проговорилъ Петръ Степановичъ своей супругѣ, одѣваясь утромъ, чтобы отправиться на выборы. — Все уничтожу, все преумножу, все обогащу!

— Дай Богъ нашему теленку волка съѣсть, съ ироніей проговорила Анна Ивановна.

Было еще довольно рано, и потому Петръ Степановичъ отправился въ думу пѣшкомъ. Шелъ онъ, и думалъ: вотъ мостъ, отчего-бы на мосты не сдѣлать налога?—Вотъ кирпичъ везутъ, отчего-бы съ каждаго кирпича не брать хоть по копѣйкѣ налога въ пользу городской думы? Вотъ ѣдетъ мужикъ съ пескомъ, отчего-бы не брать... Но тутъ

ему начали грезиться импереи въ честь заатлантическихъ друзей, или славянскихъ гостей; онъ сидитъ за обѣдомъ, наѣлся уже до ушей, и говоритъ спичъ о томъ, что онъ Деакъ для венгерцевъ, Питтъ для англичанъ, Линкольнъ для американцевъ, Бисмаркъ для пруссаковъ... словомъ, говоритъ рѣчь Кокорева, вызвавшую столько гомерическаго хохота въ Америкѣ, — рѣчь, въ которой г. Кокоревъ сравниваетъ себя съ Линкольномъ.

Когда Петръ Степановичъ началъ уже довольно близко подходить къ думѣ, ему видѣлись чуть не наяву вылитые думой колокола, князь Мещерскій, осчастливленный пособіемъ въ сто рублей, но прячущимъ оное, дабы не замѣтилъ г. Сальниковъ...

Зала была уже полна народа... Около ящиковъ. . .

. . . . . .

Назадъ, изъ думы, Петръ Степановичъ возвращается печально.

Онъ ѣхалъ на извощикѣ.

— А что, братецъ, ты не служилъ по выборамъ? спросилъ онъ возницу.

— До двѣнадцати разъ.

— Что-же?

— Гласнымъ былъ. Въ острогѣ восемь лѣтъ высидѣлъ.

— И хорошо, что меня не выбрали гласнымъ, подумалъ Петръ Степановичъ.

ГОЛОВА СЪ МОЗГАМИ!

Что́ бы это заложить, чортъ возьми? раздумывалъ Иванъ Петровичъ Берсеньевъ, молодой человѣкъ, лѣтъ тридцати, не имѣющій занятій, ни коронныхъ, ни частныхъ и, даже, потерявшій возможность занятія денегъ у знакомыхъ и незнакомыхъ, у встрѣчныхъ и поперечныхъ, которыхъ, бывало, онъ эксплоатировалъ прежде съ такою легкостью. Онъ—Иванъ Петровичъ, ходилъ по маленькой холодной комнатѣ, въ то время, какъ его товарищъ и сожитель, отставной маіоръ Алхановъ, лежалъ на диванѣ, завернувшись въ свою военную шинель и не безъ ироніи наблюдалъ за Иваномъ Петровичемъ, который что-то очень часто посматривалъ на его кинжалъ, висѣвшій на стѣнѣ.

— Скажите, пожалуста, сколько вы заплатили за этотъ кинжалъ? спросилъ, наконецъ, Иванъ Петровичъ, снимая кинжалъ со стѣны.

— Дарена вещь, пробормоталъ маіоръ съ флегмой, свойственной всѣмъ азіатамъ.

— Скажите, пожалуста, за чѣмъ вы его держите? Вѣдь теперь не средніе вѣки!.. Наконецъ, здѣсь Петербургъ, на каждомъ углу стоятъ городовые.

— На память. Другъ дарилъ.

Иванъ Петровичъ полюбовался серебряной оправой рукоятки кинжала, и повѣсилъ его на мѣсто.

Минутъ съ пять длилось молчаніе.

— Хорошо бы теперь намъ выпить по рюмкѣ водки, да съѣсть бы хоть по полуфунтику колбасы съ чеснокомъ, сказалъ, наконецъ, Иванъ Петровичъ.

Зилцу бы! почти гаркнулъ маіоръ, очевидно прочувствовавши всю прелесть зильца.

Берсеньевъ умышленно замолчалъ, и черезъ минуту запѣлъ:

По камнямъ струится Терекъ,
Плещетъ мутный валъ—
Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
Точитъ свой *кинжалъ... кинжалъ... кинжалъ!..*

— Чтó бы это заложить? опять спросилъ онъ, какъ будто размышляя.

— Ваша бы лотерейная билета, посовѣтовалъ маіоръ.

— Покорно васъ благодарю. Черезъ двѣ недѣли розыгрышъ, я могу выиграть пятнадцать тысячъ, и отдать это за какой-нибудь четвертакъ! Я увѣренъ, что я выиграю! Выиграю—выкуплю вамъ вашу флейту и бешметъ...

— Бешметъ ничего, а музыкальнымъ струментамъ пропадаетъ...

— Сосисекъ бы горячихъ и по рюмкѣ водки...

Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
Точитъ свой *кинжалъ... кинжалъ... кинжалъ!..*

— Зачѣмъ вамъ кинжалъ, въ самомъ дѣлѣ? Заложите его на нѣсколько дней.

— Ни за тыщу, рѣшительно проговорилъ маіоръ, и, даже, повернулся на другой бокъ. — Надо бы намъ вещамъ покупать, а мы только вещамъ своимъ продаемъ, да заклады носимъ!

— Э, батюшка, долго-ли деньги нажить! Деньги— дѣло наживное, съ убѣжденіемъ проговорилъ Иванъ Петровичъ.

— Лотареямъ выиграетъ!

— Не одними лотереями можно деньги нажить. Мало-ли чѣмъ! Да будь теперь откупа, я бы давно былъ милліонеромъ, почище всѣхъ этихъ Кокоревыхъ, Бенардаки и Базилевскихъ!..

— А откупамъ теперь нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Чѣмъ теперь деньги наживать?

— Мало-ли чѣмъ! Вотъ, напримѣръ, проектъ: будь у меня деньги, я сейчасъ бы открылъ перевозъ черезъ Неву на воздушныхъ шарахъ...

— А сколько бы платилъ тому, кто въ шаръ сядетъ?

— Или, напримѣръ, началъ бы издавать газету...

— А какъ скоро бы бѣжалъ бы заграницамъ?

— Или, напримѣръ, внесъ бы пятнадцать рублей въ общество для пособія нуждающимся литераторамъ, и началъ бы брать по три тысячи въ годъ ссуды, на изданіе календарей...

— А какъ скоро бы получилъ чинъ?

— Или, выпросилъ бы концессію, хоть маленькую, напримѣръ, хоть отъ деревни Парголова до деревни Юкки.

— А кто бы по той дорогѣ ѣздилъ?

— Да хоть самъ чортъ! Мнѣ нужна концессія—*концессія*, понимаете-ли вы, а не дорога. Я сейчасъ концессію какому-нибудь варшавскому, виленскому, ковенскому, али-бо гродненскому, за двадцать тысячъ продамъ. Гродненской продастъ ее какому-нибудь ужъ русскому, хоть Гладинову за двадцать за пять тысячъ; Гладиновъ продастъ нѣмцу Феффер ермейру за тридцать тысячъ; нѣмецъ продастъ чухнѣ Рейкенейнехайлайну за тридцать пять тысячъ; Рейкенейнехайлайнъ продастъ англичанину Чорчорту за сорокъ тысячъ, англичанинъ Чорчортъ продастъ французу Курнуру за сорокъ пять тысячъ, а этотъ ужъ опять продастъ русскому подрядчику, какому-нибудь Полуектову за пятьдесятъ тысячъ, Полуектовъ ужъ самъ и будетъ строить дорогу... Поняли вы механику?

— Ничего не понималъ: потому, однимъ глупостямъ...

— Хорошо бы хоть студню купить.

— Да квасъ, да огорецъ, да все покришить, да и хлебать! съ необыкновенной выразительностью воскликнулъ маіоръ, даже, причмокнувъ при этомъ губами.

— Да, и по рюмкѣ бы водки передъ этимъ...

Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
Точитъ свой *кинжалъ*...

— Кинжаломъ безъ того востра: не надо точить...

— Зачѣмъ точить! Право, заложить бы его хоть дня на два... Послушайте! Положимъ, флейта—музыкальный инструментъ, онъ доставлялъ вамъ развлеченіе. Для чего вамъ кинжалъ? Его даже опасно держать въ квартирѣ: помилуйте, вѣдь у меня душа дрожитъ, какъ только я посмотрю на вашъ кинжалъ... Помилуйте! вѣдь это—смертоносное оружіе!

— Никакой смертоноснамъ оружіямъ! Другъ дарилъ, обиженно проговорилъ маіоръ. — Вотъ вашимъ лотарейнымъ билетамъ держать въ квартирѣ опасномъ! Билетамъ этомъ надо заложить.

Иванъ Петровичъ засвисталъ только, въ отвѣтъ на это, какой-то маршъ, и началъ ходить по комнатѣ.

— Удивительно, нѣтъ никакихъ мыслей, заговорилъ онъ наконецъ:—рѣшительно никакихъ. Да-съ! Ничего не могу придумать, а бываютъ люди — все у нихъ мысль.

У меня былъ одинъ другъ, задушевный другъ. Геній! Сколько разъ въ Сибирь ссылали, все назадъ приходилъ Мы его такъ и прозвали: «Дементій Непропащій». Ужъ точно этотъ человѣкъ не пропадетъ. Встрѣчаетъ разъ меня на Невскомъ: «дай, говоритъ, взаймы три рубля; вечеромъ отдамъ». А я и самъ такой человѣкъ, у кого бы занять... Ну, въ десять минутъ убѣдилъ меня; размѣнялъ послѣднюю пятирублевку, и отдалъ ему три рубля. Ну-съ! Что же оказывается?! — Онъ болѣе чѣмъ у сотни человѣкъ занялъ по три рубля... Какъ скопилъ триста—сейчасъ квартиру въ большой морской, въ двѣнадцать комнатъ, меблированную. Понятно, сейчасъ лакеи у него, сейчасъ кредитъ, сейчасъ журфиксы, сейчасъ онъ обыгрываетъ всѣхъ въ карты...

— Все это глупостямъ!..

— Нѣтъ, не глупостямъ! Могу васъ въ этомъ увѣрить! Знаете-ли какой это человѣкъ?

— Два носа безъ хвоста...

— Вотъ какой это человѣкъ: идетъ онъ разъ мимо юсупова сада и видитъ — рѣшетка: сейчасъ у него родилась мысль! — Нашелъ какого-то провинціала, и продалъ ему эту рѣшетку на сломъ, и получилъ задатокъ. Въ другой разъ идетъ онъ по улицѣ, лежитъ кирпичъ. Хорошій кирпичъ, но что-жъ изъ этого? — Вѣдь вы бы, я думаю, не подняли его.

— Не поднималъ.

— Ну, а онъ поднялъ. Зашелъ въ лавку, купилъ листъ голландской бумаги и ленточку, увязалъ этотъ кирпичъ, нанялъ карету, и поскакалъ... Что-жъ бы вы думали! Продалъ цѣлую барку кирпича этого образца и получилъ задатокъ. Вотъ-голова! Будь онъ теперь здѣсь, онъ, навѣрное, выпросилъ бы концессію...

— А гдѣ теперь этотъ плутамъ, какъ его звать?

— Дементій Дементьевичъ. Да, во первыхъ, онъ не плутъ... Ахъ, чортъ возьми, хоть рѣдьки бы да хлѣба достать!

— Потереть, да съ квасомъ, ѣсть!

— Да, и огурецъ бы...

Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
Точитъ свой кинжалъ.

Не успѣлъ Иванъ Петровичъ перейти къ вопросу о залогѣ маіорскаго кинжала, какъ дверь отворилась, и на порогѣ, робко озирая комнату, остановился какой-то оборванецъ. Весь его костюмъ состоялъ изъ рубахи, штановъ, передника и опорокъ. Молодое красивое лицо было измято, осунулось, волосы и борода были всклокочены, но глаза его горѣли увѣреннымъ выраженіемъ мысли: если погоните, безъ драки не пойду!

— Дементій Дементьевичъ! другъ! вскричалъ Иванъ Петровичъ, кидаясь въ объятія геніальнаго человѣка,

продавшаго рѣшетку юсупова сада и не существующую барку кирпичей.—Легокъ на поминѣ!.. Маіоръ, онъ самъ, Дементій Дементьевичъ Ястребовъ, про котораго я вамъ говорилъ!..

— Тѣмъ самасламъ плута!

— Милостивый государь! яростно вскричалъ Дементій Дементьевичъ.

— Другъ! оставь! — Это человѣкъ добрый, хорошій, но безпокойный, умиротворительно проговорилъ Иванъ Петровичъ.

— Кинжаламъ цѣла, угрожающе проговорилъ маіоръ.

— Откуда ты? да садись. Чаю бы хорошо, погрѣлся бы, да вотъ чаю то нѣтъ... Откуда? говори, милый! Дёма!

— Изъ Петрозаводска пѣшкомъ пришелъ.

— Ай, ай, ай, ай!

— Пришелъ... Просить концессію.

— Выдадутъ-ли братъ?

— Кто его знаетъ, а все попытка — не пытка, а спросъ не бѣда. Иду и все думаю! рельсы тутъ наложить въ грязь-то, да и сваливать туда пассажировъ: не ушибутся, только выпачкуются; а наше дѣло чистое... И денежки, главное, чистыя! Ты ужъ, братъ, извини, а я ѣсть и пить хочу: угощай!

Гость велъ себя развязно и непринужденно, какъ будто онъ былъ въ собственной своей спальнѣ.

Иванъ Петровичъ смутился.

Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
Точитъ свой кинжалъ...

началъ задумчиво напѣвать онъ, расхаживая по комнатѣ.

— Что-же ты дѣлалъ въ Потрозаводскѣ? спросилъ онъ, наконецъ, Ястребова, чтобы какъ-нибудь стушевать вопросъ объ угощеніи.

— Да почти все время сидѣлъ въ острогѣ.

— За что-же? какъ будто изумился Иванъ Петровичъ, очень хорошо знавшій, что острогъ — и есть настоящая квартира его пріятеля.

— За что? За то, что деньги считать не умѣю. Поддѣлъ одного барина на семьсотъ рублей; отдалъ онъ мнѣ деньги, а я не считалъ отъ радости-то, бацъ ихъ въ карманъ; дѣло было въ трактирѣ; съ дуру я еще закричалъ: «ребята, уху на шампанскомъ!» — Ну, и поймали... Что-же, братъ, на счетъ закусочки-то?

— Послушайте, маіоръ, убѣдительно обратился Иванъ Петровичъ къ Алханову, который уже сидѣлъ на диванѣ, и—не то удивленно, не то сонно смотрѣлъ на все происходившее около него.—Послушайте, маіоръ, человѣкъ пришелъ изъ Петрозаводска за концессіей... Вы понимаете! Ну, къ чему тутъ виситъ этотъ кинжалъ? Позвольте его заложить, хотя на нѣсколько дней, маіоръ!

— Ни за тыщу заложить не позволилъ! сердито проговорилъ маіоръ.

— Вовсе ничего ненужно закладывать, рѣшительно сказалъ гость.—Если вы, маіоръ, согласитесь розыграть роль лакея, мы сію минуту отлично пообѣдаемъ.

— Я царской служба служилъ. Лакеемъ не булъ.

— Что такое? что такое? засуетился Иванъ Петровичъ.—Мысль?

— Мысль. Давай сюда свой халатъ и туфли, одѣвайся, и иди, въ качествѣ лакея князя Сайгадачнаго, лакея—понимаешь? въ трактиръ, на кухню, закажи тамъ три порціи солянки — чтобы провизія была хорошая! — три — бифстекса и три сладкихъ пирога... Понялъ? — Жди.— Когда будетъ готово, валяй вмѣстѣ съ половымъ сюда, къ князю; растворяй обѣ половинки двери... Понимаешь? — «Ваше сіятельство, завтракъ принесенъ».— Понимаешь? Остальное, ужъ мое дѣло, одѣвайся, почти приказалъ геніальный человѣкъ Ивану Петровичу.

Есть люди, очень пристрастные къ платью, въ особенности изъ тѣхъ, которые не имѣютъ ума, по которому бы ихъ встрѣчали и провожали. «У глупца всегда два плаща», - и эти люди имѣютъ иногда, дѣйствительно, по двѣ пары платья, и дорожатъ имъ чуть-ли не больше своей души, продать которую чорту всегда предпочтутъ продажѣ штановъ татарину. Иванъ Петровичъ

сидѣлъ голодомъ, подмазывался подъ маіорскій кинжалъ, но у него былъ щегольской костюмъ, о продажѣ или залогѣ котораго, даже, самъ маіоръ не поднималъ рѣчи: это была вещь священная. Откровенный и безцеремонный азіатъ едва-ли не понималъ, что безъ костюма Иванъ Петровичъ никуда не годится,—пропащій человѣкъ.

Одѣвшись, по приказанію геніальнаго человѣка, въ свой щегольской сюртучекъ, Иванъ Петровичъ хотѣлъ было накрыться шляпой, но Ястребовъ остановилъ его.

— Бѣги безъ шапки, какъ бѣгаютъ лакеи; въ кухню вбѣгай въ попыхахъ, рѣзко и строго сказалъ Ястребовъ.

Иванъ Петровичъ растрепалъ волосы, и побѣжалъ. Ястребовъ, надѣвши халатъ и туфли, гримировался передъ зеркаломъ.

— А много плутовалъ? спросилъ его вдругъ маіоръ.

— Кто это?

— Да ты.

— Кто этотъ—*ты*?

— Ты.

— Кто-же?—купецъ, чиновникъ, генералъ?

— А, можетъ, каторжникамъ.

— Я не каторжникъ. Вы сами видите: а концессіонеръ.

— Все равнамъ.

Маіоръ рѣшительно пришелъ въ изумленіе взглянувъ на этого человѣка, надѣвшаго халатъ, зачесавшаго себѣ

волосы, à la чортъ, и принявшаго такія манеры, что честный азіатъ даже немного струсилъ; чуть-ли ему не показалось, что онъ имѣетъ дѣло съ полковымъ командиромъ. Онъ замолчалъ... Ястребовъ важно расхаживалъ по комнатѣ.

Обѣ половинки двери распахнулись...

— Ваше сіятельство, завтракъ принесенъ.

— Прикажи подать сюда, важно и томно проговорилъ Ястребовъ. — Фи! Какой запахъ. Свѣжа провизія, нечего сказать!

— Самая лучшая, ваше сіятельство! гаркнулъ половой.

— Вижу ужъ, вижу! брюзгливо проговорилъ Ястребовъ. — Черезъ часъ зайдешь за судками, получишь деньги.

— Слушаю-съ.

— Ступай. Скажи только повару, что бифстексы на маслѣ не жарятъ—для этого есть флитюръ. Черезъ часъ зайдешь. Да-да, стой! Зайдешь—захвати съ собой съ десяти рублей сдачи... Слышишь?

— Слушаю-съ.

Когда половой ушелъ, и когда все принесенное съѣстное, съ превеликой жадностью, было уничтожено, начался оживленный разговоръ.

— Что-жъ ты думаешь, теперь дѣлать? спрашивалъ Иванъ Петровичъ своего друга.

— Концессію, непремѣнно концессію. Хоть-бы тысячъ этакъ на сто или на полтораста.

— Да, вѣдь это, братъ, трудно...

— Нисколько не трудно. Стоитъ задобрить журналистовъ—вотъ тебѣ и концессія!

— Да какъ ихъ, задобрить-то, чертей?

— Какъ?—Да вотъ теперь дѣло къ праздникамъ... Ну, «Незнакомцу» полосатаго ситцу на рубаху, Коршу—ночной колпакъ, Буренину—варежки...

— Обидятся.

— Э! Нилу Адмирари, аршинъ холста на полотенце, Краевскому возъ песку, посыпать тротуары, около своего дома. Комарову—игрушечный барабанъ. Князю Мещерскому грамматику Греча... Трубникову... Что бы подарить Трубникову?

— Есть книжка такая: «Рогульки (Trapa natans), какъ лекарство отъ помраченія ума». Книжку подарить ему, да хоть пудъ этихъ рогулекъ уже, коли ты думаешь выѣхать на дешевыхъ подаркахъ.

— Зубовъ бы тоже не мѣшало, замѣтилъ Иванъ Петровичъ. Нынче всѣ они что-то какіе-то беззубые.

— Волчьихъ зубовъ изъ Сибири выпишу! съ одушевленіемъ воскликнулъ Дементій Дементьевичъ.—Это, братецъ, мысль! Ее нужно поскорѣй приводить въ исполненіе. Я думаю даже, кое-что, сдѣлать сегодня... Надо сегодня.

Ужъ у меня такое предчувствіе. Подхожу къ вашему дому, ѣдетъ ломовой извощикъ, и поетъ:

Жарко, жарко, молоденька,—
Комаровъ-то, комаровъ
Возлѣ дойныхъ-то коровъ!

Теперь вотъ просто, такъ и зудится ѣхать сейчасъ-же въ редакцію «Русскаго Міра»... Только, вотъ въ чемъ дѣло: въ моемъ костюмѣ весьма удобно ходить по міру, ну, а, даже, въ самый дрянной міръ, который редакторъ изъ ироніи, называетъ русскимъ, меня, пожалуй, въ моемъ костюмѣ-то и не пустятъ... Вотъ что, братъ, не одолжишь-ли ты мнѣ на нѣсколько часовъ своего гардероба? Я дѣло сдѣлаю... Сдѣлаю дѣло—пополамъ. Даже концессія пополамъ... Вотъ! Ты знаешь, я человѣкъ честный, я вѣренъ въ своемъ словѣ!

Минутъ черезъ десять послѣ того, какъ Дементій Дементьевичъ, одѣвшись франтомъ въ платьѣ Ивана Петровича ушелъ хлопотать о концессіи на желѣзную дорогу отъ Петербурга до Петрозаводска, у Берсеньева съ маіоромъ началась сцена.

— Вотъ человѣкъ! Пришелъ оборванцемъ, чуть не нагишемъ, и насъ-же накормилъ обѣдомъ. Я вамъ говорилъ, какой это человѣкъ! Онъ выхлопочетъ концессію, непремѣнно выхлопочетъ! Это ужъ такой человѣкъ. Геній! Да-съ.

Только онъ честенъ, онъ мнѣ отдастъ половину. Ну, если сто тысячъ—все-таки мнѣ пятьдесятъ.

— А вашимъ сюртукамъ, брюкамъ, сапогамъ, жилетамъ, шляпамъ, калошамъ, пальтамъ онъ отдастъ назадъ?

— Хо, хо, хо! Онъ воротится черезъ три часа. Вы ничего не понимаете. Знаете-ли вы, что тутъ дѣло идетъ о десяткахъ, а можетъ быть и о сотняхъ тысячъ. Подумайте—отъ Петербурга до Петрозаводска! а!

— Календарямъ Гоппа пятнадцать верстъ.

— Ну, а по календарю Суворина четыре тысячи семьсотъ сорокъ пять верстъ. У вашего Гоппе, вѣрно, бабы кочергами версты-то мѣряли...

— А у вашимъ Суворинъ, вѣрно, строкамъ изъ «Петербургскихъ вѣдомостя»... Строка долга, да ума коротка...

— Ну, у васъ у самихъ ума коротка. Вы не понимаете даже, что значитъ слово концессія!

— А что концессія?

— Концессія — деньги. Добудьте хоть вы концессію на желѣзную дорогу хоть, напримѣръ, отъ Петербурга до Коломяги. Вамъ не надо строить: вамъ за самую концессію деньги дадутъ. Понимаете? Другіе состроятъ, дадутъ вамъ деньги, а вы все-таки будете считаться строителемъ. Да и куда-же самому соваться строить. Вотъ знаменитый есть строитель желѣзныхъ дорогъ, а тотъ не можетъ различить рельсы отъ шпалъ. Какъ начнетъ строить,

глядишь, вмѣсто шпала рельса, а вмѣсто рельсъ шпалъ... Нѣтъ, право, я такъ думаю, что надобно искать, какъ бы то ни было искать концессіи...

— А я такъ думаю, надо бы искать этотъ плутъ и взять отъ него свои вещамъ. Онъ не придетъ назадъ.

— Ну, батинька мой, за кого же вы, послѣ этого, принимаете моихъ знакомыхъ?

— За концессіонерамъ.

На другой день, утромъ, уже вполнѣ убѣдившись, что Дементій Дементьевичъ получилъ концессію на его костюмъ, Иванъ Петровичъ, проголодавшись, опять запѣлъ:

Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
Точитъ свой *кинжалъ*...

пѣлъ онъ грустно, чуть не со слезами: ему до содраганія сердца жаль было своего платья.

— А откудымъ кудамъ будемъ водить теперь желѣзнымъ дорогамъ? засмѣялся маіоръ...

ПЕРЕДЪ ЗОЛОТЫМЪ ТЕЛЬЦОМЪ.

Всѣ счастливцы, имѣющіе билеты того или другаго внутренняго займовъ, наканунѣ четырехъ достопамятныхъ дней ежегоднаго тиража, начинаютъ безпокоиться. И юношамъ, и мужамъ, и старцамъ, и дѣвамъ, и женамъ, и старицамъ грезятся сны. Юноша, съ двумя стами тысячъ въ карманѣ, соединившись законнымъ бракомъ съ предметомъ своей страсти, путешествуетъ, во снѣ, заграницей, плаваетъ въ Венеціи на гондолахъ и поетъ баркароллу до такой степени громко, что его разбуженный сосѣдъ, по комнатѣ, стучитъ изо всей силы кулакомъ въ стѣну и громкимъ голосомъ напоминаетъ, что въ два часа ночи никакія пѣсни, даже баркароллу, пѣть неумѣстно. Мужу снится первымъ дѣломъ концессія, а вторымъ — побѣгъ съ Бланшъ-Гандонъ заграницу, съ представленіемъ своей законной супругѣ права питаться въ отечествѣ чѣмъ она заблагоразсудитъ. Женѣ снится бриллiантовое колье, а затѣмъ побѣгъ отъ мужа заграницу съ однимъ изъ наѣздниковъ цирка Гинне. Старцу снится, что онъ льетъ

колокола, при чемъ присутствуетъ редакторъ «Биржевыхъ Вѣдомостей» и многіе изъ сотрудниковъ этой газеты, приглашенные врать во время литья колокола; они исполняютъ съ необыкновеннымъ рвеніемъ эту свою обязанность — и колоколъ выливается на славу: гудкій, звонкій, серебристый. Дѣва видитъ во снѣ узкоколейную желѣзную дорогу, и милый гусаръ, на саблю опираясь, говоритъ ей: «милый другъ, я обязанъ этимъ тебѣ».—Да кому не снится самыхъ хорошихъ сновъ наканунѣ этихъ дней? Чьи уши во снѣ не слышатъ «металла звонъ», — всемогущаго металла?!

Нѣсколько дней тому назадъ, наканунѣ тиража 1 марта, отставной полковникъ Гавріилъ Матвѣевичъ Скородумовъ, кутаясь въ холодной комнатѣ, въ мезонинѣ, въ свою холодную шинель, имѣя подъ подушкою билетъ втораго внутренняго займа, тщательно зашитый въ клеенку лучшей американской выдѣлки, — не наслаждался хорошими снами. Его душило и мучило что-то... Положеніе его было самое грустное и незавидное. Назадъ тому лѣтъ шесть онъ имѣлъ домишко на Петербургской сторонѣ и прокармливался небольшими доходами съ него. Однажды къ нему явился его племянникъ съ пистолетомъ въ рукахъ и объявилъ, что сейчасъ застрѣлится, если дядя не поможетъ ему пополнить растрату казенной суммы, проигранной имъ въ карты. Клятвы, слезы и всякія неистовства тронули старика. Племянникъ обѣщалъ возвратить

деньги не дальше какъ черезъ мѣсяцъ. Старикъ заложилъ домишко и спасъ «роднаго человѣка». Родной человѣкъ, однако-жъ, оказался свинья свиньей. Черезъ мѣсяцъ, онъ весьма спокойно и резонно объявилъ, что у него есть жена и дѣти, что онъ прежде долженъ о нихъ позаботиться, а долгъ подождетъ: долгъ, дескать, потому и называется долгомъ, что его долго не платятъ.

Гавріилъ Матвѣевичъ, не смотря на то, что въ сраженіи при Башъ-кадыкъ-ларѣ, собственноручно зарубилъ одного татарина (впрочемъ, къ чести его надо замѣтить, онъ готовъ былъ заплакать, увидавъ предсмертныя конвульсіи молодаго человѣка, валявшагося подъ ногами его лошади съ размозженнымъ черепомъ: кровь и мозгъ ползли на измятую траву), не смотря на то, что будучи высылаемъ изъ крѣпости Грозной во многихъ «экспедиціяхъ противъ хищныхъ животныхъ, называемыхъ тиграми», онъ, со своими людьми, безъ всякой жалости, всадилъ сорокъ пуль въ одного изъ этихъ хищныхъ животныхъ, найденнаго спящимъ въ тростникѣ (многіе, впрочемъ, говорили, что тигръ уже подохъ гораздо раньше нашествія Гавріила Матвѣевича), не смотря на все это, Гавріилъ Матвѣевичъ былъ истинно добродушнымъ ребенкомъ. Онъ тотчасъ-же отвѣтилъ своему племяннику-должнику: «полно, полно, Коля, сосчитаемся когда-нибудь, не сейчасъ умираешь, переживешь меня, старика!»

И старикъ ждалъ. Платилъ варварскіе проценты, проживалъ кое-какія скопленныя деньжонки, и — когда у него отняли домишко за долгъ — онъ остался съ однимъ билетомъ втораго внутренняго займа (который ни за что не рѣшался размѣнять), безъ всякихъ средствъ къ жизни. Къ этому времени обстоятельства племянника значительно поправились: онъ получилъ хорошее мѣсто въ «департаментѣ ревизіи расходовъ на нитки для сшиванія дѣлъ», съ жалованьемъ въ шесть тысячъ рублей, служилъ въ думѣ членомъ коммисіи «размышленія о куреніи папиросъ на улицахъ», съ жалованьемъ въ три тысячи рублей, наконецъ, занималъ должность дѣлопроизводителя въ обществѣ «приближенія чужой рубашки къ своему тѣлу», съ жалованьемъ въ двѣ тысячи рублей;—онъ купилъ себѣ уже преизрядный домикъ въ Коломнѣ, и своего сынка, Митю, безпрестанно воровавшаго сахаръ, рѣшился опредѣлить въ коммерческое училище, въ полной надеждѣ, что изъ него выйдетъ директоръ многихъ банковъ и акціонерныхъ обществъ, а дочь, Лидю, рѣшился не учить ничему, такъ-какъ, бѣгая постоянно скокомъ, она обличала явные признаки своей таланности къ акушерству... онъ не хотѣлъ перечить судьбѣ: пусть, дескать, она будетъ акушеркой.

Словомъ, домъ у Николая Николаевича былъ полная чаша.

Со своимъ билетомъ, сберегаемымъ отчасти на похороны, отчасти съ надеждой выиграть что-нибудь и облагодѣтельствовать всѣхъ бѣдныхъ и неимущихъ, вдовъ и сиротъ,—въ крайней нуждѣ, почти безъ пристанища, Гавріилъ Матвѣевичъ обратился къ своему племяннику. Тотъ отвелъ ему холодную комнату въ мезонинѣ, со словами: «пожалуй, поживите покуда». И началась подлая жизнь приживалки!..

— Вы-бы побольше куски-то сахару выбирали! злобно оговаривала его чуть-ли не каждое утро Ольга Петровна, жена Николая Николаевича.

— Большому кораблю вѣдь большое и плаваніе, душа моя! острилъ Николай Николаевичъ. Полковникъ! По-олковни-икъ! чинъ не маловажный!

— Отчего вы, дѣдушка, гамкаете, какъ собака? презрительно спрашивалъ Митя.

— Дѣдушка, на Кавказѣ, отъ лошадей перенялъ, замѣчала Лидя,—и всѣ прыскали со смѣху надъ дѣдушкой.

Старикъ былъ терпѣливъ и терпѣлъ. Терпѣлъ, когда Ольга Петровна вытаскивала изъ его тарелки взятый имъ кусокъ говядины, съ сердитыми словами: «очень жирно будетъ!» и клала его въ Митину тарелку. Терпѣлъ, когда Митя, ударивъ его пальцемъ по носу, съ хохотомъ кричалъ: «Кавказскій носъ! Ха, ха, ха!» Терпѣлъ, когда Лидя пришивала фалды его ветхаго сюртученка къ креслу.

Стерпѣлъ даже, какъ она эти фалды его единственнаго сюртука подожгла спичкой, надъ чѣмъ родители много смѣялись, чуть-ли не больше того, чѣмъ смѣялись, когда Митя брызнулъ изъ брызгалки чернилами въ лицо старика.

Нужда заставляла терпѣть все!..

Наканунѣ розыгрыша 1 марта Гавріилъ Матвѣевичъ, правда, подумывалъ, что хорошо-бы выиграть двѣсти тысячъ, облагодѣтельствовать своего благодѣтеля-племянника со всѣмъ его семействомъ и избавиться отъ этой жизни. Какіе-бы они тогда хорошіе стали, думалъ старикъ, — я знаю, всѣ-бы они преобразились, и я-бы полюбилъ ихъ: притворяются они, или нѣтъ передо мной, мнѣ все равно, только было-бы за что полюбить ихъ. Эти кроткія размышленія, впрочемъ, сопровождались и нѣкоторой злобой: вчера Лидія уколола ему руку булавкой, а Митя подстригъ ему оставшіеся сѣдые волосы, надъ чѣмъ много хохотали и Николай Николаевичъ, и Ольга Петровна.— «Эхъ, кабы!» отъ души подумалъ старикъ о двухъ стахъ тысячахъ, ложась спать, всѣ-бы они лучше сдѣлались».

Какъ уже пояснено было въ началѣ, Гавріилъ Матвѣевичъ не видалъ во снѣ ничего, подходящаго къ выигрышу. Ему снилось веселое дѣтство въ кадетскомъ корпусѣ, среди кучи товарищей, отъ души любившихъ его, снилась жизнь въ полку и разные полковыя веселости, невинныя шутки и дружескія мистификаціи. Гавріилъ

Матвѣевичъ, отличавшійся отъ природы мягкимъ, веселымъ и шутливымъ характеромъ, любилъ устраивать мистификаціи. Онъ вспомнилъ во снѣ, какъ лежалъ однажды въ гробу, чтобы отдѣлаться отъ навязчивой любовницы, какъ она плакала и прощалась съ нимъ, какъ его пріятель Аркаповъ, въ роли читальщика, басилъ въ углу: «и коня и всадника вверже въ море... нечестивый Фараонъ... колесницы Фараоновы и проч.», а два другихъ пріятеля сидѣли за столомъ, пили пуншъ и горько плакали. Тутъ пригрезились и другія полковыя шалости, и сны спутались и закрутились...

Утромъ Гавріилъ Матвѣевичъ проснулся, когда уже внизу, въ столовой, гремѣли чашками и раздавались громкіе голоса. По обыкновенію, Гавріилъ Матвѣевичъ вскочилъ съ продавленнаго дивана и поспѣшно одѣлся. Эхъ, грустно идти къ чаю, за которымъ сахаръ такъ не сладокъ, а гримасы хозяйки, передъ каждымъ стаканомъ, кислѣе тѣхъ кислыхъ водъ, которыя пилъ г. Стопановскій, «въ Желѣзноводскѣ живучи!» Но не идти пить чай значило подвергнуться безчисленнымъ насмѣшкамъ за обѣдомъ: «не осмѣлились будить ваше превосходительство», «дѣдушка—хорекъ любитъ спать!» «у него глаза бычьи, совсѣмъ заспаные», «что ему дѣлать, какъ не спать!» «онъ сапоги себѣ чиститъ!» и проч. и проч.

Когда Гавріилъ Матвѣевичъ спускался съ лѣстницы,

изъ полуотворенной двери столовой раздавались такія громкія восклицанія, что онъ невольно остановился.

— По моему, кричалъ Николай Николаевичъ, правое плечо впередъ, да скорымъ шагомъ маршъ! И я его провожу, дармоѣда! Онъ долгъ свой пришелъ заѣдать... какой такой долгъ?! Есть у него документъ мой? Есть?!— Ничего я ему не долженъ!

— Ну, вчера, напримѣръ, брюзжала Ольга Петровна, за обѣдомъ, какой онъ кусокъ баранины себѣ отворотилъ!—ужъ я такъ промолчала! Хлѣба по четыре ломтя съѣдаетъ: мы никто столько не ѣдимъ... Теперь каждое утро половина французской булки и кусокъ сахару: выбираетъ себѣ самый большой...

— Негодяй! Пусть только вылезетъ изъ своей конуры, я ему скажу... нѣтъ... ужъ терпѣніе мое лопнуло! Просто на просто скомандую правое плечо впередъ, скорымъ шагомъ маршъ! кричалъ Николай Николаевичъ. Досаднѣе всего, что у этого подлеца есть деньги; я знаю навѣрное есть тысячъ пятнадцать въ залежи! знаю! И дармоѣдничаетъ,—хочетъ брюхомъ получить долгъ, каналья!

— И для кого онъ копитъ деньги!

— Я знаю для кого. Для Степки: онъ его любимецъ... я знаю, что мнѣ ничего не достанется за мою хлѣбъ-соль! И нечего мнѣ съ нимъ церемониться!

— Какіе большіе куски сахару... и теперь полбулки...

— Сегодня-же! Пусть только явится! Охъ, онъ — чортъ его возьми!—надоѣлъ мнѣ этотъ дармоѣдъ! Сейчасъ онъ прійдетъ, я ему напою...

— А вотъ и не прійдетъ, засмѣялся полковникъ, стоя на лѣстницѣ.

И онъ тихонько воротился въ свою комнату.

Дѣло въ томъ, что вчера онъ навѣстилъ въ больницѣ своего сослуживца маіора Шахъ-Абрекова. Добродушный и задушевный татаринъ, наговоривъ ему множество: «твоямъ-моямъ», объявилъ, наконецъ, что «псяка татаръ князь», засмѣялся, смутился, хлопнулъ по плечу полковника, и сказалъ: «двумямъ рублямъ: бери одна рубля». Гавріилъ Матвѣевичъ, конечно, всячески отказывался, увѣрялъ, что онъ не нуждается, преотлично живетъ у племянника и проч., но татаринъ, твердя: «псяка татаръ князь—онъ псе понимаютъ»,—всунулъ ему въ руку рублевую бумажку.—«Шила безгядра!» воскликнулъ татаринъ. Гавріилъ Матвѣевичъ посмотрѣлъ на свой костюмъ, крѣпко зажалъ въ рукѣ бумажку, крѣпко сжалъ другой рукой руку товарища, и изъ глазъ его потекли по щекамъ два ручья невольныхъ слезъ...

Когда Гавріилъ Матвѣевичъ слушалъ угрозы о томъ, что ему «напоютъ» и «выскажутъ», этотъ рубль былъ въ его карманѣ. На этотъ рубль можно было напиться чаю съ лимонами, столь-же кислыми, какъ физіономія Ольги Пе-

тровны, съ булками и съ сахаромъ. Поднявшись въ свою комнату, онъ ещё разъ засмѣялся тѣмъ смѣхомъ, которымъ смѣются маленькія невинныя дѣти, посмотрѣлъ на рубль (давно полковникъ не имѣлъ въ рукахъ такого капитала), схватилъ шинель, тихонько спустился съ лѣстницы, на цыпочкахъ прошелъ корридоръ, добрался до выхода и чуть не бѣгомъ побѣжалъ по улицѣ.

Въ часъ пополудни, перваго марта, Гавріилъ Матвѣевичъ сидѣлъ еще въ кофейнѣ и читалъ газеты, когда его ударилъ въ бокъ разнощикъ газетъ и предложилъ ему купить только что вышедшую, еще мокрую таблицу выигрышей втораго внутренняго займа.

Гавріилъ Матвѣевичъ купилъ таблицу, отдалъ гривенникъ и засмѣялся. Онъ никогда особенно не увлекался мыслью о выигрышѣ, но теперь ему понадобилась таблица. Разсматривая ее, онъ отъ души смѣялся. Старикъ вспомнилъ молодость, и въ умѣ его созрѣла блестящая мистификація. Онъ началъ потрясаться всѣмъ тѣломъ отъ смѣха.

Вечеромъ того-же перваго числа марта горничная докладывала Ольгѣ Петровнѣ:

— Полковникъ скоро умретъ-съ — при-смерти. Пришелъ, легъ, накрылся шинелью, ноги-руки раскинулъ, разметался, стонетъ и охаетъ.

Ольга Петровна сначала сама сходила въ мезонинъ, и убѣдившись, что полковникъ лежитъ раскинувши руки-ноги, стонетъ и охаетъ,—позвала мужа.

— А! хоть-бы здохъ онъ скорѣе! крикнулъ Николай Николаевичъ.

— Что-жъ, въ нашемъ домѣ-то! Его надо въ больницу отправить, забрюзжала Ольга Петровна. Тамъ его на казенный счетъ похоронятъ: не намъ-же его хоронить!

Николай Николаевичъ поднялся по лѣстницѣ въ мезонинъ.

— Что опять съ вами такое, Гаврило Матвѣевичъ? брюзгливо спросилъ онъ.

— Смерть, Коля! О-ооохъ! Голубчикъ, я хотѣлъ тебя позвать, слабымъ голосомъ заговорилъ полковникъ — хотѣлъ позвать, чтобы написать духовное завѣщаніе... У меня есть три билета внутренняго займа... втораго... Справ-ся ты, голубчикъ, не выигралъ-ли я... Вѣдь все, Степѣ да вамъ... О-о-охъ!

По всѣмъ очевидностямъ, Николай Николаевичъ убѣдился, что полковникъ больше двухъ дней не проживетъ.

— Вотъ, Колинька, номера билетовъ-то...

— Справлюсь, справлюсь. А вы-бы холодные компрессы на животъ положили...

— Я отроду не лечился, а при смерти...

Старикъ захрипѣлъ и заметался...

Николай Николаевичъ помялъ, помялъ въ рукѣ бумажку, поданную старикомъ и ушелъ.

Въ кабинетѣ онъ развернулъ эту бумажку, тамъ значилось:

18,721—35
15,709—20
16,120—13.

Николай Николаевичъ самъ имѣлъ билеты втораго внутренняго займа; на его письменномъ столѣ уже давно лежала таблица выигрышей; онъ посмотрѣлъ въ нее, и его охватили ужасъ, радость, страхъ, а на лбу появился даже холодный потъ.—«Вѣрна-ли таблица?» — Взволнованный, разсѣянный, ошеломленный, не говоря ни слова женѣ, онъ помчался къ знакомому мѣнялѣ.

— Вѣрна-ли эта таблица? какой номеръ выигралъ двѣсти тысячъ?

— Номеръ серіи 15,709, а билета номеръ 20.

— Батюшки! да это... это... я...

— Поздравляю...

Но уже Николай Николаевичъ выскочилъ за дверь.

Втораго марта, когда Гавріилъ Матвѣевичъ только-что проснулся, у его постели стояли Митя и Лидинька.

Лидя схватила его руку и поцаловала:

— Съ добрымъ утромъ, дѣдушка! Вы нездоровы?

— Съ добрымъ утромъ дѣдушка! пробормоталъ Митя, тоже цалуя его руку. Вы нездоровы: папаша за докторомъ хочетъ послать.

— А мамаша бузину вамъ заварила...

— Мушку-бы поставить...

— Мамаша говоритъ, можетъ быть, дяденька бузины выпьетъ съ вареньемъ изъ малиновыхъ семечекъ...

— Дѣти! Дѣти! но безъ горечи воскликнулъ полковникъ. Возьмите, на столѣ тутъ лежатъ сорокъ копѣекъ, раздѣлите по двугривенному.

Дѣти готовы были исчезнуть вмѣстѣ съ сорока копѣйками, когда на порогѣ появилась Ольга Петровна:

— Дяденька, я вамъ заварила бузины... выкушайте, дяденька! томно и сладко говорила она. Вы, вѣрно, простудились. Бузинный цвѣтъ очень помогаетъ...

— Благодарю покорно.

— А то, дяденька, бульенцу вы не хотите-ли: можно сейчасъ сварить. Бульенцу съ курочкой, дяденька? а? съ курочкой, ласкалась Ольга Петровна, и лицо ея было не кисло, а сладко и радостно.

— Ухи-бы хотѣлъ, какъ-будто въ бреду, пробормоталъ полковникъ.

— Уха будетъ... будетъ съ живой стерлядкой и хересу прибавимъ. А все-таки, дяденька, бузины выпили-бы...

Сейчасъ принесутъ, дяденька. Прикажете, дяденька? Хотите, дяденька?

— Шеколаду-бы... О-о-охъ! О-о-охъ!

Полковникъ метался на диванѣ, по возможности стараясь повертывать лицо къ стѣнѣ, такъ-какъ не надѣялся удержаться отъ смѣха.

— У насъ есть, дяденька, тертый ванильный шеколадъ отъ Бормана, семьдесятъ пять копѣекъ за фунтъ... Прикажете сварить, дяденька? ныла Ольга Петровна.

— Пожалуй... О-о-охъ! О-о-о-о... Николая позовите! что-же онъ...

— Онъ за нотаріусомъ поѣхалъ, дяденька. Вы, дяденька, просили, чтобы духовное завѣщаніе написать...

— О-о-о-о! то-то! Я думалъ, за лекаремъ...

— Такъ бузины, дяденька, не хотите?

— Нѣтъ... о-о-о!

Въ это время въ комнату вбѣжалъ Николай Николаевичъ. Священникъ, нотаріусъ и необходимые свидѣтели остались въ залѣ дожидаться, пока приготовятъ завѣщателя...

— Дяденька! Позвольте... дяденька!... Я вамъ былъ долженъ восемьсотъ рублей... дяденька, позвольте вамъ вручить ихъ! эффектно говорилъ Николай Николаевичъ, вполнѣ надѣясь поразить этимъ скупаго, по его мнѣнію, стариченка. Дескать, все равно, эти деньги мнѣ достанутся.

— Пересчитайте, дяденька, деньги!

— Что мнѣ считать!...

— Бѣдный дѣдушка! пролепетала Лидинька. Больной дѣдушка!

Дѣдушка взялъ въ руку деньги и вдругъ раскатился неудержимымъ хохотомъ. Понявши въ чемъ дѣло, Николай Николаевичъ взбѣсился. Не взбѣсись онъ, полковникъ отдалъ-бы назадъ деньги...

— Вы подлецъ?! Вы притворились! заоралъ Николай Николаевичъ, замахиваясь на полковника, но тотъ самымъ спокойнымъ образомъ отстранилъ ударъ, спокойно началъ вставать съ постели, одѣваться и прибирать свои вещи.

— Я тебѣ, Коля, давалъ при свидѣтеляхъ, проговорилъ только полковникъ. Взялъ при свидѣтеляхъ и не отдамъ ужъ назадъ...

Николай Николаевичъ бѣсился и оралъ, какъ съумасшедшій.

— Это кража! я въ судъ тебя! Я... я... я... я... да я!

— Ну, до свиданья!

Полковникъ засмѣялся, взялъ подъ мышку свой саквояжикъ и ушелъ. Такимъ образомъ перваго марта если онъ и не выигралъ двухъ-сотъ тысячъ, то выигралъ все-таки восемьсотъ рублей!...

— А я стерлядь велѣла купить да шеколадъ варить! твердила весь день Ольга Петровна. Вотъ подлецъ-то!

СОДЕРЖАНІЕ II ТОМА

Библіотеки Современныхъ Писателей.

		стран.
I.	Писатель	1
II.	Въ Петербургъ! на медовую рѣку Неву	27
III.	Земскій дѣятель	46
IV.	Настоящій пролетарій	65
V.	Наши дѣти	86
VI.	Сѣятель пустыни	108
VII.	Труженицы	135
VIII.	Два нигилиста	156
IX.	Драбанты	178
X.	Рука дающаго не оскудѣетъ	197
XI.	Нужда скачетъ, нужда пляшетъ, нужда пѣсенки поетъ	215
XII.	За наживой	232
XIII.	Мы гуляемъ, гуляемъ, гуляемъ	256
XIV.	Дама строгихъ правилъ	273
XV.	Постъ и покаяніе	292
XVI.	Соціальная кошка	312
XVII.	Начинающій паразитъ	335
XVIII.	Кто изъ нихъ дуракъ	360
XIX.	Наши гласные	375
XX.	Голова съ мозгами	395
XXI.	Передъ золотымъ тельцомъ	411

Листопадъ. Ржевусскій А. Историческій романъ второй половины XVIII столѣтія, въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1872 г. Цѣна за двѣ книги 2 р. 50 к., пер. за 3 ф.

Сиротская доля. Крашевскій. Романъ. Спб. 1874 г. Ц. 1 р. 50 к., пер. за 2 ф.

Дѣльцы. Бобарыкинъ П. Романъ въ 2-хъ томахъ. Спб. 1874 г. Ц. 3 р., пер. за 3 ф.

Жизнь Графа М. Н. Муравьева въ связи съ событіями его времени и до назначенія его губернаторомъ въ Гродно Составилъ Кропотовъ. Спб. 1874 г. Ц. 3 р., пер. за 3 ф.

Дневникъ А. В. Храповицкаго. 1782 — 1793 г. По подлинной его рукописи, съ біографическою статьею и объяснительнымъ указателемъ Николая Барсукова, члена археологической коммиссіи. Спб. 1874 г. Ц. 3 р. 50 к., пер. за 3 ф.

Подъ тропиками. Странствованіе по Венецуэлѣ, на Оринокко, въ Британской Гвіанѣ и на Амазонкѣ съ 1845 по 1868 годъ. К. Аппуна. Спб. 1874 г. Ц. 3 р. 50 к., пер. за 3 ф.

Гг. иногородные благоволятъ адресоваться за всѣми вообще книгами, какъ вновь выходящими, такъ и прежде изданными—въ С.-Петербургъ, на имя **А. Ѳ. Базунова.**

ТУРКИ И ИХЪ ЖЕНЩИНЫ

СУЛТАНЪ И ЕГО ГАРЕМЪ

СОЧИНЕНІЕ МАІОРА ОСМАНЪ-БЕЯ

Спб. 1874 г. Цѣна 1 р. 50 к., пересылка за 2 ф.

ТРИДЦАТЬ ЛѢТЪ

ВЪ

ТУРЕЦКИХЪ ГАРЕМАХЪ

АВТОБІОГРАФІЯ МЕЛЕКЪ-ХАНУМЪ, ЖЕНЫ ВЕЛИКАГО ВИЗИРЯ

КИПРИЗЛИ-МЕГЕМЕТЪ-ПАШИ.

(Переводъ съ англійскаго).

Предлагаемая въ русскомъ переводѣ книга содержитъ въ себѣ весьма интересную автобіографію турецкой дамы высшаго общества.

Это едва ли не первое литературное произведеніе, написанное турецкой женщиной. Передавая въ легкомъ и живомъ разсказѣ событія и происшествія своей собственной жизни, она знакомитъ также съ домашнимъ и вообще внутреннимъ бытомъ турокъ, нравами и обычаями ихъ гаремовъ, интригами и всей закулисной жизнью высшаго турецкаго общества.

Очерки эти, будучи изданы въ 1872 году въ Лондонѣ, Берлинѣ и Нью-Іоркѣ, возбудили всеобщее вниманіе интересомъ своего содержанія.

Цѣна 2 руб. сер., пересылка за 2 фунта.

Складъ изданія въ типографіи Скарятина, на углу Фонарнаго переулка, домъ Франка, и въ книжномъ магазинѣ Базунова.

Типографія Скарятина, на углу Фонарнаго переулка, д. Франка.